

Юность

9

СЕНТЯБРЬ

1967

Стихи

Владимир Савельев

Советская власть

Русый чуб
над бумагами свесив,
самокрутки смолящая всласть,
в растревоженных градах и весях
утверждалась Советская власть.
Без креста,
без ременной нагайки,
лишь на суть уповая свою,
становилась крутою хозяйкой
в беспокойном для власти краю.
Неспроста,
то скрываясь по балкам,
то открыто маяча вдали,
самогоном пропахшие банды
на дорогах ее стерегли.
И готовый к тому,
чтобы резко
тишину распороть до небес,
на окошке ее занавески
раздвигал вороватый обрез.
Отовсюду глядели напасти,
не словами,
а делом грозя...
Ко была она первою властью,
не боявшейся правды в глаза.
Первой властью,
делившею беды
с государством своим заодно.
Это ей скуповатые деды
добровольно сдавали зерно.
И такою влекла она
верой,
что ее вихревую зарю
защищали подчас офицеры,
присягавшие прежде царю.
Власть народа!
Из канувших сроков
сквозь бессонницы, вьюги, бои,

будто лица в морщинах глубоких,
проступают декреты твои.
Среди взлетов своих и падений
я того добиваюсь в судьбе,
чтобы сердце
в минуты сомнений
ходоком направлялось к тебе.

Поэтесса

Видать, с собою не было ей сладу,
коль, несмотря на маменькин запрет,
бледнея,
поднималась на эстраду
она в неполных восемнадцать лет.
Она держалась странно и неловко,
но вдумчиво внимал ей в тишине
седой солдат в шинели
и с винтовкой,
прикладом вверх висящей на ремне.
От слов ее,
взволнованных и чистых,
от легких взмахов худенькой руки
у серых от бессонницы чекистов
на скулах проступали желваки.
Вдали метались сполохи белесо,
и, загодя рассевшись впереди,
увешанные бомбами матросы
тельняшки теребили на груди.
Они губами шевелили немо,
как будто бы подъем преодолев.
Стихи о солнце
под свинцовым небом
читала поэтесса нараспев.
Моя сестренка...
Бедами умаян
и все ж не поворачивавший вспять,
я так тебя сегодня понимаю,
как никому другому не понять.
Я знаю,
без придилок и подвохов,
то радуя прозреньем, то слепя,
эстрада,
как ладонь самой эпохи,
приподнимала бережно тебя.
Туда, где ветры
властно и крылато
отбрасывают волосы со лба...
И вновь братались,
будто бы солдаты,
изящное искусство и борьба.
А где-то там, на подступах далеких,

растянется отряд, бросая в бой
за цепью цепь,
как пламенные строки,
написанные веком и тобой.

России

Величаво и статно идущая в гору
сквозь года и года,
сквозь труды и труды,
ты проносишь свои голубые озера,
словно полные ведра студеной воды.
Облаков раздвигаешь нависшие ветви,
и, рожденная в долгих сибирских ночах,
как пуховый платок,
раздуваемый ветром,
чуть трепещет метель у тебя на плечах.
Не казней дорожа
и не избранным кругом,
родословную ветвь относя к голытьбе,
и добром, и любимой.
и преданным другом
я до смертного часа обязан тебе,
Я обязан тебе воспитанием жестким,
видом стольких
в отчаянье вскинутых рук,
что твоих бесконечных дорог перекрестки
мне казались распутьями встреч и разлук.
Сам я шастал по травам ногами босыми,
проживая не в царстве лаптей да телег,
как нередко еще представляет Россию
кое-кто из моих сыромятных коллег.
Ты врага забытём беспробудным карала,
и под солнцем,
особенно ярким с утра,
серебром отливает громада Урала,
будто остро отточенный меч у бедра.
Ты на редкость крута,
но отходчива в гневе;
обрамляя седые твои ковыли,
семицветные радуги выгнуты в небе
ореолами святости русской земли.
И каких бы кручин ни сулила эпоха,
я уверен,
что, разные судьбы кроя,
за тебя постоят до последнего вздоха
не искавшие выгод твои сыновья.
Ведь не зря же,
блаженную дрему нарушив,
под гуденье дождей и шуршанье порош
ты вселяешь им дерзкие помыслы в душу,
за собою нехоженой ширию ведешь.

Ты все дальше и дальше,
все выше и выше,
все ясней и отчетливей складкой любой.
И затейливо
стаями птичьими вышит
неизменный в веках небосвод над тобой.

Джансуг Чарквиани

Родина

Во мне ли ты — твой дух, твой ореол! —
иль я в тебе — кровинка горяча! —
я лишь тогда воистину орел,
когда взлетаю с твоего плеча.

Ты ль мой высокий слог, иль это я —
гуденье гор твоих, но искони
вся боль во мне — твоя, вся страсть — твоя,
я потому и слышен в наши дни.

В чем ты права — уж ты навек права,
я вижу все, все слышу — я сказал)
Где я прочту великие слова,
какие бы с тобой я не связал!

Да здравствуют и дух и плоть твоя!
Да станет братом каждый добрый гость!
Да воскресит щедрейшая земля
во имя дружбы выжатую гроздь!

Да светятся все чище и святей
огни ночей, прекрасных оттого,
что горяча любовь твоих детей!
И все.
И не прибавлю ничего...

Пока в отчизне хоть один дымок...

Нодару Думбадзе

Вот мир. Какой большой и пестрый он!
Он разделен издревле на две части.
И над одной серп смерти вознесен,
другая у бессмертия во власти.

Не бойся, друг. Придешь, куда идешь.
Пройдешь сквозь лес, густой, сырой и темный.
Оставишь в нем и боль свою и дрожь
взамен любви, внезапно обретенной.

Все будет так. Минуешь мост удач.

Потом пойдут пролеты радуг смежных.
Так передай же солнцу древний плач
монастырей, безлюдных, белоснежных!

Все будет так. А как же ты хотел!
Ведь Человек всегда народу слышен.
Твой Джвари 1 высоко уже взлетел,
умри — но пусть летит он выше, выше!..

Все будет так. Когда народ изрек:
— Ты Человек! — будь верен этой славе.
Пусть пройдет какой угодно срок,
пока в Отчизне хоть один дымок
дымится, ты и умереть не вправе...

Вот мир. Какой большой и пестрый он!
Что ты решишь в судьбе его неровной,
когда — смотри! — серп смерти занесен,
но вознесен и луч молвы народной!

1 Джвари — монастырь, стоящий высоко на горе, вершина древнегрузинской архитектуры.

*

Есть в жизни день
и есть минута,
когда встаешь средь суеты,
не сомневаясь почему-то,
что миру
крайне нужен ты.
Вдруг
море ты поймешь и сушу
в порыве дружеском своем.
Чтоб воробью проникнуть в душу,
ты стать готов и воробьем.
Кого поймешь,
не превращаясь
в того,
кого спешишь понять!
То ты — сама печаль.
То — шалость.
То — солнце. Снег.
Ребенок. Мать.
Потом,
исполнен острой муки,
ты брата вспомнишь вдруг,
и тут
ты потихоньку сложишь руки,
чтоб умереть на пять минут...
Но неизбежно возвращенье
на наш великий, щедрый пир.

И неизбежно превращенье
в отца.
И в сына.
В целый мир...
Есть в жизни день
и есть минута,
когда встаешь средь суеты,
не сомневаясь почему-то,
что миру
крайне нужен ты.

Зеленая песня

Как бы в нас чужая рана ни болела день за днем,
сколько б нам ни вылить солнца в честь побед
и в час невзгод,
у каких бы ярких строчек мы ни грелись
их огнем, —
Неуемна наша жажда, невозможен наш уход!

Сколько б гроз ни проносилось, оглянись вокруг —
езде
жизнь, зеленая, как ветка, под которой я стою.
Как свое оружие воин, мы держим в чистоте
нашу юность, нашу песню, землю милую свою.

Что бы в нас ни возникало — от любви и до тоски,
чем бы мы ни увлекались — хоть на час, хоть на
века, —
за распахнутые двери! За раскрытые замки!
Только очень скучным рекам не мешают берега.

Жизнь зеленая играет в каждом трепетном листе!
Что я глазом не увижу — то я сердцем узнаю.
За народ, как саблю воин, содержащий в чистоте
нашу юность, нашу песню, землю милую мою!

Орел

В разгар захода,
в разгар захода
летит он мимо к родной скале.
У человека своя забота —
ужель мне думать и об орле!!
Вот в час заката,
в разгар заката
над самым ухом — удар крыла...
Но был обычай у нас когда-то...
И мне известна цена орла.
Царь неба рухнет с моей стрелою.
Я поцелую орлиный взор.
Потом расправлю орлу крыло я,

чтоб наши плечи
сравнить в упор.

Перевел с грузинского Юрий РЯШЕНЦЕВ.

Максим Танк

*

«Прочитай и передай другому!» —
на листовках партия писала.
Молодость, влюбленная в свободу,
в дни подполья их передавала.
Так огонь передают озябшим,
или в зной кувшин воды холодной,
или хлеб насущный — за обедом,
а перед атакою — патроны.
Мне не нужно ни наград, ни лавров.
Пусть другие их находят всюду,
и за славой в очереди длинной
не стоял я и стоять не буду.
Только я хотел сложить бы песню,
на которой бы в моем райкоме
начертали надпись дорогую:
«Прочитай и передай другому!»

Другу

Огрубели пальцы рук —
столько скорбной мерзлой глины,
столько холода и вьюг
просочилось между ними...
Столько солнца и добра,
столько слез и столько горя,
мелкой меди, серебра
и зерна с родного поля,
что вчера, припав к земле,
я едва-едва слышал,
как она, оттаяв, дышит,
как теплеет на заре.
А под старой тусклой ивой,
где слагал свой первый стих,
отличить не смог, счастливый,
пальцы друга от своих...

Перевел с белорусского
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ.

Евгения Гинзбург

ЮНОША

Документальная повесть

...Гости земли.
мы пришли на один только вечер.
И. ЭРЕНБУРГ.

НАВСТРЕЧУ — СОЛДАТЫ

Основой повести послужили собранные братом героя Аркадием Гинцбургом документы, газетные статьи разных лет, материалы музеев, архивов и воспоминания друзей. Большая часть людей, упомянутых в повести, названа подлинными именами, за исключением некоторых, чьи фамилии установить не удалось.

Куда бы ни пошел Саша этой весной шестнадцатого года, отовсюду навстречу ему — солдаты. Вот и сейчас они маршируют вдоль Поперечно-Горшечной. Ритмично печатают шаг по корявой булыжной улице, и рыжая пыль клубится следом за сапогами. Спокойный голос запевалы доверительно сообщает прохожим:

Пишет, пи-и-шет царь герма-а-анский.
Пишет ру-у-у-усскому царю-у-у...

Весь строй с присвистом подхватывает:

Разобью-у-у» я всю Еиро-о-опу,
Сам в Расее-ею жить пойду-у-у-у...

Но что бы ни пели солдаты — эту, эпическую, или залихватскую «Канареечку», или меланхолическую «Вы не вейтесь, черные кудри», — встречи с ними угнетают Сашу. Ему хочется и не удастся различить в движущихся массивах отдельные лица. Песенная ерундистика оглушает, мешает представить себе ближайшую судьбу этих людей, почти ровесников.

На исходе второй год войны. Ее невзгоды докатились и до Казани, в глубокий тыл. И если в средних классах еще с прежней методичностью уроки сменяются переменами и все как бы незыблемо, то к выпускникам дух военной тревоги просачивается сквозь окна и стены, сквозь сдержанные, спокойные голоса учителей.

Наконец-то Саша и его два одноклассника доходят до самого угла и могут свернуть в тихий переулок, где сиреневые заросли и низкие заборчики, перевитые ветками желтой акации. Зовется это местечко — переулок Третьей мужской гимназии. Здесь учится Саша с тех пор, как в прошлом, 1915 году, семья землемера Григория Гинцбурга прибыла с эшелонам беженцев из Вильны в Казань.

В переулок не доходят городские шумы. Здесь негде развернуться солдатскому строю. Зато можно сидеть верхом на изрезанных перочинными ножичками скамейках и, не отрывая глаз от книги, шелушить стручки желтой акации, превращая их в пронзительные свистульки. Переулок возвращает кусочек отрочества, бесцеремонно прерванного в тот момент, когда Саша из среднего сына вдруг сделался старшим.

В тот декабрьский вечер 1914 года на потертую плюшевую скатерть семейного стола лег белый квадратный листок. Саша перечитывал торжественные, почти славянские слова... «Верный воинскому долгу»... «На поле брани»... Потом переводил взгляд на тусклое трюмо, перед которым еще так недавно, примеряя военную фуражку, стоял старший брат Яша... «Сиди, сиди, Яша, в ореховой чаше»... Так ему пели на елке, когда были маленькие и Яша стоял в центре хоровода.

Все изменилось: и вид комнат, и лицо матери, и даже большая, «кабинетная» фотография Яши над комодом.

Он снялся в тот день, когда впервые надел воинскую амуницию. Прежде Яша смотрел с этого снимка доблестным воином. Теперь его лицо скрывало что-то тайное и недоступное.

Родители как-то сразу стали меньше ростом. Про себя Саша называл их стариками. И стариков и проказливого Аркашку надо было опекать, а главное — как хором твердили все знакомые, — не доставлять им нового горя.

Это как раз самое трудное. У матери особое чутье на все, что не укладывается в заветный треугольник: гимназист — студент — врач... Малейший шаг в сторону наливает ее глаза такой болью, что чувствуешь себя палачом. И как она безошибочно угадывает инородное, для нее нежелательное! Уж как тщательно Ильяс Сибгатуллин расчесывает волосы на косой пробор, как долго вытирает ноги в сенцах, а мать все равно не спускает с него подозрительного взгляда! И не успокаивается даже тогда, когда, отвечая на вопрос о родителях, Ильяс вежливо объясняет, что отец его учителствует в татарской школе-медресе.

Не нравится матери и низкорослый, плохо побритый Виктор Клочков, который часами дожидается Сашу, если не застает его дома. Не обнаруживая нетерпения, Клочков молчком раскачивается на табуретке и смотрит не на людей, а как бы сквозь них.

А как перепугалась мать, когда на пороге их беженского кособокого домика по Односторонке Третьей горы появилась настоящая дама в шляпке с вуалеткой и в фильдекосовых перчатках! Дама назвала себя Ольгой Алексеевной, а Сашу — Александром Григорьевичем.

— Почему ты не дружишь с одноклассниками? — тоскливо допытывается мать.

Попробуй подружи... Вот они, одноклассники, идут рядом, толкуют о складчине. Будет банкет в честь медалистов — золотых и серебряных.

— Без шампанского, так и быть, по военному времени обойдемся, — бубнит над ухом Толя Торопов, — но уж коньячок-то обязательно... Медалистки из Мариинской будут с нами. Чуть было их Первое реальное не перехватило...

Толино острое личико сияет. Он то и дело поплевывает на застиранный носовой платок и азартно трет им чернильные пятна на пальцах.

Вячеслав Веселовский со снисходительной улыбкой бывалого человека подсчитывает, в какую копеечку все это дело влетит... Если, конечно, ради такого случая, закатиться в ресторан Щетинкина...

Саша нетерпеливо покашливает. Но не прерывает. .

Надо слушать всю эту скучищу да и на банкет идти придется.

Иначе получится то самое «выделение из ряда», против которого все время предупреждает Ольга.

Лепные амуры поддерживают пухлыми ручками тяжелую золоченую люстру. Официанты в довоенных крахмальных воротничках делают вдумчивые лица, выслушивая запальчивые претензии Толи Торопова, впервые проникшего в вожденную зону наслаждений, знакомую ему до сих пор только по родительским перебранкам. Ресторан Щетинкина!

Медалистки из Мариинской не сводят глаз с оперного тенора, приглашенного «для настроения». Медалисткам не верится, что кумир, чьего выхода они часами ждали, замерзая у служебного театрального подъезда, за чьим извозчиком бежали вслед, сидит сейчас с ними рядом и, соизволительно улыбаясь, пересчитывает своим неземным голосом не алмазы в каменных пещерах и не жемчужины в море полуденном, а просто рюмки для коньяка.

Рядом с Сашей — Маруся Трефилова. Золотые кудряшки, кружевные воланы. Недаром прозвана — «пирожное безе».

Ну, и болтала бы уж что-нибудь про танцы. Так нет, подавай ей умные разговоры!

— Скажите, Александр, вы уже прочли «Так говорил Заратустра»? Гениально, правда? Что же вы молчите? Все говорят, что вы читали решительно все. Даже историка Полозова — уж на что эрудит! — и то на уроках в тупик ставили...

Щебетанье Маруси сливается с шумными остротами Вячеслава Веселовского:

— Не соблазняйте малых сих, Маруся! Аскет наш Александр... Ригорист и книжник. Какой-то Муций Сцевола, черт побери! И все-таки давайте дружить, Саша! По закону сходящихся крайностей. Сам-то я убежденный эпикуреец, и в жилах моих изрядная капля веселой галльской крови.

В таких выражениях Вячеслав любит намекать на свое происхождение от бабки-француженки, когда-то попавшей в Казань гувернанткой к богатым наследникам.

— Скажите, что, по-вашему, выше: жизнь или отвлеченная идея? — допытывается он, разливая вино уже нетвердой рукой.

— Безусловно, идея! — иронически подхватывает Нина Соболева, резко поворачивая голову, от чего вздрагивают ее коротенькие, но очень толстые, словно обрубленные косички. — И я советую вам заменить вино идеей вина, поскольку вы уже вполне развеселились!

Нина, смеясь, но с настойчивостью отнимает у Веселовского бутылку. Молодчина! До чего же томительно смотреть на наших зубрилок в роли кутил и гуляк! Да еще слушать немудрящие двусмысленности, заимствованные Толей Тороповым у отцовых картежных партнеров...

Чтобы улизнуть, Саша использует сумятицу из-за Толиного нездоровья. Последний бокал был совсем лишним. Толя резко побледнел, его мордочка грустного шпица еще больше заострилась.

— Ему на воздух надо. Я прогуляюсь с ним, — торопливо вызывается Саша.

На улице Толя быстро приходит в-себя и спешит назад. Саша пропускает его вперед, через туго открывающуюся массивную дверь, мимо очумевшего от ночных бдений швейцара.

— А я сейчас, — неопределенно бросает он и решительным шагом уходит вдоль Проломной, по направлению к Рыбному.

Уже светает. Над колокольной Богоявленской церкви кружат птицы.

Надо торопиться. Конспект доклада, который Саше предстоит сделать в это воскресное утро, остался дома, под матрасом. Не тащить же его было в ресторан...

Значит, сначала домой, потом в Татарскую слободу за Ильясом, как сговорились, а потом еще добираться до Дальнего Устья, к перевозу на остров Маркиза. Встреча назначена ровно на девять, с утра меньше гуляющих на острове. А сколько еще протащится на своем ролике неуклюжий, старомодный трамвай, похожий на медлительного молодого носорога?..

Лодка врзается в песчаный берег очень тихо, вполне конспиративно. Волга еще по-ночному безмятежна, и кустарник застыл в неподвижности.

— Отличный будет день, — деловито говорит Ильяс, привязывая лодку. Потом замечает, что Саша ощупывает карман, тут ли тетрадка. Ильяс щурит и без того узкие глазки. — Чего боишься-то? Будут все свои... По двое от каждого завода...

Ольга Алексеевна не поленилась привезти всяческую утварь для воскресного пикника. Даже маленький пузатый самоварчик. Он старательно отражает начищенными боками солнечные лучи. В трубе тлеют сухие еловые шишки. Легкие золотые искры летят в небо.

Какое-то давнишнее чувство чистоты, уюта, детского утреннего воскресного счастья охватывает Сашу. Черт возьми, даже поздороваться забыл! Ольга первая приветствует пришедших:

— Доброе утро, товарищи! Не удивляйтесь этой идиллии. Чем уютнее накрыт стол, тем меньше оснований для кривотолков. Пикник, так пикник...

Улыбка Ольги Алексеевны усиливает ощущение праздничности. Далеко не каждый день можно видеть на этом лице улыбку. Оно напоминает Саше лицо одной из дочерей

Ссылного Меншикова на суриковской картине. «Меншиков в Березове» всегда висел в детской мирного времени, и трех дочерей опального вельможи Саша различал испокон веков, каждую по-своему. Та, что у отцовых ног, — Добрая. Та, что за книгой, — Печальная. А третья — Решительная. Ему всегда казалось, что однажды Решительная сделает какое-то отчаянно смелое движение и выведет отца и сестер из неволи. Ольга Алексеевна так похожа на Решительную, что иногда на плечах ее чудится душегрейка петровских времен. Особенно когда она сердится на чью-то неисполнительность, на нечеткость в выполнении заданий.

— Пройдусь немного, — говорит Ильяс, напряженно приглядываясь к следам ног на влажном песке.

— Не надо. Прошлись уже до тебя, — деловито заявляет, выходя из зарослей ивняка, высокий парень в картузе и в черной косоворотке. — Все в порядке. Начнем, пока гуляющие господа не понаехали.

— Слово для доклада имеет товарищ Александр. Саша чувствует, что покраснел, и краснеет еще больше от желания избавиться от румянца. Он еще не отучился волноваться при таком обращении. Товарищ Александр... Товарищ Ильяс... Товарищ Ольга...

Это недоступно непосвященным. Это намек на силу великого братства.

А стоит ли он этого обращения? Ему становится жутко от того требовательного внимания, с каким смотрят на него все: и Сибгатуллин, и Ключков, и высокий парень в черной косоворотке, и два его приятеля, одетые в выходные белые рубашки фасона «апаш», и обе девушки с прядильной Алафузовской, покрытые по-праздничному газовыми цветными шарфиками. А главное, Ольга еще вчера подшучивала:

— Знаете, я продаю своего Брокгауза и* Ефрона. Больше не нужен. Теперь я знакома с Сашей Гинцбургом. Нет, кроме шуток, ученость просто неправдоподобная для гимназиста!

Двусмысленная похвала... Царапает чем-то... Напоминает о кличке «пожиратель книг», которую придумал для Саши семейный мудрец дядя Лева.

Не показаться бы этим настоящим пролетариям книжником, барчуком. Саша вдруг решает обойтись без тетрадки, без конспекта и начинает доклад не с заготовленной цитаты из Маркса, а с рассказа о солдатах. О тех самых солдатах, что идут и идут ему навстречу по всем улицам города. Рассказывает, как они поют. Как присвистывают на словах «Эх, раз, эх, два! Горе — не беда!» А что ждет их? И всю страну? Ураганный огонь пулеметов и удушье газовых атак. Эшелоны раненых и очереди за продуктами. Цинизм правителей и отчаяние матерей. А ведь выход есть...

Вот оно, незнакомое слово, похожее на колокольный перезвон. Цим-мер-вальд... Циммервальдская левая. Ленин сказал: превратить в гражданскую...

— Вам с лимоном или с молоком?

Саша слышит отчаянно любезный голос Ольги Алексеевны и ощущает спиной опасность. Шорохи, обрывки голосов, треск сучьев под чьими-то ногами.

— Ой, как скользко!

Женская нога в модной белой парусиновой туфельке упирается в отполированное вросшее в песок корневище, подвертывается, брызгая во все стороны мелкими камешками.

Маруся Трефилева! И за ней стайка медалистов из Третьей мужской.

— Так вот он где, изменник! — верещит Толя Торопов. — Подумать только: в такую ночь, в такое утро уйти в чужую компанию! Купаться-то хоть с нами будешь?

Майская вода обжигает холодом. Солнце еще только золотит Волгу, не прогревая ее. Саша быстро и сильно работает руками, чтобы опередить Торопова и Веселовского, пока они окунаются, фыркают, отплевываются. И вот он уже плывет впереди. Видит ли Ольга, что он обогнал их? Вот вам и Брокгауз! Становится весело от сознания силы и ловкости. А еще от того, что после доклада самому все стало еще понятнее. Произнесенные вслух, четкие слова прояснили мысль.

Домой с острова Маркиза отправляются уже под вечер, перемешавшись с воскресной толпой, разбившись по двое и поодиночке. Саша охотно соглашается на предложение

Ильяса: «Ну его, трамвай, пешком айда!» Давно они сошлись на том, что самые интересные мысли приходят к человеку именно на ходу.

Они молча шагают по выбоинам и колдобинам каменистой дамбы, изредка отходя на обочину, чтобы пропустить очередной солдатский строй. Солдаты все идут и идут навстречу. Какая-то новая, еще не слышанная песня — о прапорщике юном, что со взводом пехоты старается знамя полка отстоять...

...Один он стался от всей полуроты.
Но нет, он не будет назад отступать...

Один из полуроты. Саше вдруг удается на секунду мысленно остановить строй, заставить его застыть на месте, как это бывает в кинематографе. Сквозь блеск ружей теперь видны отдельные, непохожие лица. Смешные на молодом лице, кустистые брови. Красноватый шрам на чьей-то щеке... Да неужели через две-три недели кто-то другой запоем про них, вот про этих самых? Про того счастливчика, что останется — ОДИН! — из всей полуроты?

Острое чувство вины отдается болью в виске. Золотая медаль... Ресторан Щетинкина... Медицинский факультет — мечта матери... А их в это время — на убой... И того, со смешными бровями, и того, со шрамом на щеке... Нет, это еще очень мало, если он понял, что к чему. Надо еще снять с себя вину за все это. Никогда — с обидчиками, всегда — с обиженными. Ни одного шага в сторону тех, кто гонит солдат, заставляя их петь с присвистом...

— Ты что, друг? Белый с лица стал... Или перекупался? — Ильяс участливо берет Сашу за руку, отыскивая пульс. — А то, может, передумался?

Языковые ошибки Ильяса бывают очень меткими. И догадки у него прямолинейные, но всегда почти безошибочные.

— Наверно, и вправду передумался я, Ильяс... Послушай-ка: Цим-мер-вальд... Здорово звучит, верно?

КТО ОНИ ТЕБЕ!

Мать обозначала это Сашино свойство нейтральным словом — впечатлительность. — Он впечатлительный! — взволнованно повторяла она, рассматривая жирную тройку по поведению в дневнике первоклассника Саши.

В тот год ему было девять. Каждый день, возвращаясь из Виленской первой гимназии, он покупал на углу Жандармского переулка самодельные конфеты у старушки, похожей на тетюшку Тома Сойера. Вообще-то неважные на вкус конфеты, горьковатые какие-то, но старушкину коммерцию надо было поддержать. Иногда Саша даже помогал ей отсчитывать сдачу, потому что боялся, как бы не сломались окованные, стеклянные старушечьи пальцы.

И с чего это полицейский к ней привязался? Стал гнать на рынок, говорит, что тут она «всю видимость страмит»... Саша и опомниться не успел — так быстро все сделалось: городской толкнул старушку, стеклянный ящичек разлетелся вдребезги, на сером городском снегу затемнели медные копеечки и обломки самодельных конфет. Старушка отчаянно зарыдала, а Саша услышал свой собственный крик «Не троньте!» и почувствовал обжигающую боль в запястьях рук. Городской, оказывается, здорово умел их выворачивать.

В полицейской части Саша отвечал вежливо и исчерпывающе.

— Как же это, молодой человек? С кулаками на старшего?

— Он бил ее...

— А вам-то, позвольте спросить, какое дело?

— Она плакала...

— Да кто она вам? Может, родня какая? Кем она, говорю, вам приходится?

— Она мне приходится конфетной старушкой. ...Через два года матери опять пришлось сидеть на краешке стула и, теребя носовой платок, объяснять:

— Он очень впечатлительный.

На этот раз все произошло из-за Володи Поликарпова. Его исключили из гимназии за невзнос платы. Педагоги пытались было освободить Володю от платы за учение, но уж очень плохо учился этот золотушный, вялый мальчик. Педагогический совет и склонился к тому, что наука не проиграет, а семья даже выиграет, если Володя обучится какому-нибудь ремеслу.

Но тут неожиданно выяснилось, что флегматичный камчатник все-таки не мыслил своей жизни без гимназии. Он никак допустить не мог, что властители его дней — учителя и наставники — просто-таки больше никакого отношения к нему не имеют. И вот уже больше полумесяца прошло с постановления педагогического совета, а Володя по-прежнему приходил в класс, скидывал с плеч битком набитый старый ранец, усаживался на Камчатке среди второгодников и аккуратно отсиживал все уроки, играя в крестики на истории, жуя ржаные сухари на французском и немного оживляясь на арифметике.

И настал наконец такой день, когда классный наставник, скрывая неловкость, твердо велел Володе собрать книги и идти домой. И больше совсем не приходиться.

— А как же? Завтра ведь письменная по-русскому? — спросил Володя. И, точно впервые осознав случившееся, резко побледнел и уронил ранец. Оттуда посыпались залитые чернилами, усеянные кровавыми пятнышками двоек тетрадки, покатались металлические шарики и пуговицы, вырванные с мясом из шинели.

Тут-то класс и услышал голос Саши:

— Тогда и мы уйдем! И не вернемся, пока Володю снова не примут!

На семейный совет отец и мать пригласили квартиранта пана Анджея Струсинского, человека очень вежливого и начитанного, а также дядю Леву, славившегося в родственных кругах своей несокрушимой логикой.

— Четвертый день в гимназию не идет... Грозят исключить как зачинщика...

Саша, не перебивая, слушал мамины жалобы, папины разъяснения и дяди-Левины блестящие силлогизмы, доказывавшие, как дважды два, что ученье — свет, а неученье — непроходимая тьма.

— Да чем он для тебе, Володька той? — вмешалась няня Рузя. — Чи сват, чи брат?

— В самом деле, кем он тебе приходится? Приятель?

У пана Анджея получалось «Пшиятьель». Саша засмеялся.

— Никакой не пшиятьель. Мой друг — Коля Федченко. А Володька сидит себе на Камчатке. Ну и пусть сидит... Он не виноват, что у его отца денег нет...

— Гм... Розумию... — задумчиво протянул пан Анджей.

Вечером, лежа в постели, Саша настороженно прислушивался через полуоткрытую дверь к беседе взрослых за ужином. Только и слышалось мамино излюбленное «впечатлительный».

— Да нет, тут серьезней дело... — услышал вдруг Саша звенящий голос пана Анджея, в котором почти все Т звучали, как Ц. — Похоже, что хлопчик слеплен из того материала, который...

Саша чуть не заплакал от досады, не расслышав, что это за таинственный материал, из которого он слеплен.

— О то ж не хлопчик, а чистый брульянт, — вставила свое словечко няня Рузя.

От удивления, что его хвалят, хотя только что единодушно распекали, от стыда, что подслушал похвалы себе, Саша забрался с головой под одеяло, а туда доносились только разрозненные, но полные скрытого смысла слова.

— В наше-то время...

— Как же, добьешься...

— С такой душевной ранимостью...

Мамины слова и выражения шли обычным, легко угадываемым набором и не сулили ничего нового. Но вот заговорил пан Анджей, и сразу точно стая невиданных птиц налетела в комнату. От этих слов падало сердце, как на гребне волны при купанье.

Пан Анджей говорил, что год нынче черный, и кто-то ученый подсчитал: каждый день в среднем семь человек вешают... Тут вдруг поднялся шум, потому что дядя Лева опять начал форсить своей знаменитой логикой. Он изо всех сил напрягал голос, уверяя, что если кто-то сделает что-то, а еще кто-то, наоборот, не сделает чего-то, то в результате...

— Эрго... — в который уж раз провозглашал дядя Лева. Ужасно он любил это словечко, и иногда Саше казалось, что дядя Лева только для того и городит свои «посылки» и «предпосылки», чтобы иметь возможность щегольнуть этим самым «эрго»!

Но пан Анджей сумел как-то, даже не повышая голоса, остановить дядю Леву. То, что он сказал, было не вполне понятно, но все равно очень лестно.

— Инстинктом почуял форму борьбы: забастовка протеста. Взрослым поучиться...

Пан Анджей Струсинский служил где-то статистиком и жил крайне уединенно. На расспросы о семье отвечал лаконично, что старики живут под Краковом, а с женой не сошлись характерами.

Сашу притягивало все, что было связано с паном Анджеем. И его стол, заваленный книгами и рукописями на польском языке, и его серый в шашечку костюм с оттопыренными карманами — что там лежит в них? — и редкие зечерние гости пана Анджея, никогда не пившие чая.

Заслышав шаги пана Анджея, Саша быстро исчезал, избегая встречи, но по вечерам, перед сном, настойчиво думал о квартиранте, мечтал о долгих сокровенных разговорах с ним, о совместных прогулках, о книгах с его стола.

И вдруг мечта осуществилась. Пан Анджей перехватил готового от смущения провалиться сквозь землю Сашу у крыльца, во дворе. Деловито, как бы продолжая начатый разговор, спросил:

— А ты старинные книги любишь? Редкие? Уникальные? Тогда пойдем сегодня со мной к Шульцу.

К Шульцу стали ходить очень часто. Неторопливо, пешочком, через весь город, на окраину старой Вильны. Входили в заросший пыльными лопухами дворик, поднимались по типично виленской витой лесенке. Букинист сразу принял Сашу как своего. Разница в возрасте ничего не значила перед общностью интересов. А на обратном пути... Что за удивительные разговоры с паном Анджеем возникали на обратном пути! И как он умел переплестать самое древнее из прочитанного с тем, что писалось в сегодняшней газете!

И скучать о пане Анджее, когда он вдруг исчез и не был в Вильне больше двух лет, Саше было легче в обществе Шульца и его книг. Он чувствовал, как богатеет, предвкушал встречу с паном Анджеем и разговор «на равных». В конце предпоследнего мирного года пришло от Анджея письмо с приветом Саше и с вопросом, свободна ли старая комната под лестницей. Задним числом краснея за прежние свои оплошности, Саша мечтал о встрече и побаивался ее.

Оказалось, пустые страхи. Пан Анджей вошел в столовую, точно вчера был здесь. Не стал ахать, как, мол, мальчишки выросли, а, пообедав, запросто бросил:

— Пойдем, Саша, книги разбирать!

А там, в старой комнате под лестницей, сразу произошло чудо контакта, соединения душевных проводов.

— Сортируй книги, а я пока одежду развешу, — говорил своим цокающим говорком пан Анджей, расправляя на деревянных плечиках все тот же знакомый, в шашечку, костюм.

Саша понял, какое ответственное поручение ему дается. Было ясно, что главное в жизни пана Анджея гнездится именно в глубине объемистого старомодного саквояжа, битком набитого книгами и бумагами. Он разложил книги на три стопки: классиков — на шаткую подвесную этажерку, где они стояли прежде, скучные статистические сборники, толстые учебники политической экономии — на стол.

— А эти? В бельеовой ящик, да?

Пан Анджей бросил взгляд на третью стопку.

— Абсолютно правильный отбор. Сколько тебе сейчас, приятель? Пятнадцать? Отличный возраст. Да, это в бельеовой, поглубже, между рубашками... Из этой стопки две возьми себе. Вот эту учи долго и всерьез. Как алгебру. А это — для понимания текущего момента.

Первая книжка, без обложки, без заголовка, начиналась словами: «Призрак бродит по Европе...» Вторая, совсем тоненькая, была озаглавлена нежным девчоночьим именем — «Лена».

Вечером, выждав, когда родители ушли в кинематограф, Саша постучался к Анджее.

— Что я могу сделать? — спросил гимназист.

— Для начала перестань называть меня паном, — ответил взрослый, — зови, когда мы вдвоем, товарищем Анджеем.

Через несколько дней после этого разговора Саша впервые увидел демонстрацию. Они с Колей Федченко шли из гимназии и лицом к лицу столкнулись с толпой, шедшей от Немецкой по направлению к центру. На красных полотнищах повторялось все то же имя — Лена.

— Я знаю... Это Ленские прииски... Отцу писали оттуда... — зашептал Коля.

Они взялись за руки и бросились в самое месиво. Но в это время процессия вдруг резко шарахнулась за угол, к Георгиевскому проспекту. Мальчики оказались втянутыми в водоворот, втиснутыми в человеческую гущу, откуда уж не выбиться наружу. Их неостановимо поволокло потоком к Кафедральной площади.

Дискантовый голос пронзительно затянул где-то у самого Сашиного уха песню про враждебные вихри.

— Пойте и вы, гимназисты! Пойте, подхватывайте! — прервала сама себя певунья и скороговоркой подсказала следующие слова:

В бой роковой мы вступили с врагами.

Нас еще судьбы безвестные ждут...

Безвестные судьбы. Ну и пускай! Одно только Саша твердо знает о своей безвестной судьбе: она будет такая же, как у этих людей. Они не побоялись заступиться за тех, кто на Лене. Не побоятся и он... Всегда с обиженными, никогда — с обидчиками.

Появилась конная полиция. Все настойчивей крики «Разойдись!». Пение незаметно слилось с воплями, с женским плачем. Дрогнула цепь, и упал первый человек, не то поскользнувшийся, не то сбитый с ног. Смысл происходящего прояснился для Саши только тогда, когда нагайка просвистела совсем рядышком, полоснув по лицу наискось соседку-запевалу и заодно пройдясь по хромоту парнишке в картузе. Тот подпрыгнул, спасаясь от удара. Одна нога у него была намного короче другой, прыжок получился комичный, и сам хромой — чуть постарше Саши — засмеялся вслух, предварительно выругавшись.

— Сюда! — Коля Федченко за руку втащил Сашу в глубокую нишу боковой стены костела. Они втиснулись по обеим сторонам статуи богоматери с младенцем. «

И вдруг заметили в соседней нише, подле статуи святого Иосифа, давешнюю соседку по колонне, запеваду. Лицо ее, как бы перечеркнутое кровавой полосой нагайки, было залито «фровью. Кровь струилась и по рукам и по складкам каменного покрывала святого Иосифа. Хромой парнишка, сам весь окровавленный, пытался взвалить женщину на плечи, но падал при всякой попытке.

— А ну, подсади ее ко мне... Сюда клади ее! — сказал Саша, подставляя спину.

Женщина потеряла сознание, и Саша ощущал ее обмякшее, ставшее вдруг очень тяжелым тело, как мертвую кладь. Он согнулся в три погибели. Волочащиеся по мостовой ноги женщины путались между его ногами, сбивая с шага, больно ударяя по щиколоткам.

Добродушная няня Рузя просто остолбенела, увидав змеистый кровавый след вдоль лестницы и растекшуюся кровяную лужицу у порога столовой, где Саше пришлось долго переминаться с ноги на ногу, борясь с низкой скрипучей дверью.

— Не пущу! — бессмысленно твердила няня Рузя, хотя было очевидно: не пустить уже нельзя, Чужая женщина, вся в крови и грязи, несущая с собой страшные опасности, уже здесь, в квартире, уже пришла в сознание на плюшевом диване с зелеными разводами.

— Матка боска! Змилуйся над нами! Цо то бендзе... Цо то за хлопок! Завже всува нос в чужи sprawy... Чем они сон для чебе, та хвора да той хромый?

— Люди они мне, няня Рузя. Люди они. Поняла?

...Когда в пятнадцатом году, после гибели на фронте старшего сына, семья вместе с верной няней Рузей двинулась с эшелоном беженцев в Поволжье, пан Анджей подробно объяснил Саше, как найти в Казани одну знакомую учительницу, Ольгу Алексеевну. Товарища Ольгу.

ПРИЮТЫ НАУК

Толя Торопов залихватски отламывает кусок ржаного хлеба от большой горбушки и, вызываяще причмокивая, начинает жевать. Уже второй семестр близится к концу, а Толе все еще нравится поражать мир злодейством: завтракать прямо в анатомичке, стоя над столом с препарируемым трупом. Толя по-детски откидывает кверху свое острое личико и горделиво хихикает, когда коллеги-медики выражают свое отвращение и ужас. Как можно здесь есть!

— А почему бы и нет! — задается Толя. — Наоборот, приятно! Пустой хлеб здесь вроде колбаской пахнет.

Медики отплеваются, и это льстит Толе. Как-никак, проявляя такой медицинский стоицизм, он становится хоть ненадолго центром внимания группы. Их трое одноклассников — медалистов из Третьей мужской, ставших медиками. И Толя немало озабочен тем, чтобы выглядеть не хуже двоих других.

Потому что те двое сразу стали людьми заметными на факультете. Вячеслав Веселовский с первых недель учения настойчиво проталкивается в науку, торчит по вечерам в прозекторской, водит дружбу со сторожем Меером, а тот ему подсовывает трупы с аномалиями. Для будущих изысканий. А Саша Гинцбург — ну, у того, известно, эрудиция... Да и память чего стоит...

...С поступлением Саши на медицинский факультет мать начала благоволить к Ольге Алексеевне. Та вдруг оказалась очень благоразумной женщиной. Пока она не вмешалась, казалось, что так и не удастся уговорить Сашу подать документы. Отбивался и всерьез и шутками.

— Ну пойми, мама, не хочу я жениться на этой Медицине. Какая низость — брак по расчету! Ну не люблю ее — и все. Изменять придется... С Историей... С Литературой...

— Стерпится — слюбится! — неожиданно вмешалась случайно зашедшая в гости Ольга Алексеевна.

И потом долго еще доносился ее приглушенный голос из Сашиной комнаты. На другой день Саша подал на медицинский. Товарищ Ольга резонно считала медиков самыми перспективными из тех, кто захаживает вечером в студенческую чайнушку на Рыбнорядской.

— Изнутри легче будет работать. Так что успехов вам, доктор...

Кости. Связки. Мышцы. Что ж, их несложно запомнить. Вот он уже и первый по анатомии, и прозектор усиленно уговаривает его записаться в научный кружок. Но настоящая жизнь начинается после лекций и практикумов, в веселом чаду чайнушки, где толчется всякий народ с разных факультетов, где умелому агитатору — успевай только поворачиваться, прислушиваться к разговорам, улавливать почву, на которую не зря упадет зерно.

Еще острее, еще напряженней у Ильяса Сибгатуллина, в Татарской слободе. Правда, отец его не очень-то любезен с постоянными гостями, но зато у него неоценимое преимущество: плохо понимает по-русски, и можно не очень-то стесняться в разговорах.

...Вячеслав Веселовский считает чайнушку пустой тратой дорогого времени, и только особый случай заставляет его спуститься по обледенелым ступенькам в этот полуподвал и долго шуриться, протирая пенсне и разыскивая в папиросном дыму, в клубах пара «наших».

— А кто именно «ваши», коллега? Эсеры? Эсдеки?

— Гм... Мне нужны медики...

Обнаружив Сашу, Веселовский возбужденно шепчет ему на ухо:

— Скажите, вы предсказаниям верите? Ну, не вульгарным гадалкам, разумеется. А если вот, скажем, поэт, человек повышенной интуиции... Взгляните...

Саша видит толстую общую тетрадь с переписанным от руки стихотворным текстом. Заголовок выведен печатными буквами — «Облако в штанах». Синим карандашом отчеркнуты строки:

Где глаз людей обрывается куций,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

— Каково! Вот вам и футуристы! Политический прогноз... Да какой! — взволнованно, конспиративным тоном продолжает Веселовский.

— Прогноз? Но ведь он уже не оправдался. Шестнадцатый-то на исходе. Кстати, где встречаете Новый год?

Саша и сам не мог бы объяснить, почему ему никогда не хочется говорить доверительно с этим веселым, трудолюбивым, доброжелательным — ну, пусть хоть и слишком красноречивым — человеком. Вот и сейчас: смотрит прямо в лицо своими очень голубыми глазами...

— Напрасно, Александр. Недоверие, говорю, ваше напрасно. Мне ведь дела нет до ваших тутошних чайнушечных секретов. Мне учиться надо. Не знаю, куда вы, а я-то ведь в науку. И эти строчки потому так меня и взволновали. Неужели начнется какая-нибудь кутерьма и все мои планы перевернет? Вот и зашел, подчиняясь первому импульсу, посоветоваться с вами, как с умным человеком, сведущим в политике.

Саше еле удастся отшутиться и открутиться от Веселовского. А поздно вечером, добравшись до Ильясовой каморки, он читает вслух врезавшиеся в память строки. Маленький Ключков вскакивает с оседланной табуретки.

— Подумать только! Футуристы! Всегда их не выносил... А тут вдруг так здорово! Бели, конечно, отбросить мистику насчет терновых венцов. «Грядет шестнадцатый год»... Отлично. Давайте включим в листовку. В ту, что для ветеринаров.

В ветеринарном институте вдруг ни с того ни с сего сколотилась группа защитников царя и отечества. Собираются формировать добровольческий студенческий взвод для отправки на фронт. Газеты трещат о патриотическом порыве, возникшем в «приюте наук». Листовку для распространения среди ветеринаров, или, по-ключковски, для «вправления ветеринарных мозгов», написал Саша. И здорово получилось, все одобрили. Ему же поручается разбросать ее на новогоднем вечере, где будут выступать застрельщики «порыва».

— А если обстановка позволит, то и устно потолковать с отдельными группами студентов, — обычным деловым тоном поручает Ольга.

— Да не деликатничай с ними, — вставляет Ключков, снова оседлав табурет, — не скрывай от них, какие они ослы. Добро бы еще в начале войны этакая дурь на них напала. А то сейчас, когда каждый видит: грязь, измена, купля-продажа, распутинщина... А эти бычки

ветеринарные вдруг сами на бойню запросились. Ты, главное, на провокации не поддавайся...

Клочков любовно и придирчиво глядит на Сашу.

— Не поддавайся, говорю. Там такой Борис Борцов есть. Здоровенный ветеринарище, тяжеловес. И глотка луженая...

...Саша входит в актовый зал старинного, добротного здания ветеринарного института на Арском поле как раз в тот момент, когда на эстраде стоит Борис Борцов. На нем мундир с дутыми золотыми пуговицами и белый атласный распорядительский бант. Изображается сатирическая сценка. Борцов — кайзер Вильгельм, партнер его — щуплый студентик — кронпринц. Под взрывы хохота и аплодисментов кронпринц говорит:

Либер фатер, либер фатер, потерпели мы афронт:

Я, пылая точно кратер, прискакал на русский фронт...

Кайзер — Борцов, подкручивая воображаемый вильгельмовский ус, басит на радость слушателям:

Почему же, либер зон,

С столь приятного визита вы вернулись

без кальсон?

— Подумать только, — тихонько говорит кто-то рядом с Сашей, — ведь пошлятина, а как действует! Прислушайтесь к залу. Счастливые вздохи, затаенное дыхание...

Саша сразу узнает Нину Соболеву. Из тех гимназисток, что были на банкете в ресторане Щетинкина. Умница! Даже Веселовского в тупик загоняла репликами.

— Еще любезнее! Улыбайтесь, я говорю, еще любезнее! — шепотом продолжает Нина, кладя на Сашины колени свой бумажный веерок, на краю которого почерком Ольги Алексеевны написано: «Потанцуйте с Ниночкой. Постарайтесь, чтобы она не скучала».

— Товарищ Ольга сказала, чтобы вы ухаживали за мной, — приказывает Нина, вставая. — Под руку возьмите. Мы ведь взрослые теперь. Вы медик. Да и я на Высших женских.

За год Нина повзрослела, сгладилась ребячья припухлость щек. Толстенькие, как бы обрубленные, косички теперь аккуратно заколоты на затылке «под Веру Фигнер». Сумочка в ее руках кажется Саше слишком большой и нарядной, пока не выясняется ее назначение. Не успели выйти в полутьму коридора, украшенного разноцветными лампочками, как Нина деловито приоткрывает сумочку, и Саша видит собственное, вчера только им написанное воззвание к ветеринарам, размноженное на гектографе, сложенное тугой пачкой.

— Антракт — пятнадцать минут. Пойдемте погуляем в фойе! — громко и кокетливо восклицает Нина, оглядываясь на хлынувший из зала народ, и Саша остро завидует: девчонка отлично владеет тем, чего ему самому так недостает, — искусством перевоплощения. Сколько раз товарищ Ольга строго говорила: «Слишком прямолинейны для подполья»! А эта Нина... И в чайнушке не бывает. Понятия не имел, что она своя. Правда, однажды на вечере в Вятском землячестве показалось странным, что она танцует с Клочковым. При каждом повороте он ей ноги отдавливал. Значит, Нина из той пятерки, что на Высших женских...

Танцы еще не начались, и в фойе поют хором знаменитую «Студенческую военную». Запевает Борцов. У него глубокий, ласковый бас, заставляющий забывать и текст песни и павлинье оперение певца. Зато хористы горланят совсем по-солдатски:

Приюты наук опустели, студенты готовы в поход.

Так за отчизну, к заветной цели

Пусть каждый с верой идет, идет, идет...

В перерыве между падеспанем и фигурным вальсом пары медленной процессией идут вокруг зала. Нина говорит громко, заставляя оглядываться на себя:

— Странные слова в этой военной песне! Приюты наук... Как вы понимаете это выражение, Александр?

Саша отвечает тоже нарочито громко, и сразу вокруг них начинают группироваться студенты.

— Приюты наук? Насквозь фальшивые слова! Приюты... Заповедники какие-то, что ли? Обычный шум презренной жизни вроде не доходил в эти приюты... Но вот началась война, и питомцы приютов, ничего не слышавшие о жизни, решили ринуться в бой, хоть и не понимают, за кого и за что собрались умирать...

— Опять университетские мутят! — гаркает кто-то. — Хватит, не чайнушка вам тут!..

— Уважайте тех, кто шагает строем, готовясь отдать свою жизнь!

Эти слова произносит высокий парень с хорошим, искренним лицом. Саше очень хочется переубедить именно его.

— Вы правы, коллега. Нет ничего благороднее готовности отдать жизнь. Но в чем отвага? Неужели в том, чтобы бросаться в огонь, не размышляя, кем и для чего запален костер?

— Не учите отваге русского воина! — выкрикивает тот щупленький, что играл кронпринца. Но оттого ли, что его сейчас только видели в этой жалкой роли, или из-за визгливого голоса, только в ответ на его патетический возглас раздаются смешки. Щупленький шикает, а Саша, точно не замечая его личной враждебности, продолжает:

— А разве не смел тот, кто становится поперек шествиям обманутых и, рискуя быть растерзанным, скажет: «Остановитесь! Подумайте о том, куда лучше направить ваши штыки...»?

— Что здесь происходит? О чем новгородское вече? — басит Борис Борцов, пробираясь сквозь толпу, как большой корабль, расталкивающий скопище лодок.

— Никаких митингов, уважаемые милорды! Здесь бал, здесь встреча Нового года, здесь, наконец...

— ...приют наук! — заканчивает Нина Соболева капризно-насмешливым тоном.

— Вот именно! — притворяясь, что не заметил насмешки, провозглашает Борцов и хлопает в ладоши.

— Маэстро! Прошу вальс!

Дирижер духового оркестра стучит палочкой по пюпитру, и сладкие надтреснутые фразы «Лесной сказки» несут молодых в бездумный полет над квадратиками паркета, на который не пожалели парафина. Пользуясь минутой, Нина щелкает замком своей сумочки и сует высокому парню, Сашиному давешнему собеседнику, несколько скатанных трубочкой листов бумаги.

— Это программа наших любительских спектаклей на первое полугодие нового года. Ознакомьтесь и товарищам покажите...

Вальс, вальс. Нина кладет руку на Сашино плечо. Они движутся мимо колышущихся шелковых штор, под свисающими с потолка ватными шариками, мимо голубого транспаранта «С Новым годом!», с которого осыпается снежок из бертолетовой соли.

— Указаний не выполняете. Вам сказано ухаживать за мной.

— Стараюсь...

— С таким лицом, точно анатомию сдаете. Танцуете, правда, здорово! Не то что Клочков. Даже удивительно при вашей эрудиции!..

— У меня принцип: уступать в пустяках, чтобы не мешали в главном. Поэтому аккуратно ходил на уроки танцев в гимназии.

— Если бы войны хоть не было! — без всякой видимой связи вздыхает Нина.

Зал снова наполняется ласковым басом Борцова: «Гран рон! Гран рон!» По этому сигналу откуда-то сверху обрушиваются на танцующих горстки конфетти и кудрявые нити серпантина.

— Ого, сколько бумаги в воздухе! Самое время выпустить и нашу...

Антивоенные воззвания, адресованные студентам-ветеринарам, белеют на полу, путаются в серпантине.

— Теперь сюда!

Вальсируя, они выбираются из толпы в полумрак коридора. Здесь мерцают цветные фонарики, а над одной из аудиторий висит дощечка «Зимний сад». Расставленные вдоль стен елки разомлели от тепла и пахнут так остро, что придают правдоподобие всему неуклюжему реквизиту: ватным хлопьям, бертолетовому снежку, пергаментным сосулькам. В центре «зимнего сада», как и положено, два ряда деревьев образуют тоннель, «аллею любви». В конце ее — дед-мороз из папье-маше. В его руках плакатик: «Я ничего не замечаю».

— Это отлично! Отлично, что он ничего не замечает, правда, Нина? Займемся делом...

«Аллея любви» мигом усеивается листовками.

...Оказывается, Нина живет тоже на Односторонке Третьей горы. Это удивительно и великолепно. Они шагают по ночным улицам, заваленным настоящими, не ватными, снегами. Под ногами весело и сухо хрустит. Из окон домов, в этот час обычно темных, на снег падают пятна света. Люди еще встречают Новый год. Семнадцатый год двадцатого века.

— Прямо чудеса, что мы ни разу не встречались, живя на одной улице, — говорит Саша, поддерживая Нину под руку.

— Можете больше не держать. Ухаживать уже не надо, задание выполнено.

Она несет свои туфельки в мешочке с тесемочкой. Валенки на ногах делают ее еще меньше ростом. Она бежит торопливой рысцой по краю сугробов, как шестиклассница.

— Ни разу не встречались, говорите, да? — Она останавливается в комическом негодовании. — Да вы десятки раз проходили мимо меня, не узнавая, погруженный в свои всемирно-исторические размышления. Да! Как мимо тумбочки или телеграфного столба.

— Скорее, как мимо тумбочки...

— Ого! И шутить, оказывается, умеете!

— Почему бы и нет?

— Все из-за той же мировой истории. Она ведь шуток не терпит. И как на ее фоне заметить такую смешную деталь, как я?

— Теперь за три квартала замечать буду! Нет, правда, вы удивительно смелы и находчивы!

— Подумать только! И комплименты...

— Угу. А стихи хотите? Самые новые...

Он читает ей четверостишие о грядущей революции, заменяя в нем слово «шестнадцатый». «В терновом венце революций грядет СЕМНАДЦАТЫЙ год»...

— А почему в терновом? Ведь мы ждем ее как радости.

— Радость — это не нам. Это детям и внукам. Нам — труды и опасности.

Они стоят теперь у крыльца Нининого дома, низенького и уютного. Самодельный колокольчик у дверей. Крыльцо оторочено каймой расчищенного снега.

— Значит, радость не нам, — задумчиво повторяет Нина.

Белый вязаный платочек красиво выделяется на ее темных волосах. Живые снежинки неторопливо ложатся на ее плечи, на старенькое, еще гимназическое пальтишко. От елочных, бертолетовых, эти снежинки отличаются медлительной грацией полета.

Нине очень хочется поддержать серьезный, принципиальный разговор, но взгляд ее вдруг падает на тени от их фигур, и она начинает хохотать неудержимым школьным хохотом:

— Ой, не могу! Смотрите! Дон Кихот и Дульцинея!

Саша всматривается в свой и Нинин силуэты на высоком сугробе, похожем на сахарную голову. Он тоже начинает улыбаться. Действительно, похоже, черт возьми! Тень его еще выше и тоньше, чем он сам, а поднятый воротник и впрямь торчит совсем по-испански. Нина же — маленький круглый катышек, прочно стоящий на земле. И что-то неувловимо карикатурное в изломанных линиях тени.

— С Новым годом, молодые люди! Откудова такие веселые?

Это из глубины Односторонки вырос хорошо укутанный, благожелательный городской в башлыке.

— И вас также! — щебечет Нина. — Из ветеринарного мы. Добровольцев на фронт провожали. Вы не слышали песню: «Приюты наук опустели, студенты готовы в поход»?

— Ну-ну! — одобряет городской, мерно прохрустывая мимо них огромными сапогами.

Еще долго стоят они у крыльца, смеясь по-разному. То открыто и громко: Дон Кихот! Дульцинея! Городовой! То вполголоса: Борцов, ветеринары, листовки, чайнушка...

Падает снег. Стремительно проносится их юность. Летит, летит восемнадцатая зима их жизни. Пролетает, чтобы никогда не повториться.

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИИ

Ине просто желаний. Исполнение самых дерзновенных, самых неслыханных замыслов. Материализация разговоров, споров, мыслей. Превращение конспектов, тезисов, листовок в живую плоть и кровь, в костер красных знамен и красных бантов.

Трещит университетский вестибюль от разнородной густой толпы. Слышится тонкий звон стекла. Это разбили цветной витраж в двери университетской церкви. А над толпой, как белый листопад, воззвания. Не те, что печатались на гектографе и разбрасывались тайно. Свободные, открытые, набранные типографским шрифтом. И на них те самые, немыслимые, виденные в снах, вымечтанные в тюрьмах слова: «Самодержавие пало!».

— Вперед, товарищи! Выше знамена! Выходим на площадь!

Саша сдвигает студенческую фуражку на затылок. Ему жарко в этот морозный февральский день. Он расстегивает шинель и, скрывая дрожь восторга, присоединяется к хору. Оказывается, все знают слова «Марсельезы».

Вставай, подымайся, рабочий народ!

Иди на врага, люд голодный!

Раздайся, клич мести народной!

Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед!

Как бы в ответ на этот призыв из-за угла показывается колонна рабочих. Они идут с Гостино-дворской и направляются по Воскресенской навстречу студентам. Рабочие тоже поют. Мелодии сталкиваются и проникают одна в другую.

— Пороховики! И алифузовские с ними!

Вниз по Университетской, к городскому театру! При пересечении Грузинской их ждет нечаянная радость.

— Солдаты! Это из запасных полков! Они с революцией!

Солдаты увидели приближающуюся демонстрацию, закричали, стали бросать в воздух шапки, нарушили строй, перемешались с толпой рабочих и студентов.

Саша вдруг остро вспоминает своего крестного — товарища Анджея. Дожил ли? Как он сказал тогда: «Читай внимательно. Как алгебру». И вот она — воплощенная в жизнь алгебра идей. Пролетариат... Солдаты... Интеллигенция. Дожили все-таки!

Она с нами — Дева Революция. Летит над городом, над страной, над всем миром. Только не отстать от нее! Для нее жить, ради нее умереть!

Отлично сделанный барельеф на постаменте памятника Державину против городского театра изображает сцену подавления пугачевского бунта. А сам поэт, опираясь на лиру, олимпийски взирает на живую толпу, запрудившую площадь. Что ему до треволнений далекого и чуждого двадцатого века!

Двое рабочих с Крестовниковского завода — видно, комитетчики — поднялись на ступени памятника и, прорезая гул толпы неправдоподобно громкими голосами, призывают всех, чтобы спокойно, без давки, входили в театр, где состоится митинг. Рабочие в косоворотках, с алыми бантами на лацканах пиджаков. Им не холодно, день кажется им весенним. Один из комитетчиков держит в руках красный флаг. Вся группа — точно живая картина из какой-то еще не написанной революционной пьесы.

— Смотри, — твердит Нина, дергая Сашу за рукав и переходя вдруг на ты. — Смотри... Это не в книжке и не во сне. Ей-богу, мне кажется, что те, каменные, на памятнике... ну, пугачевцы, одним словом... сейчас оживут и потянутся за флагом... Ой, платок!

Нинин белый платочек слетел с головы и тут же затоптан, исчез бесследно. В Сашиной фуражке Нина кажется смешным маленьким солдатиком-знаменосцем. Фигурка ее приросла к древку большого алого полотнища. «Мира! Хлеба! Свободы!» — кричит плакат.

В университетскую колонну затесался Сашин младший братишка Аркашка. Отправить его домой невозможно. Захлебываясь, он все начинает и не может закончить рассказ про то, как те-то, в гимназии-то, притворялись, что ничего нет и быть не может...

— Сначала велели петь на молитве «Благоверному императору нашему Алексею Николаевичу», потом регент говорит: «Нет, пойте Михаилу Александровичу...» А сегодня — мы уже на демонстрацию собрались, — а тут директор приходит, злой, как змей, всех свистит на молитву и говорит: «Пойте «Велицей державе российской и христолюбивому воинству»».

— Иди домой, затолкают...

— «Пойте, — говорит, — христолюбивому воинству...» А царя и царицу из актового зала сняли. Только Михаила Федоровича оставили. Первого царя из дома Романовых...

— Домой иди, мать там с ума сходит...

— Зачем молодых гонишь? Пусть приучается. Я вон своего взял.

Это празднично одетый, весь какой-то благостный Ильяс Сибгатуллин. Он и его тринадцатилетний братишка Хасан несут торопливо написанные мелом по красному непривычные еще к дневному свету слова «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Аркашка, которого гимназические события потрясли больше, чем всероссийские, упорно хочет досказать свое.

— Он велит христолюбивому воинству петь, а восьмиклассники как рявкнут: «Вставай, поднимайся, рабочий народ!» Директор кулаком по роялю. Струны как взвоят... А инспектор убежал из зала...

В театральном подъезде возникают одна за другой пробки. Люди рвутся в здание.

— Подождем, — уговаривает студентов Саша. — 1 Пусть рабочие войдут...

— Я знаю запасный вход, — таинственно шепчет Толя Торопов, — идите за мной, прямо на сцену выйдем...

Толя подрабатывает статистом в Оперном, и даже любимая роль у него есть — ноги верблюда в «Демоне». Хлынули за ним, попали в пыльные закоулки кулис. А там, быстро миновав улицу ночной Вероны, оставив в стороне террасу Лариных и свернув возле палат Бориса Годунова, оказались на авансцене, где за длинным, покрытым старым занавесом столом уже шумят, перекрикивая друг друга, человек двадцать, стихийно ставших президиумом митинга. Первого в городе собрания не подданных, а граждан.

— Что же мы стоим, коллеги? — Вячеслав Веселовский легким, невнимательным движением оттесняет Толю Торопова, кладет на стол тяжелый портфель и хозяйским жестом тянет к столу Сашу.

— Нас никто ведь не выбирал...

— А кто кого здесь выбирал? Общественные процессы идут стихийно. Будущие лидеры не должны терять времени. Знаю, знаю, немарксистская концепция. Но я ведь вне партий. Однако скажу откровенно: хоть я и не готовил революцию, но сейчас, при виде этих толп, охваченных революционным чувством, во мне просыпается какая-то прапамять... Знаете, один из моих предков был якобинцем и штурмовал Бастилию.

— Ах, да замолчите же, — бесцеремонно обрывает его Нина, — митинг начинается!

Популярный в городе присяжный поверенный из всех сил трясет руку старому рабочему-пороховику, у которого два сына вышли сегодня из тюрьмы, где сидели за политику. Сквозь неистовые аплодисменты прорываются отдельные фразы, произносимые хорошо поставленным голосом:

— В едином порыве... Вековое рабство... Оковы пали...

— Хоть я и вне партий, но это зрелище... — заводит опять Веселовский, и опять Нина прерывает его:

— Давно уже знаем. Правые эсеры для вас чересчур правы, а левые слишком левы... Дайте же слушать!

Саша вздрагивает, услышав голос председателя:

— От группы социал-демократов — большевиков слово предоставляется товарищу...

Впервые названа вслух настоящая фамилия Ольги. Впервые Саша видит ее перед такой огромной аудиторией. Прямо с картины Сурикова вышла на трибуну. Решительная распрямил плечи. Но не душегрейка петровских времен и не пикейная учительская блузка видятся Саше на ее плечах. Алая туника — вот что подошло бы ей больше всего. Сама Дева Революция влетела в битком набитый зал, чтобы, протянув вперед правую руку и возглашая зажигательные лозунги, вести за собой толпы жаждущих Справедливости. Ей, конечно, будет тесно в одном помещении, в одном городе, в одной стране. Она поведет за собой весь мир. Пролетариев всех стран...

Наверно, не только Саша видит Ольгу именно так. Вот они все повскакивали с мест, небывалые зрители, заполнившие ложи бельэтажа и бенуара. Под напором топчущих ног, казалось, рухнет сейчас долготерпеливая галерка. Волны восторга перекатываются по партеру, и драпировки губернаторской ложи, пропитанные теноровыми ариями, содрогаются от неслыханной мелодии: «Воспрянет род людской... Воспрянет род людской...»

Острое ощущение счастья так переполняет Сашу, так застилает взор, что до него не сразу доходят яростные знаки, которые делает ему из-за кулис взъерошенный, весь потный Ключков.

— Что ты?

— Площадь оцеплена полицией...

— Что за чушь! Ведь революция...

— Я-то это усвоил, но губернатор Боярский все еще надеется, что обойдется... На всякий случай хочет пока скрыть этот огорчительный факт от народа. И сволочь эта — Сандецкий, командующий военным округом... Есть слух: настаивает на применении оружия для разгона народных демонстраций.

— Невероятно!

— Давай, браток, выбираться отсюда. Хватит, похристосовались со светлым праздничком. Сейчас дело надо делать, а то всякое может быть. Организуй ребят — листовки разбрасывать. За арест Сандецкого, за отставку Боярского, за создание демократического правительства. И по заводам наших разослать надо...

В фойе театра уже появились полицейские. С восхитительной вежливостью они просят очистить помещение.

— Покорнейшая просьба, господа... По распоряжению градоначальника...

Но митинг продолжается. Растерянные полицейские жмутся к стенкам под напором толпы. На них почти не обращают внимания. Стемнело. Фасад театра вспыхнул всеми

огнями, как в вечера самых торжественных бенефисов. Не в силах остановиться, охрипшие ораторы продолжают выкрикивать лозунги. Изнемогая от перевозбуждения, толпа все взрывается возгласами, хохотом, аплодисментами, проклятиями.

— А и в самом деле хватит, помитинговали, — беззаботным тоном говорит Веселовский, точно речь идет о затянувшейся вечеринке. — Ниночка, приглашаю вас побродить по улицам. Так сказать, вдохнуть воздух свободы. Будем петь революционные песни...

— Это кому делать нечего, — обрывает Нина, нахлобучивая Сашину студенческую фуражку. Ей Клочков велел быстренько отправляться на Рыбнорядскую, в подвал чайнушки, к гектографу. Нине очень хочется на Пороховой вместе с Сашей, но Клочков отвергает это нетерпеливым: «Поторапливайся!»

Ночные улицы студеного, наполненного ветрами города шумят необычной, почти южной жизнью. Толпы людей никак не могут разойтись по домам. Но Саша, уже ни на кого не глядя, пробивается между людьми. Кончились короткие минуты бездумной радости. Снова обступили тревоги и заботы. Дева Революция в опасности и зовет своего рыцаря на помощь.

Ждать трамвая не хватает терпения, и он пускается пешком по направлению к фабричному Заречью. К счастью, в начале дамбы, просквоженной острым февральским ветром, удастся поймать попутного ломового извозчика — «барабуса». Старик-татарин сильно промерз. Он отдает вожжи Саше, а сам, плотнее закутавшись в свой армяк, ложится на соломенный тюфячок, брошенный в розвальни. Саша правит обындевевшей лошадежкой стоя, как и положено «барабусу». Он не замечает, что на нем нет фуражки, благо густая шевелюра противится ветру. Шинель распахнута, на ней оборвались пуговицы.

— Эй, коллега! — доносится вдруг знакомый голос.

Вячеслав Веселовский догоняет «барабуса» в блестящих легковых санках извозчика-лихача. Ноги прикрыты меховой полостью. Кучер сидит на козлах с довоенной устойчивостью. Поравнявшись с Сашей, Веселовский останавливает извозчика.

— Ничего сверхъестественного, коллега. Еду к собственной маме. Она у меня заводский врач на Пороховом... Боже, если бы вы могли взглянуть сейчас на себя со стороны!..

— А что?

— Да нет, ничего... Но право же, рыцарь, на этом жалком Росинанте вы еще не скоро доберетесь до милых вашему сердцу отрядов организованного и сознательного пролетариата. Так что прошу...

Ом приветливо отстегивает меховую полость, приглашая Сашу сесть рядом. Отбросив минутное колебание, Саша пользуется приглашением. До Порохового надо добраться засветло.

КАК БУДЕТ ЭТОТ ЧИН ПО-СТАРОМУ

Раньше люди ускоряли шаг, а то и вовсе переходили на другую сторону, если путь лежал мимо этого сверкающего белизной особняка. Даже тот, кто не знал, что здесь резиденция командующего Казанским военным округом, чувствовал в этом здании что-то очень холодное, отстраненное от людей. И название это — дом Сандецкого — произносилось торопливо и приглушенно.

Каждый раз, когда, бывало, Саше случалось проходить здесь, он внутренне напрягался, чтобы противостоять тому гнетущему, противочеловеческому, что исходило от этого дома. Чужая беспощадная воля слала отсюда сокрушительные приказы. Штрафные роты. Военно-полевые суды. Расстрелы... В феврале, когда не чуя под собой ног от счастья, Саша проходил здесь в студенческой колонне, ему вдруг представилось, что здание дымится, все в золе и пепле, что вот-вот рухнет горделивый фасад.

Но это был только мираж. И сейчас, в разгаре знойного лета семнадцатого года, Саша стоит на трамвайной остановке, где назначена встреча с Ниной, а прямо против него — дом Сандецкого, вызывающе спокойный, притворяющийся, что ровно ничего не произошло. Дом по-прежнему щерится металлическим оскалом резной ограды. Идеально чистые окна бьют в глаза синеватым блеском. Правда, самого Сандецкого здесь уже нет, но дом так и остался его домом. Продолжает выполнять свою функцию: хоть уже и не высочайшим именем, но чьими-то другими именами продолжает командовать, сыплет приказами. А в приказах во всех падежах и обличьях — смерть.

Чистота и ухоженность дома Сандецкого выглядят вызывающе на фоне изменившихся до неузнаваемости улиц. Запущенные, неподметенные, полные небрежения к быту, улицы этого лета как бы перестали быть местом, где расположено жилье людей. Они стали просто вместилищем беспокойных толп. Люди, казалось, начисто потеряли всякий интерес к повседневному, к насущным жизненным делам. Их заботила теперь только поступь Истории. Даже афишные тумбы из добродушных толстух, гостеприимно приглашающих на открытие театрального сезона, превратились в бунтовщиц и заводил. Они теперь с утра до вечера взывают: «Граждане, голосуйте...», «Товарищи, протестуйте...»

Нина неожиданно появляется из-за угла. Как и все жители города, она резко похудела за эти несколько месяцев. Косички упрятаны под мальчишескую кепку. Нагруженная кипой газет, она выглядит подростком, младшим братишкой той барышни, что танцевала под Новый год на балу в Ветеринарном институте.

— Вот они! Свеженькие! Прямо из типографии... Ты на митинг солдаток? Поспеешь?

— Как раз. Спасибо, Нина. Ты просто настоящий Гаврош.

Оба они не могут глаз оторвать от великого чуда — легальной казанской большевистской газеты «Рабочий». Они любовно поглаживают, разбирая на мелкие стопки, эти листы оберточной коричневой бумаги, ревниво вглядываются в стертый, нечеткий шрифт, обмениваются горделивыми взглядами.

— Смотри, какое письмо в редакцию! Прочти его солдаткам вслух! Послушай...

«Уважаемая, сильная духом и пропитанная одной только правдой газета! Только вы, большевики, стоите на страже наших интересов. И верьте: примкнут к вам скоро все ряды пролетариата. Только вы независимы от никакого капитала! Дай бог товарищу Ленину перенести все это»...

Саша бережно складывает стопку газет в большой рыжий портфель, истрепанный в отцовских землемерных командировках, и вскакивает на подножку трамвая, со скрежетом и грохотом подкатившего к остановке.

— Дом Сандецкого! — громогласно объявляет кондуктор. Саша огорчается живучестью названия, но тут же это огорчение перекрывается радостью от веселой дерзости Нинино узывчивого голоса.

— Единственная правдивая газета в нашем городе! Газета «Рабочий»! Покупайте, граждане!

Вот с этого и начать речь на митинге. Прямо у логова зверя, на крыльце грозного особняка, юная революционерка предлагает людям слово правды... Вот как изменились времена!

Но начать приходится с более горького. С того, о чем вопят, стонут, ругаются женщины, битком набившиеся в фабричный Алафузовский театр.

— Войну долей! Мужей домой давайте!

Саша с трудом пробирается к сцене, не узнавая знакомого театрального зала. Как изменился он за это неслыханное лето! Обшарпался алый бархат лож, потускнела позолота ярусов, паркет исчез под слоем утопавшейся пыли. Ничего похожего на прежний театр — гордость предприятия. Скорее вокзал, к которому давно не подходили поезда.

В первых рядах теснятся матери с грудными детьми. Они тютюшкают грудников, суют им соски, не прекращая истошного крика «Доло-о-ой!». Этими воплями они стегают

худого, хромого, затюканного оратора. Он вспотел, охрип, прибилсь совсем вплотную к краю суфлерской будки.

Ракитин! Уже не раз Саша скрещивал с ним шпаги на митингах, в душе считая его куда более эрудированным марксистом, потихоньку завидуя его ораторской опытности, преодолевая личную симпатию к этому аскетически тощему человеку с лихорадочными глазами туберкулезника. Мужеству Ракитина в рискованных подпольных операциях тоже можно было завидовать. И каким только чудом он стал оборонцем? Твердит свое, как маньяк. От фактов отворачивается. Вот и сейчас — как прогневал солдаток!.. И будто не слышит ни топанья ног, ни свистков, ни криков «Долой!». Коротким жестом сухой руки он как бы отбрасывает встающую из зала высокую волну возмущения. И снова повторяет невыносимый призыв к терпению. Сколько люди могут! И так уж задушены бедами...

— Уже немного, товарищи... А надо довести войну до конца...

Саша в два прыжка оказывается на сцене рядом с Ракитиным.

— Довольно терпели!

Он сам удивляется металлическому звуку своего голоса. Этот голос летит теперь над криками толпы, над лесом вскидываемых вверх жилистых, набрякших от стирок рук. Внезапно все стихает. Четко раздается старушечий голос: «Правильно, сынок! Действуй, сынок!» «Дай тебе бог!»

В зеркале боковой ложи Саша видит свое отражение. Он отводит от него глаза, но время от времени в поле зрения снова отчужденно попадает силуэт почти незнакомого, очень худого юноши, с резкой лепкой лица, с давно небритыми, обросшими молодой порослью щеками и подбородком.

Он научился теперь сжимать не только губы, но и кулаки. Он физически, просто плечами и шеей, ощущает свою новую ответственность. Депутат совдепа. И не просто депутат, а заместитель председателя рабочей секции. Избранный рабочим классом. Не гимназистами. Не студентами. Даже не товарищами из подпольного кружка. Сам пролетариат удостоил его избранием.

— Да ведь тебе всего-то девятнадцать! — смятенно шепчет мать, сбиваемая с ног теми, кто ломится теперь к нему в дом, кому сразу стал нужен, ну просто до зарезу необходим товарищ Александр Гинцбург, подписывающий бумаги: «За председателя рабочей секции Совета рабочих и солдатских депутатов».

Встревоженный и польщенный отец допытывается:

— Интересно, а как будет этот чин, если по-старому? Можно считать, например, заместителем градоначальника?

Дома Саша проводит теперь только короткие часы сна. Надо разрываться между заседаниями Совета, партийными собраниями, заводскими митингами, публичной библиотекой. И все же он бесповоротно стал центром домашнего мироздания, все вращается теперь вокруг него. Никто не говорит больше, что эта квартира землемера. Нет, это квартира депутата Совдепа. Только так именуется теперь покосившаяся, крытая ржавым железом хибарка по Односторонке Третьей горы.

— Давай, сынок! — кричат солдаты. — Скажи, чтобы домой мужиков-то! Отвоевались, будет! Зима идет.... Дров ни полена... Закоченеют ребята...

Знакомая Саше молодая ткачиха встает прямо на кресло и объясняет соседкам, что, мол, этого Сашку надо как следует настропалить на защиту солдаток. Потому как он здорово приверженный до правды и — даром что молодой — а скрозь знает, как народ бедует...

Саша говорит своим новым, раскованным голосом, старательно отвергая ораторские митинговые приемы, которым еще недавно завидовал, которым нетрудно научиться хоть у того же Ракитина. Но разве не стыдно было бы краснобайствовать, глядя в лицо вон той рыженькой, что еще год назад была «ягодкой», а сейчас иссохла на корню, или вон той многодетной, что сует жеваный мякиш в рот грудничку, увидевшему свет после недельной баткиной солдатской побывки и осиротевшему за полгода до рождения! Саша старается

говорить самыми ясными, самыми главными для них словами, беспощадно казня себя в душе за пристрастие к латинским корням.

— Смертную казнь на фронте — долой! Тайные правительственные договора — долой! Какие могут быть тайны от народа! Братоубийственную войну — долой!

Только некоторые слова латинского происхождения он сознательно повторяет много раз, чтобы приучить к ним этих женщин: Пролетариат... Мировая революция... Социализм...

При выходе из Алафузовского театра Сашу ждет Ракитин.

— Вы очень выросли как массовик, — благожелательно говорит он, беря Сашу повыше локтя. — Меньше отвлеченностей. Отличное знание психологии слушателей. Но когда вы станете постарше, то поймете...

— Даже в возрасте Мафусаила я не стану меньшевиком...

— Но ведь вы член той же партии... Ведь это только два ее крыла...

— Скорее, две совсем разные птицы...

— Вы фанатичны по складу натуры. Но вы умны. Поверьте сорокалетнему марксисту: нет ничего страшнее раскола в революционном движении. Уверяю вас: Робеспьер не взойшел бы на эшафот, если бы предварительно не отправил туда Дантона.

— Я не теоретик. Не хочу противопоставлять реальные страдания пролетариата сомнительным историческим аналогиям.

Ракитин усмехается.

— Напомните мне этот разговор, если придете к власти. Послушаем, что вы тогда скажете о реальных страданиях пролетариата.

Плунуть и уйти вперед? С какой стати выслушивать оскорбления? Но хромого Ракитина нельзя бросить у самой Казанки. Деревянный мост, ежегодно сносимый весенним половодьем и восстанавливаемый летом, еще не вполне готов. Пробираться приходится по утлому деревянному настилу.

— Подождите, коллега! — раздается вдруг позади. — Здесь и сверзиться недолго. Давайте перейдем организованно.

Опять Веселовский. И чего он околачивается в рабочем Заречье?

— Хожу по митингам, — с готовностью разъясняет Вячеслав. — Только цель у меня отличная от вашей. Вы — учить людей, а я — слушать и наблюдать.

Он хорошо выглядит, этот Вячеслав. Точно его и не коснулась участь города, бедующего без продовольствия. Все тот же открытый, располагающий взгляд и славная русая прядь, падающая на лоб.

— А я, грешник, иду за вами и обрывки разговора ловлю. И у солдаток был, вас обоих слушал. Ужас, что с театром сделали! Конюшня какая-то... А как вы считаете, господа марксисты, ведь все-таки это был акт великодушия со стороны хозяев предприятия — такой театр для рабочих соорудить?

— Вы это всерьез? — осведомляется Ракитин.

— Вполне. Это у меня от митингов. В феврале я и сам был полон революционного энтузиазма. Но сейчас...

— А вы что же, из эсеров? Или, чего доброго, из богостроителей? — снисходительно поддерживает разговор Ракитин, и вдруг он останавливается на качающейся доске недостроенного моста.

— Что это?

Доски под ногами неистово пляшут. Раздается какой-то страшный удар, похожий на грозовой. И второй, еще более оглушительный. Нет, не гроза. Звук, точно из-под земли. Третий... Ответный исступленный человеческий вопль. Саша оглядывается. Овощная палатка на берегу, мимо которой они только что проходили, превратилась в грудку досок и щебня. Еще и еще удары. Вихри рыжей пыли над землей и запах паленого в воздухе.

А вот и люди. Они бегут к мосту со всех сторон, охваченные паникой. Толкаются, кричат, вопят, прижимают к себе детей, возносят к небу молитвы. Ни у кого ни единой вещи в руках. Спасают только детей.

— Взрыв! Взрыв на Пороховом! Погреба горят!.. Доберется огонь до главного склада — от города камня на камне не останется!..

Знаменитый взрыв Порохового завода принес людям пролетарского Заречья, да и всей Казани неисчислимые беды. В прежние, однообразные времена такое событие стало бы рубежом в истории города, от него вели бы дальнейший календарь. Но огненным летом семнадцатого года взрыв был лишь одним из эпизодов, память о нем скоро стерлась, потонула в том небывалом, что шло следом.

Судорожные, сотрясающие землю удары все чаще. На небе, только что безоблачном и синем, появился столб пламени. Отсветы огня выплеснулись на Казанку, на доверчивые пыльные мальвы в палисадниках прибрежных домишек. Озаренное багровым, всё стало зловещим, как в тяжелом сне.

— Ложись! — командует кто-то, и вот уже распростерлись в пыли, захлебываясь криком, пригибая к земле всклокоченные головенки детей: 1

— Нелепость, — тихо говорит побледневший, но очень спокойный Веселовский. — Надо не валиться на землю, а двигаться вдоль реки. И чем скорее, тем лучше...

— Куда вы? — восклицает Ракитин, заметив Сашино движение в сторону.

— На завод. Нельзя допустить огонь к центральным погребам...

— Считаете ли вы целесообразным, чтобы и я шел с вами?

Саша нетерпеливо отмахивается, кивает на короткую правую ногу Ракитина и на обшарпанную трость, с которой тот ежедневно ковыляет в Заречье.

— Вячеслав, проводите товарища. С его ногой одному тут не пробраться.

— Непременно, непременно, рыцарь, — иронически откликается Веселовский, беря Ракитина под руку. — Мы с товарищем Ракитиным пойдем в русло основных бегущих пролетарских масс. А вы, конечно, в огонь? По этим дощечкам? И без Росинанта?

Саша раздраженно отмахивается. «Клоунада даже в такой момент», хочет он сказать Веселовскому, но не успевает. Новый взрыв валит их обоих с ног. Поднявшись, Саша бросается бежать обратно, на только что оставленный берег. По рушащемуся настилу недостроенного моста, балансируя на ломких дощечках, прыгая через провалы, он несется наперекор толпе, рвущейся прочь из заводского района.

Только на границе Ягодной и Пороховой слобод он примыкает к кучке завкомовцев с Алафузовского, бегущей, как и он, не от опасности, а навстречу ей.

Трое суток казанские матери носились по городу, засыпанному камнями и осколками стекла. Они искали растерянных в паническом бегстве детей. Среди них была и Сашина мать. Почерневшая от горя, она не слушала Сашиних товарищей, твердивших ей, что сын жив, что он придет домой.

А он действительно пришел. К концу четвертых суток от первых взрывов, счастливо локализованных, не допущенных до особо опасных Аракчинских погребов.

Вернулся как после первого в жизни боя. Вошел в комнату, оборванный, как оперный нищий, с обгорелыми прядями надо лбом, с черными от копоти руками. Сразу, не раздеваясь и ничего не объясняя, рухнул на койку. И только услышав плач матери, с усилием выговорил:

— Не сердись. Я депутат Совдепа. Я отвечаю за завод... За город...

Сквозь волны навалившегося сна еще успел услышать отцовский шепот:

— Ну, раз за сохранность города отвечает, значит, ясно — по-старому это будет заместитель градоначальника.

ДУЛ, КАК ВСЕГДА, ОКТЯБРЬ ВЕТРАМИ..

В то лето, в ту осень в Казани, казалось, не было будничных дней. Потому что будни — это однообразие, заведенность машины, аккуратное чередование труда, отдыха, сна. Но не было и праздников. Потому что праздник — это досуг, развлечения, беззаботность.

Стояли какие-то литые, какие-то сокровенные дни. И каждый, чья душа не проросла сорняком, мог с царственной щедростью отдавать себя людям, не утруждаясь бухгалтерскими расчетами: сколько из завоеванного общего достанется ему лично.

В эти дни вышло из обихода слово «до свидания». Расставаясь, люди говорили друг другу «Прощай!».

Именно так и сказал Саша, обращаясь к Нине Соболевой двадцать третьего октября семнадцатого года:

— Ну, прощай! Прощай, Гаврош!

Они стоят у склона глубокого оврага, пахнущего прелью осенних листьев. Таких оврагов немало в старом пригородном парке «Русская Швейцария». В памяти Нины — коренной казанки — этот парк живет как одно из нежных воспоминаний детства. Бывало, здесь по воскресным дням из вафельных ящиков плыли ванильные ароматы, из-под кустов раздавались короткие ликующие шелканья пробок. Лимонад можно было пить прямо из горлышка. Сейчас «Русская Швейцария» стоит запущенная, заброшенная, гулко тихая.

В этот вечер уже известно: впереди вооруженная схватка. И совсем новыми глазами видишь привычные старые места. Скоро они станут местом боев.

Саша и Нина шагают рядом почти молча, лишь изредка обмениваясь отрывочными словами. И только остановившись на минуту у склона оврага, впервые вспоминают о том риске, которому подвергнутся в эти дни их собственные жизни. Тут-то Саша и произносит свое «прощай». На всякий случай. Осознанной мысли о смерти нет. Но есть настороженность мышц, нервов, инстинктивно сжавшихся в тугой кулак.

— Прощай, Гаврош! — повторяет он и вдруг понимает, что это не те слова. Не Гаврош, не отчаянный мальчишка с баррикад, стоит сейчас перед ним. Нина сняла мятую ситцевую кепочку с трогательной жалкой пуговкой на макушке и беспомощно крутит ее в руках. От растрепавшихся косичек лицо стало домашним, утренним. В светло-карих, почти янтарных глазах светится тот высокий час души, который и приходит-то, наверно, всего раз-два за всю жизнь. И Саша поправляется:

— Прощай, Ниночка!

Это все, что он может сказать, не изменяя правде. В огонь? В воду за Нинку? Пожалуйста! Хоть сейчас! Но вымолвить те слова, которых она ждет, он не может.

Не может — и все. Потому что в левом кармане гимнастерки, заменившей студенческую тужурку, между страничками блокнота лежит у него фотография. Групповая. Снята вся рабочая секция Казанского совдепа. Любительский снимок. Лица мелкие, размытые. Но Саша умеет разглядеть среди этих лиц одно-единственное. Вот они, строгие учительские глаза и смелый рот суриковской Решительной. Товарищ Ольга. Она старше Саши на десять лет. Ее муж, товарищ Владимир, всегда острит: он, дескать, не король, а только муж королевы. Ничего он не понимает. Не королева она, а Дева Революция. И не короной ее венчать, а фригийским колпаком...

— Да... Да, я понимаю, — говорит Нина, отвечая на невысказанное.

На помощь приходит природа. Грузная, набрякшая дождем туча, уже давно висевшая над головами, наконец проливается сплошным потоком. Он смывает боль и неловкость.

— Бежим! — Нина быстро прячет косички под кепочку и бегом пускается к обомшелой беседке.

Сильный ветер. Деревья мечутся листвой, точно ища выхода.

Саша еще связан тем сокровенным, чем они только что молча обменялись, а Нина уже снова стала Гаврошем. Ловко заделывает заваливающей доской дыру в крыше беседки, деловито напоминает Саше, чтобы спрятал поглубже документы, не промокли бы, и усаживается, подогнув одну ногу под другую. Приунывший, нахохлившийся, но в общем-то все равно веселый воробышек.

— Видишь, Ниночка, — мягко говорит Саша, терзаясь причиненной ей болью, — видишь... Маяковский-то был прав. Без тернового венца не обойтись...

— Обойдемся! Другое лучше вспомни:

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...
Его призвали Всеблагие,
Как собеседника на пир...

...Вечером этого дня Казанский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов постановил привести отряды Красной гвардии в боевую готовность.

— Броневи́к! Ты подумай, эти шайтаны двинули броневи́к!

Ильяс Сибгатуллин дрожит от возмущения. Почему-то именно этот броневи́к, с которым юнкера жмут на восставший революционный пехотный полк в направлении Арского поля, приводит Ильяса в особое негодование, хотя и другие сведения, непрерывно поступающие из города, полны тревожных примет. Ползут слухи.

— К дому Сандецкого войска стягивают...

— Телеграммы отбивают... Подкреплений требуют...

— С Ижевского завода на подмогу к ним юнкера идут...

...Сколько раз за последние месяцы Саша входил в главные ворота Порохового завода, где собралась сейчас толпа рабочих, отряды Красной гвардии! Но сейчас, этим сизым октябрьским рассветом, в ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое октября, ему кажется, что он не узнает знакомого места. Оно как бы разом лишилось всех своих бытовых примет. Люди, которые теснятся сейчас с винтовками в руках у главных ворот Порохового, тоже какие-то неслыханно новые, хоть в толпе и мелькают то и дело знакомые лица, слышатся привычные голоса. Но вот гудки. Гудят все предприятия Заречья. Это условный сигнал. Начало...

Вперед, вперед, вперед! С винтовкой наперевес Саша быстро шагает, почти бежит во главе большого отряда пороховиков-красногвардейцев. К Кремлю! К сердцу Казани! Из центра города доносится артиллерийская канонада. С юнкерского броневи́ка, курсирующего вдоль дамбы, строчит пулемет. А Саше почему-то не страшно. Храбрость? Или просто военная неискушенность? Он и сам не знает. Только ни единой мысли о смерти до того самого момента, как...

Он ясно расслышал этот тихий звук, хотя кругом все ухало, грохотало и рвалось. Совсем рядом... Ильяс!

Да, он все время шел в ногу с Сашей, с самого Порохового. Ильяс... Собранный, верткий, мастер находить нужные тропки. Это он показывал, в какой момент надо спускаться под дамбу, когда надо цепочкой — до второго моста... Ильяс! Ведь он только что весело выкрикивал татарские проклятия юнкерам и казакам! А сейчас он сидит прямо на дороге, хватая ртом воздух, издавая хлюпающие звуки, и судорожно шарит по земле руками, как слепой. Все его ловкое тело, тело потомка конников, обмякло, готовое истечь, превратиться в жидкость. Кровь фонтаном бьет из шеи, и Саша холодеет, вспомнив анатомию, безжалостно объясняя себе значение этой крупной артерии. Все абсолютно ясно. А он все-таки трясет Ильяса за плечи, бессмысленно повторяя: «Что с тобой, дружище? Что с тобой?» Тело Ильяса тяжело оседает под его руками и, дрогнув, вытягивается в ледяной хляби.

Ощущение времени стерлось. Сколько часов шли от Порохового? Какие зарницы вспыхивают на горизонте — утренние или вечерние? И сколько минут или секунд он стоит над телом друга?

— Оставьте раненого! Его подберет санитарная группа... Вперед! Ур-ра!

Это голос Ключкова. У Саши вдруг точно шлюзы открываются в мозгу. Он не имеет права на горе. На личное горе. Они штурмуют Кремль.

И снова ветер в лицо, и снова вязкий пробег по глинистым взгорьям, ведущим к Кремлю, и вот уже под взвизги пуль, под крики и проклятия ворвались, ворвались наконец...

В крепостную тюрьму! Какое счастье — возвращать людям свободу!

Политические выходят из камер навстречу красноармейцам. За свои короткие тюремные сроки они еще не потеряли ни нормального внешнего вида, ни горячности политических страстей. Они сразу требуют оружия.

Потом в толпе победителей — этих усталых, забрызганных грязью и кровью людей — начинает летать короткое слово — «Телеграмма». Телеграмма! Из Питера телеграмма!

— В столице переворот! Кончилось Временное... Вся власть Советам!

И чей-то молоденький восторженный тенор:

— А мы-то, мы-то, казанцы-то! Ни на часок от Питера не отстали! В ту самую ночь дело-то сделали! Казанским пролетариям у-р-ра!

Саша почти не помнит, как оказался на Театральной площади. Трое суток без сна, на пределе сил. Свою фамилию услышал, как чужую. Член революционного комитета города и губернии. Про*него ли?

— Постой!

Это Ключков. Обычной своей рысцой он догоняет друга.

Вот поравнялись. Саша замечает, что пыльные щеки Ключкова изборождены подтеками недавних слез.

— Пойдем к старику, — говорит он. — Пусть хоть от нас, не от чужих узнает...

Они сворачивают на Комиссариатскую, чтобы спуститься к Татарской слободе, где, еще ничего не зная, ждет сына старик Сибгатуллин. Они идут и говорят об Ильясе, как о живом. Вспоминают мелочи, шутки.

— Вчера он мне сказал: «Эх, всем хорош русский язык, одно плохо — голова женского рода! Ну, подумай сам, разве ж это дело, чтобы голова женского рода была!»

Навстречу им, скрежеща и громыхая, идет трамвай, и они даже останавливаются от изумления. Так нелеп этот неуклюжий вагон — символ повседневности — на улице, еще не простывшей от шагов истории, еще наполненной оглушительным безмолвием, сменившим стрельбу.

Лязгнув железом, вагон останавливается. Из него выходят люди с ведерками и кистями в руках. Они принимаются деловито расклеивать на стенах домов воззвания, начинающиеся со слова СВЕРШИЛОСЬ!

КОЖАНАЯ КУРТКА

Откуда взялась эта потертая кожаная куртка, заменившая студенческую шинель, Саша не знал. Он обнаружил ее на вешалке в прихожей у своего кабинета в Доме труда. Ольга посоветовала надеть куртку.

— Это не мелочь. Ты комиссар, и рабочие должны видеть тебя комиссаром, а не студентом.

Еще не остыла радость от того, что больше не надо скрываться, что можно при всех звать друг друга на ТЫ и произносить речи не в чайнушкаос, а в больших общественных залах.

«Слово имеет губернский комиссар социального обеспечения!» В своей кожаной куртке комиссар стоит то на одной, то на другой трибуне и говорит людям слова правды. Какая радость говорить о том, что волнует, не может не волновать всякого! Ну хоть о ликвидации сословного неравенства. О новом наименовании для всего населения — граждане Российской Социалистической Советской Федеративной Республики. Или о Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа... Или о превращении Казанского дворянского собрания в Крестьянское собрание.

Все уверенней голос комиссара. Все реже и реже кто-нибудь вспоминает, что комиссару девятнадцать лет. Ведь никто не догадывается, как в разгаре многолюдных митингов или деловых заседаний вдруг зайдет у Саши сердце счастливым мальчишеским трепетом, благодарностью кому-то за время, за судьбу, за эти слова справедливости, которые ему довелось смазать людям.

А ранним утром он уже проталкивается сквозь толпу раненых, больных, безработных, старых, осиротевших — всех, кто забил коридоры собеса. Он видит их усталые, посеревшие лица, а они тоже требовательно вглядываются в озабоченное лицо комиссара. И, вглядевшись, прощают Саше и его девятнадцать лет, и мудреные иностранные слова, которыми он, что скрывать, грешит иной раз в своих ежедневных речах, и пайковое пшено, которое с каждым днем становится все более заплесневелым и горьким. Потому что читают они на исхудавшем юношеском лице чистые помыслы. А еще и видят: сам комиссар из того же горького пшена кашу ест.

Названием своего комиссариата Саша гордится. Социальное обеспечение! Этого не знало еще ни одно правительство. Само название — уже агитация за Советскую власть.

— Вслушайся, Гаврош! Комиссариат социального обеспечения! Каждому должно легче житься уже только потому, что есть такое учреждение...

Нина Соболева работает теперь в редакции газеты «Знамя революции». Математический факультет высших женских курсов отложен до мирных времен.

— Не зазнавайся, — смеется Нина. — Твое учреждение битком набито самыми древними словами. Увечные воины... Инвалиды... Сырые и неимущие... Кстати, о оирых, товарищ комиссар. Дошло ли до тебя, что в городе существует сиротский дом? На Булаке. Так вот, есть письмо в редакцию о том, что там творится.

...Они подходят к сиротскому дому нежданно-негаданно для Феодоры Ивановны, директорши. Комиссар, корреспондент и доктор Лепский останавливаются у ворот.

Сторож, старик татарин, узнает Сашу.

— Это ты, сынок? Который сиротам комиссар? Слава аллаху, сам пришел. Давно я хотел до тебя добратся. Черным ходом идите, чтобы она, хитрый лисица, не успела концы в воду. Идите, спасайте ребятишек...

«Хитрый лисица» оказывается больше похожей на самого настоящего волка. В острых блестящих глазках притаилась настороженная готовность вцепиться мертвой хваткой.

— Где ваши сотрудники? — спрашивает Саша.

— Вы хотите сказать — собездельники? — бросает директорша. — Разве при вашей власти кто-нибудь трудится? Дай бог каждому хоть для себя лично пи-, щу раздобыть. Чтобы не умереть с голоду...

— Ну, некоторым это дается не так уж трудно... И Нина резко толкает дверь в жилые комнаты Феодоры. Оттуда — забытые запахи жареного мяса, теплого теста, хорошо протопленного жилья.

— А теперь осмотрите детей, доктор, — приказывает Саша, — по нашим сведениям, они действительно умирают с голоду.

Феодора, сначала обнадеженная молодостью комиссара, вздрагивает от металла в его голосе.

...Поздним вечером этого февральского дня комиссар возвращается с заседания Совдепа, освещая дорогу карманным фонариком. На Односторонне Третьей горы крошечная тьма, и только у самого своего крыльца Саша замечает две фигуры. Мужчина бережно поддерживает женщину под локоть, а она то и дело сбивается с протоптанной дорожки в глубокие сугробы, загромоздившие в ту зиму не только окраину, но и центр города. Мужчина терпеливо помогает женщине вернуться на тропинку и стряхивает снег с ее ботинок своей перчаткой.

Саша направляет фонарик на лица неожиданных гостей.

— Не узнаешь старых друзей?

Отметив про себя неожиданное ТЫ, Саша вежливо здоровается с Вячеславом Веселовским. Женщина оказывается Марусей Трефилевой. Только сейчас никто не назвал бы ее больше старым прозвищем: «Пирожное безе». Покрасневший от слез нос, опавшие щеки, намокшие пряди волос. Маруся всхлипывает по-бабьи, искренне и горестно. Но олова ее, как всегда, напыщенны.

— Ведь вы человек нашего круга, Александр. Вы интеллигент... Неужели эта проклятая кожаная куртка и вас сделала злодеем?

Вырвавшаяся из подворотни дворняжка с радостным визгом бросается Саше под ноги, Маруся нервно всхлипывает, рыдает еще громче. Дело разъясняет Веселовский.

— Феодора Ивановна, директор сиротского дома, подвергнутого вами разгрому, это родная тетюшка Маруси, сестра ее мамы.

— Спасите, спасите ее! — с новым взрывом слез кричит Маруся.

Саша затаптывает ногой окурок, брошенный Веселовским. Потом принимается счищать о железную скобу снег с сапог. — Это как раз тот случай, когда надо хорошо помолчать, прежде чем ответить.

— Мне жаль, Маруся. Это тяжело — иметь в семье такого человека, как ваша тетка. На ее совести гибель многих сирот. Она глубоко безнравственный человек.

В ее елов с кий довольно естественно смеется.

— Ну что ты, комиссар! Не те слова употребляешь. Совесть... Безнравственность... Гибель сирот... Это разве ваш словарь? Скажи уж лучше что-нибудь о диктатуре или о карающем мече. Иначе как объяснить расправу с пожилой женщиной, с членом семьи твоей хорошей знакомой Маруси Трефилевой?

— Обратитесь к доктору Ленскому, Маруся, — негромко продолжает комиссар, точно не услышав слов Веселовского. — Попросите доктора показать вам цифры. Десятки детей погибли от голода, холода, грязи. У детей воровали продукты. И продавали их спекулянтам. Результаты обыска показали...

При слове «обыск» Марусю качнуло. Совсем уже бессвязно лепечет:

— Этого не может быть... Спасите ее! Сделайте это... Может, и мы вам когда-нибудь пригодимся. Уж не так-то тверда ваша власть...

Она останавливается на полуслове. Веселовский ее перебивает.

— Вот что, Саша, — совсем добродушно, как в былые гимназические годы, говорит он, — смешно, что мы толкуем обо всем этом на улице. Ты ведьпустишь нас в дом, чтобы Маруся согрелась и успокоилась немного?

— По служебным делам прием в комиссариате, — сухо отвечает Саша.

— Ах, так? Вое ясно. Действительно, мы с вами наивные люди, Маруся. Мы забыли, что комиссары принимают в канцеляриях, а просители должны построиться в очередь. О великие революционеры и спасители человечества! Подумать только: я мечтал когда-то о вашей дружбе! Здорово я о вас разбился! Со всего размаху. Зато сейчас вся бесчеловечность вашего строя воплощена для меня в вас...

...Была уже глубокая ночь, когда Саша понял, что заснуть не удастся. Это случалось не часто. Обычно он валился на свою железную койку и мигом проваливался в небытие... Лишь изредка усталость оказывалась сильнее сна. Одно-единственное средство было от бессонницы. Надо было встать, вытащить из-под щуплого матрасика ту самую, заветную, заведенную еще в седьмом классе клеенчатую тетрадь и попытаться соотнести всю крутоверть ежедневных дел с тем, ради чего он их делал. С Правдой и Справедливостью, Саша встает с постели и подходит к низенькому окошку. Узор ветхой тюлевой занавески падает на снег вдоль завалинки, повторяется в бледно-желтом лунном свете. Узор ложится на сучья березки. Кажется, какие-то сказочные плоды растут на дереве, а созревая, падают прямо в снег. Это создает обманчивое ощущение уюта и покоя.

Саша стоит перед окном, стараясь позаимствовать у ночи хоть немножко тишины и беспристрастия. Потом он открывает тетрадь на том листе, где в уголке несколько лет назад было написано: «Ты сам — свой высший суд». Комиссар усмехается наивности гимназиста.

Комиссар твердо знает, что его высшим судом являются История, Партия, Пролетариат. И все-таки что-то свербит в душе, царапает и раздражает. «Грош цена!» — пишет он на белом в клеточку листе. Промерзший, нахохлившийся воробей присел на оконную раму и трижды клюет в стекло, повторяя «Грош це-на!». Саша дописывает: «Грош цена комиссару, который не знал, что в его ведомстве издеваются над сиротами». И ниже калл лиграфически, как в школьных прописях: «Дети не должны голодать»...

Потом на листе появляется цифра — 135. Он обводит ее кружочком. Сто тридцать пять маленьких граждан... И каждому доктор Лепский поставил диагноз «резкое истощение». Голод... Только ли Феодора виновата в голодной смерти детей?

Просыпается и стучит в стенку мать.

— Картошка на сковородке, в кухне. Возьми сам, няня Рузя больна.

Няня Рузя никак не может приспособиться к новым порядкам. Простужается в очередях, быстро и не по годам дряхлеет. Саша на цыпочках проходит мимо ее койки и, добравшись до сковороды, стоя жует холодную картошку, не чувствуя вкуса. Перед глазами синие, тонкие, как червячки, ножки голодающих детей, а рядом с ними заплаканное, беспомощное лицо Маруси Трефилевой. Если бы не Веселовский, он пустил бы ее в дом. Тому нельзя было дать этого шанса. Веселовский... Как ему удобно прикрываться таким славным, открытым лицом! Но ведь если повнимательнее всмотреться, то видно: каждый раз, когда обнажаются зубы, в лице вспыхивает что-то отталкивающее. И хоть он быстрым движением губ стирает эту хищность, но...

...Проходит несколько дней. И однажды, сидя в комиссариате, Саша слышит за окнами странный гул.

Клава-пороховичка вылезает из-за пишущей машинки, на которой она преданно стучит весь день двумя пальцами, пользуясь той орфографией, которую подсказывает ей сердце. Что поделаешь, если настоящие машинистки еще упираются, не желают сотрудничать с Советской властью! Клава смотрит в окно и восклицает:

— Это восстание! Смотри, комиссар!

Улица запружена подводами. Ветер развеивает патлатые гривы деревенских коняг, засыпает колючим снегом рогожи, кадушки, обручи для бочат. Между подводами толпятся мужики. Уже давно, с начала войны, деревня не покупала верхней одежды, и сейчас пошло в ход все, что долгими годами переходило от отцов и дедов: поддевки, армяки, ватники, шинели... Ну, и не до стрижки, не до бритья, конечно, так что почти все столпившиеся у Дома труда мужики бородаты, с косматыми головами. Это зрелище напоминало бы семнадцатый век, если бы не перекатывалось в толпе словечко — комиссар.

— Комиссара давай!

— Даешь большевика-комиссара! Пушай ответит!

— Это опекуны! — задыхаясь от волнения, разъясняет Клава-пороховичка, уже слетавшая вниз и все выяснившая. — Опекуны! Мужики, у которых сироты на воспитании. Раньше им от сиротского дома на каждого ребенка пенсия шла. И сейчас мы должны давать что положено. А не даем... Нет ведь у нас денег-то... Да и одежды-обувки тоже не давали...

Трещит телефон. Из Совдепа тревожно спрашивают, что за волнения в городе по собесовским вопросам, не надо ли подкрепления. Высказывают предположения, что мужиков Феодорины дружки из Чистопольского района настропалили. А лихорадка за окном нарастает.

— Куды детски деньги подевали?

— Голы-босы ребята... Федора, та хошь чуток, да давала... А тут вовсе...

— Вот перебить окна-те! Ишь, огнем горят, ровно зенки бесстыжие!

Мнения в комиссариате разделились. Одни стоят за то, чтобы вызвать подмогу с заводов. Другие советуют комиссару произнести речь с балкона и пообещать все, что просят мужики. Лишь бы успокоить да проводить по домам.

Саша молча выслушивает советы и снимает с вешалки кожаную куртку.

— Сейчас откроем балкон, — торопится Клава-пороховичка.

— Не надо. Я вниз...

Он уже проталкивается сквозь толпу, а мужики все кричат:

— Комиссара давай! Не то смотри, за ноги вытащим!

И, только увидев его стоящим на одной из подвод, на минуту затихают от изумления.

— Ну что же? — раздается Сашин голос в самом центре толпы. — Не признали, что ли? Вот он, комиссар! И куртка кожаная... Слушаю вас, товарищи! Готов отвечать на ваши вопросы.

Минутное замешательство проходит. Толпа снова гудит. Конопатый хриплый старик, беспрерывно дергая вожжи, по-петушину насккивает на Сашу, повторяя:

— Ну, чего врать-то станешь?

— А ничего не стану врать. Скажу всю правду. Советская власть народу не врет. Только прежде у вас хочу спросить... Чьи дети-то?

На всякое, даже самое легкое движение ног подвода отзывается дребезжанием каждой дощечки. Дуга склонилась назад. Веревочные вожжи провисли и болтаются рядом, точно готовые ежеминутно опутать комиссара.

— Чьи, говорю, дети-то? Не наши с вами, что ли? А вам не приходилось разве слышать, что так бывает: все в доме под исход и даже детям дать нечего?

— Все под исход, как у господ! — пискливо каламбурит стоящий рядом с подводой худой мужичонка.

Смешок в толпе — разрядка настроения. Саша охотно подхватывает каламбур.

— Да нет, не как у господ! У тех-то, наверно, еще есть кое-что, припрятано. Как у вашей доброй Федоры, что вам гривенники подкидывала от краденых детских сотен. А все под исход, как в трудовой семье, что всю войну воевала, всю революцию за народ боролась. А хозяйство?... Что же скрывать, мужики... Запустили мы малость хозяйство-то, не до него сейчас... Вот уж как отвоюемся...

Он говорит громким, твердым голосом, точно и нет внутри этого саднящего чувства от неустойчивости под ногами и колючести разозленных мужичьих глаз. С балкона Дома труда — сочувственные реплики. Там столпились сотрудники собеса. И Нина уже тут оказалась. Стоит у самой решетки, вся напряженившись от волнения.

...Вечером она острит, сидя на подоконнике в Сашиной комнатке по Односторонке Третьей горы.

— Цицерон! Нет, честное слово! Ты, видать, все-таки утащил у Веселовского ту книжонку... Помнишь, он все таскал с собой? Называлась как-то забавно. Элоквенция, что ли... А может, риторика... В общем, об ораторском искусстве.

— Ничего получилось? — интересуется Саша, вдруг поднимая брови совсем по-детски.

— А-а-а... Вот когда обнаружилось! Значит, именно эти лавры вам спать це дают, товарищ комиссар? Лавры пламенного трибуна? А я уж думала, в чем же твое честолубие? К власти, я замечаю, ты совсем равнодушен. А тебе, значит, пуще всего охота глаголом жечь сердца людей, да?

— Жечь не жечь, но убедить людей — ведь это великое дело, Нинка... Скажи, значит, получилось сегодня?

— Еще как! Сначала ты отговорил их рвать комиссара на части. Потом разжалобил настолько, что они молча проглотили известие: ничего вам на сирот давать не будем. Да еще и лозунг им подбросил: растить, как своих, и терпеливо ждать, пока Советская власть разбогатеет...

— Не лгать же им было!.. Трудовое крестьянство...

— Трудовое, конечно... Но до чего же еще дики! Посмотрел бы, сколько в редакции материалов хоть насчет тех же сирот... Лупят здорово. Зло на них срывают.

Саша мрачнеет.

— Слышал кое-что об этом. Вот взгляни. Хочу такое попробовать. Как смотришь?

На вырванном из тетради листке крупным Сашиным почерком написано:

«При комиссариате социального обеспечения открывается бюро для защиты детей от жестокого обращения. Знающих о случаях давать сведения в бюро лично или письменно. Ново-Комиссариатская, дом 3».

— Поможешь, Гаврош?

На короткую минуту в веселых, любопытных глазах Гавроша мелькает неясная тень. Если бы комиссар всмотрелся... Но он не всматривается. Привык к тому, что она всегда рядом и всегда готова взять на себя часть его ноши.

— Слушай, Нина, я, пожалуй, еще успею написать статью в вашу газету. Статью о работе с детьми-сиротами. А?

Гаврош снова острит и подсмеивается.

— Пиши! Будешь лучшим журналистом между попечителями богоугодных заведений!

Но Саша не смеется в ответ на шутку, думает о чем-то своем...

— А ну-ка, Гаврош, примерь кожаную куртку. Ничего! Длинновата, но это даже хорошо. Придаст тебе солидности. Я-то что носить буду? Да попробую примерить красноармейскую шинель. В общем, Нинка, практикуйся расписываться: «Комиссар социального обеспечения Н. Соболева...»

ОЙ, КУДА ТЫ, ПАРЕНЕК, ОЙ, КУДА ТЫ!

Никто, кроме няни Рузи, не сказал ему ничего похожего. Только она коротко всхлипывает: — Без тебя-то не обойдутся, что ли? Няня Рузя уверяет, что обрусела в беженках, и добавляет, как ей кажется, вполне по-русски: — Матку не жалкуешь...

Сама мать молчит. Ни слова не отвечает она отцу, когда тот, сдерживая нервный тик, бодрым голосом разъясняет ей, что военный комиссар — это не рядовой. Он, поди, и в боях-то не участвует. Просто занимается воспитанием красноармейцев. Почти педагогическая работа...

Детально обсудить эту тему так и не удастся: всего два дня прошло между решением назначить Сашу военным комиссаром первого сводного Казанского отряда и отплытием войск в Самару. Оттуда ползут зловещие слухи о мятежном чехословацком корпусе. Затем путь лежит и дальше — на Бузулук, на Оренбург, против белоказаков атамана Дутова.

В последний Сашин казанский вечер в Совдепе шли прения о хлебе. Люди сидели до полуночи и вывалились на улицу пьяные от усталости, унося в складках одежды вьедливый махорочный дух.

— Уф-ф... засиделись...

Ольга с наслаждением вытягивает ночной воздух.

— А на дворе-то, между прочим, май... Давай, комиссар, пройдемся до Фуксовского...

Действительно, май. От Верхнего Услона потягивает яблоневым цветом. И Казанка разлилась, как никогда, чуть не всю Подлужную затопила. Фуксовский садик клином навис над водой. Точно зеленый корабль везет груз белой сирени.

Ольга шагает широко, почти по-мужски. Она в такой же, как у Саши, кожаной куртке. Зимой и летом — одним цветом. Только сейчас куртка внакидку, на плечах, а зимой застегивалась на все пуговицы и обматывалась у горла шарфом.

— Ну что ж, военком? Отплываешь завтра?

Они говорят о боеприпасах и о задачах оргполит-работы. О командире отряда Тварьяновиче. Царский офицер... Можно ли доверять?

Разговор отрывист, немногословен. Вроде размышляют вслух. Но вдруг Ольга останавливается, внимательно смотрит в лицо комиссара.

— До сих пор ты был у нас оратором, организатором масс. Сейчас будешь воином. Меняешь оружие критики на критику оружием... Справишься, Саша?

Слово «Саша» — это прощальная ласка. После революции прежнее «товарищ Александр» сменилось официальным «товарищ Гинцбург». Так она называет его на собраниях. А при встречах — «Слушай, комиссар!»

Саше не нравится насчет смены оружия. Слишком учено и цветисто. Разве Ольга не знает, что Саша просто откликнулся на просьбу оренбуржцев о помощи? Ведь Оренбург у Дутова. Туркестан отрезан от центра России...

— Зря не рискуй, — продолжает инструктировать Ольга. — Умереть не раньше, чем потребуется, — это тоже мудрость революционера.

В темноте не видно, что Саша морщится. Как назло, для последней встречи Ольга все выбирает не тз слова.

Разве о смерти думает в этот момент Саша? Откровенно говоря, он соображает сейчас, как бы незаметно оторвать от Ольгиной куртки болтающуюся на ниточке пуговицу. Уже несколько дней она висит на честном слове. Странно, что Ольга не замечает. Прежде на ее блузках все складочки были отглажены, нигде морщинки не увидишь.

И вообще как она изменилась за последние месяцы!.. Пальцы пожелтели от махорки, веки отекли и потемнели, линии вдоль рта прорезались заметней и делают рот таким категоричным...

— Ты плохо питаешься, Ольга...

— Кто же теперь хорошо питается!

— Ты переутомлена...

— Пустой разговор. Скажи лучше, подумал ли ты, что в татарском батальоне нужны агитаторы на родном языке? Вот где Ильяс пригодился бы...

Саша снова морщится, как от боли. Ну и слова нашла про Ильяс: «Пригодился бы...»

— Посидим немного...

Садовая скамейка покрыта толстым слоем пыли, окурками, прошлогодними сухими листьями. Ольга, не прерывая разговора, отламывает ветку с сиреневого куста. На секунду лицо ее как бы освещается этой большой, пышно расцветшей, пахнущей детством веткой. Но что она делает? Да просто сметает этой веткой мусор со скамейки. Белые гроздья моментально никнут от энергичных движений Ольгиной руки и на глазах превращаются в серо-грязную метелку.

Саша пытается отнять ветку.

— Жалко... Красивая...

Ольга мимолетно и необидно улыбается.

— Сентименты с сахаром, товарищ комиссар... Так вот, про агитаторов. Ты должен помнить, что...

Вряд ли Саша запомнит что-нибудь из этого последнего инструктажа. Может быть, это яблоневый дух, плывущий из-за Волги, так его расслабляет... Но только он не слушает, не слышит. Голос Ольги доходит как-то сам по себе, отвлеченно от смысла слов. Он увезет его с собой, этот голос. Он будет вспоминать его там... А пуговица? Нет, он действительно ошалел!

Саша ежится при мысли, как посмотрела бы на него Ольга, узнай она, что он пытался оторвать и сунуть себе в карман эту пуговицу. «Сувенирчик?» — спросила бы она, прищурившись. Или так: «Гимназический атавизм, товарищ комиссар?»

Саша решительно дергает эту болтающуюся на одной нитке пуговицу и протягивает ее хозяйке.

— Возьми! Пришей! А то потеряется.

Ольга рассеянно кивает и сует пуговицу в карман.

Пять пароходов общества «Русь» толпятся у дебаркадеров. Сразу видно, что эти пароходы принадлежат не обществу «Самолет». Те белые-белые. А конкурировавшее с «Самолетом» общество «Русь» выкрасило свои суда в сентиментальный нежно-розовый

цвет. Зря старалось. Сейчас боковины пароходов так прочно заляпаны черной грязью, точно их волоком волокли по вязкой весенней хляби Дальнего Устья.

— И-эх! Больно уж грязный кораблик-то! — кричит смуглый паренек из татарского батальона. Он первым взбежал на шаткие, пляшущие на воде мостки и подпрыгивает на них, точно проверяя прочность. — Может, помоем мало-мало кораблик-то? А, ипташляр? 1

1 Ипташляр — товарищи (по-татарски).

— Чего там мыть? — раздается из гущи бойцов молодой русацкий басок. — Не знаешь, что ли, поговорку? Черного кобеля не отмоешь добела...

Дружный взрыв хохота катится по рядам. Полторы тысячи бойцов... Они стоят пока вольно в ожидании митинга. Саша должен произнести речь перед отправкой отряда на фронт.

И снова в его руках та же толстая клеенчатая тетрадка, в которой когда-то четырнадцатилетний гимназист написал «Ты сам — свой высший суд», где восемнадцатилетний студент конспектировал Маркса, а девятнадцатилетний комиссар составлял проекты резолюций. Сейчас военком записал в ней сведения о составе сводного отряда, организованного Казанским губкомом партии большевиков и направляемого на Юго-Восточный фронт. Пять рот первого Казанского добровольческого полка. Рота моряков. Рота татарского батальона. Артиллерийская батарея. Пулеметный дивизион. Два броневедомости...

От реки в этот весенний предзакатный час тянет свежестью, пропитанной нефтяным духом. А от деревянных палаток, усеявших берега Дальнего Устья, несет вяленой и копченой воблой. И хоть воблой давно уже не торгуют и палатки стоят наглухо заколоченные, но крепкий, соблазнительный запах сохранился, несмотря на все перемены жизни. Так что волжский берег пахнет чем ему и положено — нефтью и воблой. Хорошо, что перед погрузкой на пароходы удалось накормить бойцов и запах воблы не будет раздражать их...

Саша прислушивается к многоголосому гулу. Он счастливо улыбается, различая в нем разные языки. Вот оно — осязаемое, перенесенное из книг и конспектов в гущу жизни братство народов. Интернационал... Военком записывает в свою тетрадь данные о национальном составе отряда. Русские, татары, чуваша, украинцы, марийцы, удмурты, латыши, евреи, немцы Поволжья... А всего шестнадцать национальностей.

Это хорошо, что провожают с оркестром и что после каждого Сашиного «да здравствует!» оркестр будет играть «Это есть наш последний...». Но прежде чем перейти к словам «да здравствует», надо исчерпать все «долой!..»

Мировую буржуазию долой! Проклятых империалистов Антанты! Атамана Дутова! Его особенно долой! Ведь это он не пропускает эшелоны с хлебом к центральным городам! Товарищи бойцы сами знают, что именно из-за Дутова голодает наш город... Фунт хлеба — семьдесят рублей керенками...

Саша стоит на штабеле каких-то залежавшихся у пристани бревен, ему хорошо видна вся колышущаяся масса защитного цвета. Знакомое ощущение собранности и самообладания владеет им. По лицам слушателей ясно: он нашел те самые слова, каких ждут от него эти люди, с такой простотой и непринужденностью добровольно оставившие дома, чтобы забить своими телами трюмы и палубы перепачканных, выбитых из колеи пароходов, чтобы спешить на защиту далекого Оренбурга и никогда не виданного Туркестана.

Речь военкома закончена. Пока гремит «Это есть наш последний...», на штабель взбирается красноармеец Бочаров. Он хочет предложить бойцам отряда проект устава-присяги. У Бочарова очень курносое, веснушчатое, полное скрытого юмора лицо. Говорит он по-казански, изо всех сил нажимая на безударное «О» и произнося «Щ» как длинное «Ш-Ш». Он читает бойцам текст присяги и просит проголосовать.

« — Я обязуюсь, как честный коммунары, защищать пролетариат до последней капли крови.

— Нет пощады тому, кто против нас.

— Для революционера смерть в бою — это праздник.

— За побег с фронта — расстрел на месте.

— За пьянство и дебош — расстрел на месте». Прочитав эти грозные пункты, Бочаров вдруг широко и добродушно улыбается.

— Ну как? Подходяще, что ли, ребята?

У него получается «походяш-ше» и «робяты».

Гул одобрения заглушает даже оркестр, который снова играет «Это есть наш последний...». Присяга принимается.

Погрузка подходит к концу. Суда уже шипят и плюются отходами пара.

— Вас спрашивают двое, Александр Григорьевич, — любезно сообщает командир отряда, бывший офицер царской армии Тварьянович. — И, по-моему, одна из двоих — барышня...

Удивительно, как ему удалось распознать барышню под измятой шинелькой и ситцевой кепочкой с пуговкой! На осунувшемся личике Гавроша извиняющееся выражение. Знает, что нарушила договор — не приходить на пристань. Простились с утра в городе.

— Не пришла бы, — торопливо, запыхавшись от ходьбы, оправдывается она, — вот только из-за Хасана... Его надо было проводить. Он едет с вами...

— То есть как это с нами?

Саша в упор смотрит на младшего братишку своего убитого друга Ильяса. Не видел парнишку с самой февральской демонстрации, на которую Ильяс взял брата, чтобы «приучить».

— Сколько тебе сейчас, приятель? — задает Саша тот самый вопрос, какой когда-то задавал ему в Вильне пан Анджей.

— Четырнадцать, пятнадцатый, скоро шестнадцатый пойдет, — одним духом выпаливает Хасан, поправляя мешок за плечами.

— Малайка ты еще...

— А раз джигита убили, брата моего, так теперь и малайка должен идти. Лето — осень пройдет, из малайки джигит станет, — с достоинством возражает Хасан и щурит свои узкие глазки, точно такие, как были у Ильяса.

Пароходы по очереди вскрикивают дважды. Пора...

— А как же отец, Хасан?

— А твой? А твоя мама?

Дерзкий, но логичный ответ. Нина дергает Сашу за рукав.

— Возьми его. Все равно убежит. Так уж лучше при тебе...

Она права. Ладно. Только пусть слово даст: на рожон не лезть и комиссара слушаться беспрекословно...

Круглые щеки Хасана сияют младенческим восторгом. Что он, маленький, что ли! Не понимает, что ли, что дисциплина — первое дело?..

Третий гудок. Пристанские рабочие уже взялись за поручни трапов.

— Возвращайся! Слышишь, обязательно возвращайся! — закликает Нина, бросаясь к военному.

— Обязательно. Новый год будем вместе встречать. Приглашаю на вальс. Помнишь, ты одобряла меня как танцора?

— Не надо шутить, — горестно и тихо говорит Нина, кладет руки на Сашины плечи и целует его коротким поцелуем.

У нее сухие, обветренные губы.

Уже отдели швартовые, уже залопотали враз колеса всех пяти судов и бойцы затанули вразнобой «Смело, товарищи, в ногу...» — а Саша все еще ощущает на губах теплое, шероховатое, благословляющее прикосновение.

ПЯТЬДЕСЯТ ДВА ПО ЦЕЛЬСИЮ

Котловина между длинными цепями барханов — естественное основание неглубокого окопа. Но беда, что в зависимости от направления ветра цепи перекатываются и струйки песка начинают течь вниз по крутому склону, оседая на губах и зубах, забираясь в глаза и горло. Перед слезящимся взором все время сухой туман, а если закашляешься, то выплевываются комочки все того же крупного хрустящего песка.

Привал после долгого перехода. Комиссар спит уже целый час. Он чувствует во сне, что давно пора проснуться. Еще минута — и он сделает то усилие воли, которое необходимо, чтобы вскочить на ноги, обдернуть гимнастерку, ощупать, в порядке ли оружие, и снова за свое: решать, вести, шагать впереди отряда...

— Полбидона! — звучит над самым ухом комиссара хриплый девичий голос.

Лекпомша Тася Остроухова, бывшая медичка-второкурсница, присела на корточки около Саши.

— Полбидона воды-то осталось, комиссар, — повторяет она милым казанским говорком. Потом долго кашляет, отплевываясь комочками песка, и добавляет:

— Температура воздуха — плюс пятьдесят два по Цельсию.

За ту минуту, что проходит между этими словами Таси-лекпомши и полным пробуждением, комиссар еще успевает увидеть длинный-предлинный сон. А может, это уже и не сон, а просто сбившееся в тугой клубок воспоминание обо всем, что случилось за последние двадцать дней, за двести пятьдесят пройденных с боями верст?

Все было впервые. Первый настоящий бой под Бузулуком. Первая горечь отступления от Оренбурга. Первый предметный урок предательства и коварства — бегство командира отряда Тварьяновича к белым. Первая встреча с раскаленными песками туркестанской пустыни. Первое ранение... Ничего, легкое! Перевязала Тася потуже — и дальше... И счастье первой победы — вступление в сдавшийся Байрам-Али... Потом Мерв, Теджент...

— Полбидона, — грустно повторяет лекпомша Тася. — Как поить народ будем?

Комиссар идет от окопа к окопу, увязая тяжелыми сапогами в красно-желтых песчаных холмах, пышущих зноем. Не поймешь, что больше раскалено: глыбы песков или глыбы плотного недвижимого воздуха. Комиссар похож сейчас на католического патера, несущего людям причастие Святых Тайн. Потому что следом за ним идут Тася Остроухова и тонкий, как пруттик, верткий Хасан Сибгатуллин, и у каждого из них в руках крохотная глиняная пиала со священной влагой — теплой, мутной, пахнущей керосином водицей.

Тася проявляет исконную женскую умелость хранительницы очага: ни одна капля драгоценной влаги не проливается под ее маленькой, широкой рукой с грязными, отросшими ногтями. А Хасан — тот высшее судилище Справедливости и полнейшего Равенства. Со всей непримиримостью четырнадцати лет он следит своим соколиным, хоть и косо разрезанным оком, чтобы никто не сделал больше трех глотков, да и глотки чтобы были нормальные.

— Ты кто? — гневно кричит он на длинного, худущего Петренко, еще не оправившегося после легкого солнечного удара. — Ты кто? Крокодил или джигит? А если джигит, тогда зачем глоток делаешь по-крокодильски? А братва, по-твоему, что будет пить?

Самое главное, чтобы шутки комиссара казались красноармейцам веселыми и естественными. Комиссар улыбается, расписывая в цветистых выражениях, какие бахчи ждут братву там, за станцией Каахка, которую предстоит взять приступом. Какие, черт возьми, арбузы и дыни растут на этих бахчах!

...Людей можно отвлечь от страданий словом. С лошадьми труднее. Вот они, буланые и каурые... Опустили головы почти до земли, а глаза такие же мутные, какие были у отцовского коняги Васьки, что в мирное время всзил землемера по деревням, а в первый же год войны угодил по мобилизации на германский фронт.

Комиссара вдруг обожгло мальчишеской Сашиной болью — вспомнил, как покорно шел Васька из конюшни, но в воротах, настезь распахнутых чужим дядькой в серой шинели, вдруг отчаянно заржал и стал вставать на дыбы. И как папа велел Саше выйти за ворота и приманивать Ваську большим куском сахара-рафинада. А Саша возмутился предательством отца и закричал: «Не буду я его обманывать!»... И как Аркашка с ревом повис у Васьки на шее, в гриву вцепился. А вечером мама ругала Аркашку за то, что он сказал: «У нас теперь двое на фронте: Яша и Васька».

А, по сути, верно сказал малыш. Фронтовые товарищи... Комиссар похлопывает коней по опущенным посеревшим шеям, запускает руку в гривы, занесенные песком и сбившиеся в колтуны.

Станция Каахка... Каахка... Про себя Саша считает это название отвратительным: оно точно приступ мучительного кашля. Наглотался человек песка пустыни и задыхается: каа-хка... каа-хка... Но вслух он произносит это непривычное для русского уха слово звонко, почти победно. Ведь это цель, к которой надо звать бойцов. Она должна стать красной, эта глинобитная крепость — укрепление белых и англичан на пути советских войск в Ашхабад.

За последние двадцать дней, за последние двести пятьдесят верст Саша стал военным. Ого, теперь он смог бы кое-что объяснить товарищу Ольге насчет «критики оружием»! Он вразумительно толкует красноармейцам, почему невозможен обходный путь на Каахку. Высокий скалистый хребет, что слева, непроходим. А по пескам восемьдесят верст, без воды, под осатанелым солнцем... Сами понимаете, Остается одно — бить в лоб. Хотя лоб этот бронированный...

— Товарищи революционные бойцы! — вызывает комиссар, — через час мы начинаем наступление. А сейчас красноармеец Федор Ханько прочтет вам свои стихи, которые он без карандаша и бумаги составил в уме. Эти стихи посвящены памяти наших товарищей, павших здесь, в Закаспии, Федор Ханько поднимается из-под кривого безлистого кустика, где пытался найти подобие тени.

Долго кашляет и утирает рукавом слезящиеся глаза. Отпускает длинную очередь ругательств по адресу чертова пекла. Точно у самого дьявола в брюхе, чтоб ему... Потом читает, стараясь подражать казанскому трагику Аполлону Болорецкому, чья благородная дрожь в голосе потрясла воображение Федюхи еще в мирное время:

В пустынных степях Закаспийской земли,
Где высятся голые дюны,
Вблизи от дороги, на холме большом,
Спят славные дети Коммуны.

Погибли они от руки палачей,
Подлых и гнусных тиранов.
И с жизнью расстались за счастье рабов,
Не стало бойцов-коммунаров.

— А вдруг и меня сегодня, как Ванюшку Городцова?

Это шепчет Кузьменко, подобравший балалайку убитого неподалеку от Мерва Ивана Городцова, молодого казанского слесаря. На каждом привале, бывало, играл Ваня «Вы жертвою пали...» в память убитых в последнем бою. А уж потом и «Барыню» и «Камаринского». И что всего смешнее — под Ванину балалайку верблюд ревел. Стоило Ване завести «Барыню», как верблюд начинал переминаясь с ноги на ногу, греметь висящими на нем бидонами с водой и, наконец, всхлипывал своим странным, идущим из живота голосом.

А у Кузьменки с музыкой не ладилось. Сколько ни тренькал, мотива не получалось. Но балалайку никому не отдавал. Зарок дал: Ваниной мамаше в Казань доставить, чтоб было что к сердцу прижать, как зальется о сыне.

— Эй, слышь, отец! Ежли, говорю, меня сегодня, как Ванюшку, под Каахкой-то этой, будь она неладна, так ты балалайку-ту сам до Ваниной мамашки донеси. Кому попало не отдавай. Ладно, что ли?

Саша уже не удивляется теперь обращению «отец». Не впервой. И действительно, не отцовские ли заботы? Чем напоить? Как сберечь?

— Живы будем, товарищ Кузьменко, так все для Ваниной мамашки сделаем,.. Давай дальше, Федя!

Ханько облизывает сухим языком опаленные губы, закидывает голову кверху, молча глядит в блеклое от зноя небо, набирается сил:

...Вам вечная память, бойцы-коммунары,
Вы сделали все, что могли,
За счастье забитых тиранской рукою,
За право голодной семьи.

За вами тернистой, тяжелой дорогой
Идет весь свободный народ.
И верьте, что выполнит дело святое,
И даром никто не умрет...

— Ну как, комиссар, — беспокойно допытывается поэт, — ровные ли куплеты? Говорят, надо по слогам подсчитывать, чтобы ровные были... Выйдет ли с меня пролетарский революционный автор?

— Обязательно выйдет, Федя. Вернемся — подучишься еще этому ремеслу. У нас в Казани, знаешь, какие профессора есть по этой части? Мигом выучат. А пока одно я вам скажу, товарищи революционные бойцы: правильно говорит наш пролетарский поэт-красноармеец Федор Ханько — даром никто не умрет. Если кто и ляжет под крепостью Каахка, друзья, то не даром. За власть Советов... За мировую революцию... За счастье всех трудящихся земли...

Голос комиссара вдруг срывается. Из того полбидона им с Тасей-лекпомшей водички не хватило... Острый спазм голосовых связок. Точно кто-то перетянул горло режущей проволокой.

— На, глотни кислотцы лимонной, комиссар. — Тася сует ему в руку серо-грязный кристаллик. — Возьми, помогает вместо воды. Сейчас и всем бойцам раздам перед боем...

...В мечтах Саши-гимназиста о подвигах, о рукопашных схватках с силами великого Зла всегда виделась Сибирь. Нетающие льды. Снежные пустыни. Никогда и в голову не приходило, что не снежная, а раскаленная темно-желтая песчаная равнина станет местом решающих боев. А оказалось, именно тут его зенит. Самое острое напряжение тела, самый высокий накал души. Плюс пятьдесят два по Цельсию.

После привала многим еще труднее тронуться с места. Но медлить больше нельзя. Все слышнее треск и грохот рвущихся вражеских снарядов, все виднее фонтаны пыли, поднимающиеся от взрывов.

— ...Готовьтесь! За мной! Вперед, товарищи!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ САШИ

Его праздновали очень торжественно. Тем более, что и дата круглая. В этот день Саше сравнялось шестьдесят. Относительны земные сроки... Уже перевалил на вторую половину загадочный двадцатый век. Уже истончились и стали ломкими зарытые в

туркменской земле, под жгучими песками Сашины кости. А день рождения празднуется. Седые люди в военном и в штатском спешат по улицам заснеженной Москвы 1958 года к Центральному музею Советской Армии.

Если попристальней взглядеться — годы отступят, и сквозь черты генерал-лейтенанта проглянет юное лицо пулеметчика четвертой роты Казанского полка Николая Хмелевского. А командир второго батальона Василий Шлыков вроде не так уж и изменился с восемнадцатого. Право же... Да и вы, друзья...

Они окружают свое полковое знамя. На первый взгляд и оно не изменилось. Та же полукруглая надпись внизу: «Казанский сводный имени Гинцбурга полк». Но нет, по знамени, как и по лицам людей, прошли следы времени. Его пронесли и сквозь огонь сороковых годов. В правом верхнем углу слова, обжигающие совсем еще свежей болью: «Смерть немецким оккупантам!».

Празднуется шестидесятилетие юноши комиссара, погибшего сорок лет тому назад. Люди ведут разговор со своим прошлым, отдаются великой силе воспоминаний. Возникает как бы новое бытие того, что не вернется.

— Мы были товарищи с Александром, — говорит генерал Хмелевский. — Я — тогда рядовой боец, а он — боевой комиссар. Удивительное мужество, редкое самообладание были в этом парне. Да, парень... Дожил всего до двадцати... Помню, как еще до Каахки был он ранен в ногу в тяжелейшем трехдневном бою и как остался в строю, продолжал руководить боевыми действиями отряда. А бой под Каахкой! Это были подступы к Ашхабаду, ключевая позиция белых... Тут-то и ждала Сашу его судьба... Когда прошел слух, что его, тяжело раненого, потерявшего сознание, захватили в плен и отправили в Индию, бойцы выбрали троих и поручили им пробраться в тыл белых, если надо, и до Индии добраться; а своего комиссара выручить. Неизвестна судьба этих смельчаков, да и версия об отправке комиссара в Индию, как потом оказалось, была лживой, чтобы скрыть расстрел, такой же злодейский, как расстрел двадцати шести бакинских комиссаров...

Сашин однополчанин Нарынский подхватывает речь Хмелевского.

— С большими трудностями столкнулся двадцатилетний комиссар в полку. В культурном, в политическом отношении он был куда грамотнее командного состава отряда, но в военном деле командиры — бывшие офицеры были сильнее его. Он отдавал себе в этом отчет и поставил перед собой цель: стать настоящим военным. И стал. Природные способности и революционный опыт помогли. Помню бой под Байрам-Али, когда ночью напоролись мы на окопы неприятеля. Саша шел в первой цепи вместе с бойцами и командирами. Бесстрашием, готовностью все разделить с бойцом — и труд и опасность — общую любовь завоевал...

Те друзья Саши, что не смогли приехать на день его рождения, прислали свои воспоминания. Бывший пулеметчик Казанского полка Сергей Некрасов написал: «Вот и станция Каахка... Моему пулеметному подразделению было приказано занять позицию. Пулемет работал безотказно, но всему бывает предел: ствол раскалился, и «кольт» отказал. Вынул я замок, бросил в песок, а в это время вражеский снаряд разорвался, и я был ранен. Об этом сражении я изложил стихами. Правда, для меня чуждо литературное искание, и поэтому оно не совсем в совершенстве...

Под станцией Каахка была жара свинцовая,
Снарядов также вой стоял не умолкая.
Смерть стала за плечами.
И подходил конец патронам.
Рушилась в небе твердь,
И веял воздух раскаленный...

Много бойцов нашего отряда вышли в этом бою из строя ранеными, немало осталось в раскаленных песках навечно. Лишились мы и дорогого своего комиссара — Александра Гинцбурга».

Люди вспоминали, как это произошло.

«...Товарищ Гинцбург с горстью храбрецов ворвался на станцию Каахка и пытался забросать ручными гранатами штаб ашхабадцев, но вражеская пуля настигла его. Командир роты товарищ Лунин, шедший рядом с ним, хотел вынести его на руках из боя, но сам получил пулю в грудь. Товарищ Гинцбург, видя, что наше дело терпит неудачу, просил товарищей бросить его. Пытавшиеся спасти его два товарища тоже были ранены».

Николай Опоченский помнит каждую минуту десятичасового боя.

«Грохот пушек, трескотня ружейного и пулеметного огня. И мучительная жажда. Подошли несколько верблюдов с водой в бидонах из-под масла и керосина. Нарасхват была выпита эта вода, но многим и она не досталась. Многие были поражены солнечным ударом. Кровь на ранах запекалась от горячих лучей, как от огня. Вдруг по исковерканной цепи проносится слух: Гинцбург тяжело ранен и оставлен перед окопами противника. Надо выручать его. Наш правый фланг начал наступать, за ним, как один, тронулась вся цепь, и, несмотря на все, хотели спасти нашего комиссара. Несколько храбрецов вырвались из строя и бросились вперед к раненому товарищу Гинцбургу, но каждого из них сражали пули противника. Уже недалеко... Вот-вот — и дорогой наш товарищ Гинцбург будет в наших руках... Но сильный огонь и нажим противника отбросили нас назад...»

Да, третье наступление на Каахку было особенно неудачное. И что самое главное — это оставили и, значит, навсегда потеряли дорогого нашего комиссара — товарища Гинцбурга. А что с ним дальше произошло, стало известно в Ашхабаде».

ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕГОН

Жестяную проржавевшую кружку Саша ставит на ночь в самый дальний угол камеры, чтобы, не дай бог, не толкнуть спросонья, не пролить оставленные на утро считанные глотки воды. Эта кружка с вдавленным боком — в ней стакана полтора — и есть весь дневной водный рацион. И у Саши строго рассчитано, сколько глотков приходится на утро, на день, на вечер. И ни разу комиссар не нарушил свой собственный железный закон. Как бы ни мучил с вечера иссохший рот, все равно — несколько глотков на завтра. Это очень важно: поддержать себя именно с утра, когда впереди целый беспросветный день одиночества, остервенелых допросов, беспощадной ясности исхода.

Саша пытается встать с низких — четверть метра от пола — нар и добраться до кружки. Это удастся не сразу. Гипс с раздробленного бедра сняли, грубо стащили, досрочно, как только пришел приказ перевести из госпиталя в тюрьму. Нога волочится, как подбитое птичье крыло.

Глоток. Еще один. А последние капли на то, чтобы протереть отекающие, налитые кровью глаза.

Тюрьма. Вообще-то ничего неожиданного. Разве не предопределена она всякому, кто встал в ряды сопротивляющихся Злу? Об этом не раз размышлял Саша-гимназист, Саша-студент. А сколько говорили об этом в студенческой чайнушке! Еще Нина шутила, дескать, верно сказано у Чехова: где собрались три русских интеллигента, там обязательно разговор о тюрьме. Но та тюрьма, о которой думалось, о которой знали, что рано или поздно ее не миновать, совсем была непохожа на эту, реальную. Та, воображаемая, знакомая по запискам народовольцев и рассказам старых большевиков, была чем-то вроде университета. Сидит человек взаперти, а родные и друзья носят ему по списку книги. И если «Капитал» не пропускают, то заключенный пишет протесты или объявляет голодовки.

А Ашхабадская тюрьма, куда заключен сейчас красный комиссар Александр Гинцбург, истинное узилище. Не камера — темница... Багровые стены еле мерцают призрачными отсветами дня. Даже неистовое ашхабадское солнце не в силах пробиться

через крошечное, зарешеченное, затянутое паутиной высокое окошко. Зато оно нещадно палит снаружи. От потолка так и пышет жаром, в воздухе камеры духота и отвратительная липкая мокрядь. Жучки, мокрицы и всякая неизвестная туркестанская ползучая нечисть кишмя кишит по полу, по стенам, по нарам, забирается в кружку с водой, лезет в глаза и уши. Не мудрено, что в голову приходят не товарищи, писавшие в одиночках полемические статьи против меньшевиков, а кто-нибудь более далекий. Ну хоть Джордано Бруно... Его тоже в свинцовой камере пытали...

Нынче воскресенье, допроса не будет... Можно, значит, немного расслабить закрученные до отказа внутренние пружины, пустить мысли на самотек. Пусть снова вертится в обратном направлении лента жизни... Плывут, плывут перед глазами картины, бьется мозг над воссозданием случившегося.

Как же это все произошло? Последний ясно встающий в памяти момент — это быстрый, ловкий бег. Последние шаги тех, бывших Сашиных ног одинаково легких, сильных, целых. Потом замах гранатой... Бросок... И еще бросок... И еще... Дискантовый взвизг пули где-то у самого уха.

Сколько Саша ни напрягает память, он не может вспомнить, было ли больно. Кажется, нет. Только вдруг заколебались все привычные формы — земля, небо, люди, вещи... Потом небо повалилось как-то накось и прикрыло собой Сашу... Глухота и пустота обрушились на него, что-то подхватило и закрутило. Из пустоты вдруг вспышкой — чьи-то близкие, но неузнанные глаза, чей-то сдавленный шепот: «Держись, держись, браток, вынесу»... И снова ж-ж-ж-и... и — провал...

Тянутся размытые, то выплывающие из тумана, то снова скрывающиеся в тумане видения. Сквозь них выкристаллизовывается наконец ощущение вновь обретенного, набрякшего с'траданием тела.

— Очухался, никак, Сашок?

Это Васька Фирсов, пулеметчик. Он подмигивает заговорщически, прикладывает палец к губам и, наконец, уловив момент, горячо шепчет пришедшему в сознание Саше, что они в белогвардейском госпитале. Никто не знает, что Саша — комиссар, большевик. Тут шестеро наших... сговорились, объясняем: комиссар Гинцбург убит, а про тебя — ты, мол, рядовой. Красноармеец Александр Гриднев. Не проговорись, смотри... Комиссаров-то они не милуют...

Красноармеец Александр Гриднев. От этого зависело спасение жизни. И он сразу запомнил имя и не забывал его даже тогда, когда по временам сознание снова потухало и он жил в отрывочном, не совсем связном мире. В этом мире царили зима и Нина. Из зноя и удушья азиатского августа он рвался в поволжские снега. В снах виделись все время те высокие сугробы, что окружали Нинин домик по Односторонне Третьей горы. На чистых снегах мерцала лунная белизна той новогодней ночи. Снега сливались с Ниной, со смехом Гавроша, с грустным, прощальным прикосновением ее сухих губ.

В бреду почему-то никогда не возникали ни бои, ни барханные цепи Закаспия. Все казанские шли виды и лица. Так что, когда перед ним вдруг встало ЭТО лицо, он еще сколько-то времени думал, что просто видит сон. Наверно, повысилась температура... Но ЭТО лицо не исчезало. Оно вежливо улыбалось такой знакомой доброжелательной улыбкой, и славная русая прядь по-прежнему падала на открытый выпуклый лоб.

Саша приподнялся на койке. Хотел сесть, опираясь на локоть. Но это оказалось невозможным. Тянула книзу окоченевшая в гипсе нога. Он протер глаза.

— Нет, нет, это у вас не сон и не бред... Это именно я, — сказал знакомым теноровым голосом Вячеслав Веселовский.

Он стоял в группе белых халатов. За спинами этой группки маячили два белогвардейских офицера. Веселовский показал на температурный лист над Сашиным изголовьем.

— Красноармеец Александр Гриднев, — медленно прочел он.

Этот голос мгновенно привел в полную ясность Сашины мысли. Вспомнил все и трезвейшим образом оценил положение. Он тяжело ранен под Каахкой. В бессознательном состоянии подобран белыми. Не опознан ими как комиссар, лежит в их госпитале под именем рядового красноармейца. Он мог бы выйти отсюда невредимым, пусть хоть со сломанной ногой... И вот... Да, ведь еще в Казани было слышно, что Веселовский, твердивший вечно о презрении к политике и о преданности науке, ушел-таки к белым. И надо же, чтобы из сотен возможных дорог случай привел его именно в Ашхабад, в госпиталь, к Сашиной койке.

Вячеслав Веселовский медленно вчитывается в температурный листок. Можно подумать, что именно там он ищет ответа на вопрос: выдавать или нет?

— Та-а-ак... Та-а-ак... Кривая явно идет вниз. Дело к выздоровлению, Александр, — задумчиво произносит он и после бесконечной паузы добавляет: — Вас ведь Александром зовут, рядовой Гриднев? Я не ошибся?

Он устремляет свой безмятежно-голубой взор прямо в глаза Саши. Несколько секунд длится этот взгляд. Бровь — в бровь. Кровь — в кровь...

Выдержать, выдержать... Только бы не унизиться до мольбы о молчании. И Саша не отводит глаз.

— Вы знаете, коллеги, что я студент-медик, — обращается Веселовский к группе белых халатов и через их головы к двум высоким военным, которые все точно воды в рот набрали. Стоят статистами, терпеливо выслушивающими монолог главного героя. — Да, я медик, для которого священны гуманные законы нашей гуманнейшей из наук. Священны для меня и законы студенческого братства. Веря в эти законы, я обратился однажды за помощью к своему коллеге, однокурснику. Случилась беда в семье моей невесты. Я знал, что пропасть политических предрассудков отделяет моего коллегу от меня, но я верил в его личное благородство, я думал, что под комиссарской курткой — этой форменной одеждой бесчеловечности — все-таки есть еще живой человек, будущий врач, мой коллега. Ошибся. Мой однокурсник отогнал меня от своего крыльца, как шелудивого пса. Мало того, он отогнал и женщину — мою полуживую от горя невесту. Он играл тогда роль неподкупного Робеспьера. Он доказал свою большевистскую принципиальность, и, я полагаю, он отнесся бы с насмешкой ко всякому, кто в аналогичных обстоятельствах проявил бы вредную для дела сентиментальность...

И еще одну долгую паузу сделал Вячеслав Веселовский, однокурсник, одноклассник, весельчак и балагур, перед тем как произнести последние слова:

— Не правда ли, ведь и вы поступили бы так же, как я, комиссар Гинцбург?

Сколько лет было Джордано Бруно, когда он вот так же маялся под свинцовой крышей? Саша мучительно старается и не может вспомнить. Но уж Тиль Уленшпигель, во всяком случае, был совсем молодой... А кому же это было двадцать, как Саше? Ах, да... Мне двадцать лет, я сын Наполеона, мне двадцать лет, и ждет меня корона... Фу ты, черт!

Саша резко вскакивает с нар и тут же весь скрючивается от непереносимой боли в ноге. Пускай! Лучше боль, чем эта путаница в мыслях. Он механически находит свой пульс, считает. Девяносто... Девяносто три... Это хорошо. Значит, мысли мутятся от высокой температуры — и все тут. А рассудок в порядке. Ну, конечно. Неужели он унижится до потери рассудка? Итак, будем рассуждать логически...

Саша снова и снова сопоставляет угрозы и уговоры, намеки и ругательства своих следователей. Убьют. И все же...

В двадцать лет трудно поверить в реальность смерти, если даже она логически доказана. Ведь ты остановлен на полном бегу, в тот самый момент, когда, казалось, вот-вот схватишь за хвост жар-птицу. Мечта еще раз выталкивает логику, и Саша вдруг видит во всех подробностях вступление красных в Ашхабад. Он слышит топот красноармейских сапог по тюремному коридору и мощные удары в железную дверь камеры. Взломают... Он увидит своих... Ведь ломал же он сам' двери камер в казанской крепостной тюрьме прошлой

осенью, ведь выбегали же ему навстречу освобождаемые им товарищи... И сейчас будет так. Наверно, первым влетит Федя Ханько, революционный автор, недаром же с ним делили махорочные затяжки и вместе читали корявые стихотворные строчки. А за ним Ваня Суслов, Ахметжанов... Хасан, конечно, тоже увяжется своего названного брата вызволять из темницы...

Саша улыбается... Но острая боль в ноге толкает его на нары. Жар наваливается и глушит коротким сном. Плохой сон. Саша видит мать. Она читает газету «Знамя революции». А там некролог. Некролог о ее втором сыне. Опять те же слова, что были про старшего: пал смертью храбрых... Только теперь уже не за державу российскую, а за дело пролетарской революции во всем мире... Как это няня Рузя говорила? «Матку не жалкуешь?» Ох, еще как он жалкует ее, бедную, сгорбившуюся, с брошечкой, выпущенной в честь трехсотлетия дома Романовых, думающую, что добрым словом можно всех унять и отговорить от злодейства...

Потом появляются Нинины косички и ситцевая кепочка Гавроша. Во сне Саше вдруг становится очень ясно: он перепутал чувства. Он не понял себя. Ольга? Вот ее лицо перед ним — неуступчивый лоб, категорические складки у рта... Инструкции комиссару, речь про критику оружием... У нее какие-то другие масштабы — огромные, холодные, как горные вершины. На нее только удивляться, ею восхищаться как воплощением революционного идеала... А вот чью бы руку сейчас ощутить на пылающем лице? Господи, да, конечно, Нинки ну. Смешную, красноватую Гаврошью лапку с заусеницами и обломзанными ногтями. И на Волгу бы поехать с Нинкой... На таком бы пароходе, как вот до Самары с отрядом шли. Только чтобы лето. И на пристанях выходить к деревянным прилавкам, у которых бабы торгуют вареной картошкой в мундирах, где стоят берестяные лукошки с малиной, а из ведерок пахнет огурчиком, укропом, чесночком. А Ниночка хрустела бы огурцом и закатывалась Гаврошым своим смехом...

Темнота в камере наступает внезапно. Каждый вечер в окошко прорезывается одна-единственная звезда. Одна, но зато какая огромная и яркая. Только бы не сорвалась, не упала вниз, оставляя за собой легкий голубоватый след, как срывались и падали над ними звезды под Байрам-Али, под Мервом и Каахой. Тогда звезд было много, и звездопад не пугал, а радовал красотой. Теперь же звезда была единственная, незаменимая, и Саша любил ее с опаской, то и дело ловя себя на суеверном предчувствии: упадут вместе.

За последние несколько дней звезда стала для него вестником счастливого часа и в конкретном, практическом смысле. В час ее появления происходила смена охраны. Брякали тяжелые, как на купеческих сундуках, дверные замки, топотали солдатские сапоги, раздавалось позвякивание ключей и короткие отрывистые свисты, которыми охранники окликали друг друга. Самое удобное время для заключенных. И вот уже пять дней, как именно в этот час вздрагивает тяжелая багровая стена, и звуки превращаются в слова дружбы.

За стеной единомышленник, ровесник — вдвоем им сорок — ашхабадский железнодорожный рабочий Константин Морокин. Способный парень. За два-три урока усвоил тюремную стенную азбуку. А Саше ничего не стоило восстановить в памяти страницу из «Запечатленного труда» Веры Фигнер, где напечатан этот алфавит.

О своем деле Костя особенно не рассказывает. Сказал только, что, мол, довелось-таки ему порядочно насолить ашхабадской белой офицерне. Да и Сашу не расспрашивает. Говорит, слышал о тебе немало, комиссар. Они беседуют по общим вопросам. О перспективах мировой революции и о стихах Демьяна Бедного. О левых эсерах и о настроениях туркестанской молодежи. Техника перестукивания усовершенствуется с каждым днем, они понимают друг друга с полуслова.

Нынче ночью Саше показалось, что за стеной какое-то необычное движение. Испугался: не уведут ли Костю. Он уже знает, что этот друг — последний в его жизни, и ценит его наравне с той последней звездой.

Но в условленное время стеной телеграф снова сыплет мелкой дробью. Какое счастье! Костя еще жив,, он еще рядом. Саша переходит на прием.

Да, ночью приходили. Допрос. Что-то новое пронюхали. Каждую минуту непрочная ниточка связи может оборваться. Говори скорей самое главное.

Что сказать? Ах да, конечно...

— За-пом-ни имя... Со-бо-ле-ва... Ни-на... Ива-нов-на... Скажи ей... Костя снова прерывает: уж он бы знал, что сказать Нине Ивановне Соболевой, только вряд ли придется. На допросе следователь так орал и бесновался, что Косте под шумок удалось прочесть бумажку на следователем столе. Насчет того, что заключенные Константин Морокин и Александр Гинцбург должны быть переданы в распоряжение Петрова. Это у них шифр. Петров — известный в Средней Азии палач. Так что крепись, друг... Похоже, это последний перегон в нашей с тобой жизни...

Трудно сказать, почему палачи выбрали именно это место. Только это опять под Каахкой. Может, так им удобнее, чтобы пустить потом ложный слух об отправке пленных в Индию.

Ночь. И как же она хороша! Уже октябрь. Кончился изнурительный зной. Черное азиатское небо сверкает сотнями звезд. И среди них та, которая светила Саше в темницу. Кажется, он узнает ее... Вон там, справа... Рядом Костя. У него красивое, бурое от крови и грязи лицо. Его очень били на допросах. Но он все еще держится. Он тащит Сашу, с его раздробленным бедром, почти на себе.

— Давай вперед, быстрее! — кричат сзади. Но они не хотят в спину. Не сговариваясь, оба резко поворачиваются лицом к дулам винтовок. Короткое объятие. Короткий далекий треск. И ослепительное пламя всех звезд небесных вспыхивает в глазах двух юношей, чтобы погаснуть навеки..

СТИХИ

Нина Королева

*

Мне счастье одиноких не дано
В домах, где вещи скудны и нетленны:
Малевича цветное полотно
И книжно-перепончатые стены.
Где телефон по месяцу молчит.
Где зреет мысль, год от году крепчая,
И палочкой по лестницам стучит
Старинный друг сюда на чашку чая...
Бегу, боюсь душой ворожей.
Чтоб этот дом не смог в меня вселиться!
...С деревьев облетают воробы.
Крылатые щебечущие листья.
Автобусы — ночные светляки.
Прохожие — бездумные ледышки...
На женщинах плывут воротники
Из нежно-белой, красноглазой мышки...
Лечу туда. Топчу ногами тень
Грядущего грозящего мне года...
Любимый мой, какой сегодня день.
Который день до твоего прихода!..

*

Я вам танцую, и пою,
И создаю уют.
Про душу женскую мою
Записку мне суют.
С высоко поднятых трибун
Мой женский голос тих.
Я не оратор, не трибун,
И мой не легок стих.
И все же я скажу о том,
Раз вы пришли ко мне.
Что я во сне все строю дом,
Все строю дом во сне...
На берегу у всех дорог
Свети, мой дом, свети.
Зови, зови на свой порог
Уставшего в пути!
Не знать замков твоим дверям,
И улыбаться матерям,
И слушать голоса детей.
Которым долго жить.
Такую песню для людей
Хотела б я сложить...

Роберт Рождественский

На Земле
безжалостно маленькой
жил да был
человек маленький.

У него была служба
маленькая
и маленький очень портфель.

Получал он зарплату
маленькую...

Но однажды
прекрасным утром
постучалась к нему в окошко
небольшая,
казалось,
война.

Автомат ему выдали
маленький,
сапоги ему выдали
маленькие,
каска

выдали
маленькую
и маленькую —
по размеру —
шинель.

...А когда он упал —
некрасиво,
неправильно, —
в атакующем крике
вывернув рот,
то на всей Земле
не хватило
мрамора,
чтобы вырубить парня
в полный
рост!

На родине Маяковского

Нас было семеро,
считая жен .
и переводчицу.
С селом Багдади
все до единого
знакомы косвенно,
мы не доверились
уговариванью
паровозному.

Мы просто взяли две машины и —
к Маяковскому!..

У ног в кувшинах вино плескалось,
мы хлеб делили.
А нам навстречу летели горы,
и мощь,
и немощь...

В конце дороги,
в невероятно земной долине,
произрастало село Багдади,
на солнце нежась.

Произрастали дома
спокойно и неустанно,
и абрикосы, произрастая,
плоды
роняли.

Взрослели стены,
и даже речка произрастала,

в песок зернистый,
как будто в вечность,
уйдя корнями.
Мы вырастали за нею следом
из дряг и туфель,
из пиджаков и вчерашних ритмов,
вчерашних споров.
Все рифмовалось,
звучало,
пелось,
и был доступен
хозяин дома, —
как сон,
спокойный,
сухой, как порох.
Был дом наполнен
его шагами,
баском недавним.

Бас повторялся,
немые вещи
тонули в отзвуках.
И улыбался легко-легко
австралиец Даттон,
и Евтушенко
пыхтел, наморщась,
над книгой отзывов...
...Потом обратно зашелестела,
крутясь,
дорога.
И солнце
то убегало в горы,
то вновь показывалось.
А мы молчали.
А мы смотрели, как осторожно
шагает туча,
на хилых ножках дождя
покачиваясь.

*

И ночь холодна.
И день голубой.
И души людские
в обойму
втиснуты...
Но ведь будет когда-нибудь
последний
бой
на этой крутящейся,
круглой,
единственной!

Придется
высшую правду понять
и где-то
на пятом часу
наступления,
улыбнувшись,
последнюю пулю
принять.
(Если б только знать,
что она
последняя!)

Поезд

Этот поезд,
огромный и странный,
закатал меня,
закатал.
Он проходит
по землям и странам,
по минутам,
часам
и годам.
Он идет
сквозь жару и прохладу.
В нем —
пиджоны,
пижамы,
халаты,
молоко
и бутылки вина...
Ночь за окнами,
будто стена...
А в купейном —
от хохота тесно!
Молодится
строительный туз.
И смеется вовсю
поэтесса —
инженю
человеческих душ.
Так смеется она,
будто платит
за вино,
за бездумье свое.
Будто сразу за смехом
заплачет,
и никто
не утешит ее...
Проводник
на Монтана походит.
Пассажиры

на станциях сходят.
Попросив для отчета билет,
сходят так,
словно сходят
на нет.

Пегас

Заполнены дворы
собачьим лаем,
в подъезде шебаршит
нетрезвый бас...
В век синхрофазотронов
мы седлаем
лошадку
под названием
Пегас.
Вокруг нее —
цветочки и зловонье.
И дождь идет,
как будто напоказ.
Мотает
непокрытой головою
лошадка
под названием
Пегас.
Она бежит.
Она слюну роняет.
И все ж таки —
уже не в первый раз —
тихонечко
ракеты
обгоняет
лошадка
под названием
Пегас.
Пустынный пляж
тепла у солнца просит.
Закатный лучик
вздрагнул и погас.
А мы себе живем.
А нас вывозит
лошадка
под названием
Пегас.

*

Написал:
«Живу себе...»
Как это:
«Живу

себе»!
В суете,
в делах,
в гульбе,
затерявшийся в толпе.
Жду себе,
себе ворчу,
одному себе
острю.
То не вовремя
молчу.
То не к месту
говорю...
Ну, а если наяву
разбираться по судьбе,
я сперва тебе
живу.
Вам
живу.
Потом —
себе!

Белла Ахмадулина

Плохая весна

Пока клялись беспечные снега
блистать и стыть с прилежностью металла,
пока пуховой шали не сняла
та девочка, которая мечтала
склонить к плечу оранжевый берет,
пустить на волю локти и колени,
чтоб не ходить, но совершать балет
хожденья по оттаявшей аллее,
пока апрель не затевал возни,
угодной насекомым и растениям, —
взяв на себя несчастный труд весны,
безумцем становился неврастеник.

Среди гардин зимы, среди гордынь
сугробов, ледаколов, конькобежцев
он гнев весны претерпевал один,
став жертвою ее причуд и бешенств.

Он так поспешно окна открывал,
как будто смерть предпочитал неволе,
как будто бинт от кожи отрывал,
не устояв перед соблазном боли.

Что было с ним, сорвавшим жалюзи
То ль сильный дух велел искать исхода,
то ль слабость щитовидной железы

выпрашивала горьких лакомств йода!

Он сам не знал, чьи силы, чьи труды
владеют им. Но говорят преданья,
что, ринувшись на поиски беды,
как выгоды, он возжелал страданья.

Он закричал: — Грешна моя судьба!
Не гений я! И, стало быть, впустую,
гордясь огромной выпуклостью лба,
лелеял я лишь опухоль слепую!

Он стал бояться перьев и чернил.
Он говорил в отчаянной отваге:
— О господи! Твой худший ученик —
я никогда не оскверню бумаги.

Он сделался неистов и угрюм.
Он все отринул, что грозит блаженством.
Желал он мукой обострить свой ум,
побрезговав его несовершенством.

В груди птенцы пищали: не хотим!
Гнушаясь их красою бесполезной,
вбивал он алкоголь и никотин
в их слабый зев, словно сапог железный.

И проклял он родимый дом и сад,
сказав: — Как страшно просыпаться утром!
Как жжется этот раскаленный ад,
который именуется уютом!

Он жил в чужом доме, в чужом саду
и тем платил хозяйке любопытной,
что, голый и огромный, на виду
у всех вершил свой пир кровопролитный.

Ему давали пищи и питья,
шептались меж собой, но не корили
затем, что жутким будням их бытия
он приходился праздником корриды.

Он то в пустой пельменной горевал,
то пил коньяк в гостиных полусвета
и понимал, что это гонорар
за представление: странности поэта.

Ему за то и подают обед,
который он с охотой съедает,
что гостя, умница, искусствовед
имеет право молвить: — Он страдает!

И он страдал. Об острие угла
разбил он лоб, казня его ничтожность,
но не обрел достоинства ума
и не изведal истин непреложность.

Проснувшись ночью в серых простынях,
он клял дурного мозга неприличье,
и высоко над ним плыл Пастернак
в опрятности и простоте величья.

Он снял портрет и тем отверг упрек
в проступке суеты и нетерпенья.
Виновен ли немой, что он не мог
использовать гортань для песнопенья!

Его встречали в чайных и пивных,
на площадях и на скамьях вокзала.
И, наконец, он головой поник
и так сказал [вернее, я сказала):

— Друзья мои, мне минет тридцать лет,
увы, итог тридцатилетья скуден.
Мой подвиг одиночества нелеп,
и суд мой над собою безрассуден.

Бог точно знал, кому какая честь,
мне лишь одна, немного и немало:
всегда пребуду только тем, что есть,
пока не стану тем, чего не стало.

Так в чем же смысл и польза этих мук,
привнесших в кожу белый шрам ожога!
Уверен в том, что мимолетный звук
мне явится, и я скажу: так много!

Затем свечу зажгу, перо возьму,
судьбе моей воздам благодаренье,
припомню эту бедную весну
и напишу о ней стихотворенье.

*

Случилось так, что двадцати семи
Лет от роду мне выпала отрада
жить в замкнутости дома и семьи,
расширенной прекрасным кругом сада.

Себя я предоставила добру,
с которым справедливая природа
следит за увяданием в бору
или решает участь огорода.

Мне нравилось забыть печаль и гнев,
не ведать мысли, не промолвить слова
и в детском неразумии дерев
терпеть заботу гения чужого.

Я стала вдруг здорова, как трава,
чиста душой, как прочие растения,
не более умна, чем дерева,
не более жива, чем до рождения.

Я улыбалась ночью в потолок,
в пустой пробел, где близко и приметно
белел во мраке очевидный бог,
имевший цель улыбки и привета.

Была так неизбежна благодать
и так близка большая ласка бога,
что прядь со лба — чтоб легче целовать —
я убирала и спала глубоко.

Как будто бы надолго, на века,
я углублялась в землю и деревья.
Никто не знал, как мука велика
за дверью моего уединенья.

*

Я думаю: как я была глупа,
когда стыдилась собственного лба,
зачем он так от гения свободен!
Сегодня, став взрослее и трезвей,
хочу обедать посреди друзей.
Лишь их привет мне сладок и угоден.
Мне снится сон: я мучаюсь и мчусь,
лицейскою возвышенностью чувств
пылает мозг в честь праздника простого.
Друзья мои, что так добры ко мне,
должны собраться в маленьком кафе
на площади Восстанья в полшестого.
Я прихожу и вижу: собрались.
Благословляя красоту их лиц,
плач нежности стоит в моей гортани.
Как встарь, моя кружится голова.
Как встарь, звучат прекрасные слова
и пенье очарованной гитары.
Я просыпаюсь и спешу в кафе,
я оставляю шапку в рукаве,
не ведая сомнения пустого.
Я твердо помню мой недавний сон
и стол прошу накрыть на пять персон
на площади Восстанья в полшестого.
Я долго жду и вижу жизнь людей,

которую прибоем площадей
выносит вдруг На мой пустынный остров.
Так мне пришлось присвоить новость
встреч,
чужие тайны и чужую речь,
борьбу локтей неведомых и острых.
Вошел убийца в сером пиджаке.
Убитый им сидел невдалеке.
Я наблюдала странность их общения.
Промолвил первый:
— Вот моя рука,
но все ж не пейте столько коньяка.
И встал второй и попросил прощенья.
Я у того, кто встал, спросила:
— Вы
однажды не сносили головы,
неужто с вами что-нибудь случится!
Он мне сказал:
— Я узник прежних уз.
Дитя мое, я, как тогда, боюсь, —
не я ему, он мне ночами снится.
Я поняла: я быть одна боюсь.
Друзья мои, прекрасен наш союз!
О, смилуйтесь, хоть вы не обещали.
Совсем одна, словно Мальмгрен во льду,
заключена, словно мигрень во лбу.
Друзья мои, я требую пощады!
И все ж, пока слагать стихи смогу,
я вот, как вам, солгу иль не солгу:
они пришли, не ожидая зова,
сказали мне: — Спешат твои часы.
И были наши помыслы чисты
на площади Восстанья в полшестого.

Проза

ПОВЕСТЬ

Ярослав Голованов

Журнальный вариант. Полностью повесть под названием «Сувенир из Гибралтара» выходит в издательстве «Молодая гвардия».

ЗАВОДНАЯ ОБЕЗЬЯНА

«Гибралтар — единственное место в Европе, где на воле живут обезьяны».
Зоологическая справка.

Шестнадцатый день рейса

Ночью было так холодно, что даже здесь, на траверзе маяка Кинг-Грейс-Таун, спали под шерстяными одеялами. Траловая команда собиралась утром на корме в ватниках, а

ребята из машины ходили веселые: все одесские рассказы о шестидесяти пяти градусах у главного дизеля оказались дешевой травлей.

Такие погоды были неожиданны и удивительны: шел уже май, а маяк Кинг-Грейс-Таун — это как-никак уже Либерия...

Фофочка ежился во сне от холода и сырости, поджимал ноги, но не просыпался. Каюта № 64 с левого борта была самой первой по ходу траулера, и, когда задувало с берега, четверым в этой каюте доставалось больше всех. Нос «Державина» отворачивал на сторону синие пласты воды, ветер подхватывал их белые шипящие верхушки и швырял о борт. Очень редко ему удавалось попасть в открытые иллюминаторы каюты № 64. Но все-таки удавалось, черт побери!

Фофочка спал на верхней койке, Фофочке было хорошо. Юрка — внизу. Когда начинался потоп, первым просыпался Юрка.

На этот раз садануло прилично: не меньше ведра. Еще во сне Юрка облизал губы и, почувствовав горечь океанской воды, проснулся. По полу каюты, обегая три пары самодельных сандалий на толстом пенопласте, взад-вперед ходила маленькая волна. «Качает, зараза», — тоскливо подумал Юрка.

Наверху засопел Фофочка. Юрка не видит его, но знает, как спит Фофочка: свернувшись калачиком и чуть приоткрыв рот. Дитя. Он и бреется через три дня на четвертый. Да и то брить нечего, повозит, повозит «Харьковом» — вот и все бритье. И бритву не вытряхивает: нечего вытряхивать... А провожали его! Юрка помнил, как Фофочку провожали, как на пирсе целовала его мама в габардиновом плаще, и папа в габардиновом плаще, и какая-то тонконогая дева тыкалась носом в букет. Мама кричала:

— Вовочка! Ничего не ешь невымытого, там это очень опасно!

Ребята прямо падали со смеху, он сам стоял красный-красный, а она опять:

— Вовочка!..

Так сразу его и прозвали «Фофочкой»... А букет от тонконожки все-таки взял, появился с ним в каюту. Все эти цветочки-лепесточки завяли на другой день, но выбрасывать их Фофочка не давал. Потом уж Айболит отправил этот букет в иллюминатор... Но это уж за Сицилией...

Сон совсем убежал. Но вставать не хотелось. Да и рано вставать: в иллюминаторах только-только начинало голубеть. Юрка лежал, по горло закутавшись в одеяло, прислушивался к знакомым звукам траулера. Машину он не слышал. Машина и шипение океана за бортом составляли ровный, привычный и уже незаметный для уха фон, который не мешал всем другим звукам. Слышал он сопение Фофочки, ласковое журчание воды на полу, тонкий, едва различимый писк радиорубки, где работал Сашка. Иногда он ловил приглушенные шумы камбуза: голоса, позвякивание кухонного железа, — там готовили завтрак.

Юрка лежал еще долго и, кажется, начал уже дремать, когда вдруг все корабельные звуки разом изменились. Даже у Фофочки смешался ровный строй вдохов и выдохов: «Державин» сбавил ход до малого. «Значит, будут сыпать трал, — подумал Юрка. — Неужели ж опять ничего? Ну хоть бы тонн пять, для затравки». Он услышал, как далеко на корме глухо загрохотали по палубе бобинцы 1: трал уходил в воду.

1) Бобинцы — металлические пустотелые шары, прикрепляемые к нижней подборе трала, которые при его движении под водой идут по дну.

Юрка спустил ноги с койки, но, почувствовав пальцами лужу, отдернул их, словно на полу был кипяток. «Витя, идиот, открыл иллюминатор... Дежурный, называется, пускай сам и убирает теперь». Пододвинул ногой свои колодки, встал, оглянулся на Фофочку. Все, как по нотам: свернулся калачиком и открыл рот. Одеяло сползло, оголив чуть полноватые, в гусиной коже ноги Фофочки. Юрка поправил одеяло, Фофочка благодарно почмокал губами.

Вода на полу раздражала: в каюте Юрка любил порядок. Он достал большой жестяной совок и начал подбирать воду. Опрокидывая совок в иллюминатор, шепотом матерился. Потом обтер Витиной майкой мокрые уши вентилятора на столе, отряхнул капли с обложки «Королевы Марго» («Королеву» читал Фофочка), вывалил в бумажку консервную банку, полную окурков, и отправил кулечек в иллюминатор.

Потом Юрка застелил стол сухой белой бумагой, рулон которой хранился у него в шкафчике, взял мыло, зубную щетку, грязное вафельное полотенце, заскорузлое от горькой океанской воды, и пошел умываться. Возвратясь, он обнаружил, что одеяло опять сползло с Фофочки, укрыл его, надел штаны, робу и, стуча колодками, отправился смотреть трал.

«Державину» не везло. В первое траление, еще под Марокко, они разодрали на кораллах всю мотню¹, залатали, а через два дня снова зацепились и вовсе потеряли трал. Капитан психовал, его понимали и прощали. Первый помощник кричал, что траловая команда проявила политическую близорукость. Никто не понял, при чем тут эта близорукость, но все были здорово расстроены. И дело, конечно, не в трале. Главное — не было рыбы. Поднимали что хочешь, только не сардину, ради которой пришли сюда «под самую Африку». Радировали в Москву, в институт, специалистам. Специалисты запросили сводку погоды, температуру воды, рельеф дна, глубины — ну, просто целую научную работу надо было проводить. Однако им все сделали, послали. Специалисты молчали два дня, потом пришел ответ, что сардину следует искать на прибрежных банках с температурой воды 28 — 30 градусов. А под Дакаром, где утопили трал, было 24. У «Есенина» и «Вяземского» в Гвинейском заливе дела шли очень неровно: случалось, поднимали по двадцать тонн чистой, без примесей сардины, а случалось, что день-два ходили совсем пустые. Но все-таки кругом тонн по восемь у них набиралось. И температура воды была такая, какую придумали в Москве: плюс 29.

Капитан-директор «Державина» Павел Сергеевич Арбузов после небольшого совещания приказал идти в Гвинейский залив и тралить вместе с «Есениным» и «Вяземским».

«Державин» взял курс на юг. Они должны были встретиться с «Вяземским» и «Есениным» под Тако-ради. Но сегодня рано утром гидроакустик Валя Кадюков прибежал к капитану и сказал, что эхограф 2 пишет рыбу. И хотя Арбузов не любил путать переходы с ловом, он все-таки решил попробовать и дал команду сыпать трал.

1 Мотня — часть трала.

2) Эхограф — здесь прибор для определения местонахождения рыбы в открытом море.

Ночь стремительно превращалась в день. Умирал какой-то совсем не тропический, городской малокровный месяц. Только рожки у него кверху, в России так не бывает... На востоке широко и быстро разливалась лимонная заря. Берег Африки был милях в пяти, и Юрка хорошо видел темный лес, отделенный белой ниткой прибоя от темной воды. Кое-где над стеной леса поднимались верхушки каких-то исполинских деревьев, они уже увидели солнце и ярко горели в его лучах. Ветер, пахнувший мокрой землей, тянул с берега, гнал легкую зыбь. В темно-синей воде, у самого борта траулера, Юрка снова заметил маленькие косые плавники двух акул. Эти акулы шли с ними второй день. Когда Аня выливалась за борт помой, они, как собаки, бросались на хлебные корки. А может, это уже другие акулы...

На корме, несмотря на ранний час, помимо траловой команды, собралось довольно много народа: капитан Арбузов, старпом Басов, стармех Мокиевский, мастер рыбного цеха Калина и другое начальство, большое и помельче, и несколько зевак вроде Зыбина. Не было здесь первого помощника капитана Куприна, заболевшего как раз перед началом рейса и угодившего в госпиталь. Вместо него здесь был временно назначенный сюда из резерва

исполняющий обязанности первого помощника Бережной. Все ждали трал и одинаково смотрели на два стальных троса-ваера, бегущих с барабанов лебедки за корму в воду. Ваеры держали трал, и все смотрели на них, словно стараясь угадать в их неслышном звоне, каким будет улов. Ребята из траловой сидели пока, курили. Юрка подсел к Вите Хвату (хотел отругать за потоп), но успел затянуться только один раз, как услышал за спиной голос Бережного:

— Между прочим, Зыбин, есть инструкция, которую вы должны знать: во время траления тут находиться запрещается.

— Так я ж никому не мешаю, — примирительно сказал Юрка, — поглядеть охота...

— Инструкции пишутся не для того, чтобы их нарушали, — ответил Бережной громко, глядя прямо в глаза Юрке. — Идите на верхний мостик и смотрите оттуда, сколько хотите...

Прав Бережной. Кругом прав. Есть такая инструкция. И лишние люди на корме не нужны, это точно. Всякое может случиться. Может «убиться» ваер. А если рвется туго натянутый стальной трос, он может в один миг человека пополам перерубить: страшная в нем сила. Зацепиться можно за что-нибудь, руку сунуть под вытяжной конец на турачке 3, — это значит нет руки, и мало ли что еще придумать можно. Правильные, деваться некуда, какие правильные речи всегда у Бережного, а тоска от них... Вот ведь грубости не сказал, а вроде отругал, называл на вы, а кажется, что оскорбил. Оттого, что слова у него, как морские голыши, — круглые, холодные. Он их не говорит, а кидает в человека. И от каждого — синячок...

3) Турачки — боковые барабаны на траловых лебедках.

Юрка не пошел на мостик. Побрел обратно в каюту: досыпать. «Черт с ним, с Бережным, — успокаивал он себя. — Что, мне больше других надо? Пожалуйста, могу спать. Очень даже прекрасно. Согласно инструкции. Травой порастит эта корма. Ноги моей там не будет. Пускай начальство волнуется. Им за это деньги платят. Все. Финиш!»

Он успокаивал себя, как только умел, а чувство тоскливого одиночества не уходило. В каюте Юрка повалился, не раздеваясь, на койку, закрыл глаза. И в ту же секунду, словно там, в рубке, дожидались, когда он ляжет, из репродуктора внутренней трансляции раздался знакомый голос четвертого штурмана Козырева:

— С добрым утром, товарищи! Сегодня у нас понедельник, 11 мая 1959 года. Всем вставать!

Юрку почему-то раздражало, что Козырев никогда не забывал называть год.

«Та-ак, значит, Зыбин на мостик не пошел», — отметил про себя Бережной. И тралмейстер Губарев, и Кавуненко, и вот эти матросы, забыл фамилии, короче, все, кто сидел рядом и слышал их разговор, тоже видели, что Зыбин не подчинился, не пошел на мостик. Если каждый матрос будет такие демонстрации выделять, это будет уже не советский траулер, а шаланда или, как там ее... галера пиратская какая-нибудь. Я ему так, а он мне этак. Как это называется? Бунт. Маленький, но бунт. Зря, выходит, одернул? Нет, не зря. Хотя теперь вреда от этого, пожалуй, больше, чем пользы. А как надо было поступить? Вернуть Зыбина и отправить на мостик в приказном порядке? Но не может же он приказывать матросам смотреть или не смотреть, как вытаскивают этот чертов трал... Не вытаскивают, а поднимают. Надо все время помнить об этом жаргоне. Его уже поправляли. Мокиевский, стармех, объяснял, что корабль — это «единица военно-морского флота», а у них — судно. А когда он спросил однажды в кают-компании: «Когда мы доплывем до Гибралтара?» — все заулыбались, а Мокиевский опять поправил: «Не доплывем, а дойдем». Ужасно глупо, но ничего не поделаешь: надо осваивать. Одно дело улыбочки в кают-компании, там свои, там правильно поймут, другое — на палубе. Если на палубе начнут улыбаться, — пиши пропало...

Бережному вдруг очень захотелось показать всем вот этим, с сигарками в зубах, что он свой, рыбак. Да ведь он же и правда рыбацких кровей: отец ведь рыбачил... Он подошел к Губареву, спросил у него папироску? закурил из ладоней, помолчал некоторое время, потом вроде как бы в задумчивости поковырял ногтем краску на люке и спросил громко, чтобы слышали все:

— Надо бы шаровой покрыть, а?

Именно покрыть шаровой, а не покрасить серой краской.

— Да надо бы, — нехотя отозвался Губарев, — только его дня два рашкать придется, потом засуричить, а иначе слезет.

«Засуричить — это ясно, — быстро думал Бережной. — А рашкать? Зачищать, наверное...» И он сказал с легким вздохом:

— Эх, Владимир Степанович, дорогой, раз надо, — значит, надо. Кто же будет беречь наше судно, если не мы сами?

И сразу почувствовал: не то. Опять получилось как-то неловко, казенно, назидательно, совсем не так, как он хотел.

Губарев улыбнулся, встал, жадно затянулся напоследок, щелчком отправил за борт окуроч, но обратно к люку не пошел, сделал вид, будто его что-то интересует в лебедке. Кавуненко наклонился к Хвату, зашептал ему на ухо. Хват глупо осклабился. Все как-то словно отвернувшись от Николая Дмитриевича, не хотели замечать, казалось, все только и ждут, когда он уйдет.

«Вот бывает так, — подумал Бережной, — хочешь ведь как лучше, а оно наоборот... Ну, не раскисать! Не раскисать!.. Ерунда все это...» Он медленно сполз с люка, подошел к трапу, где стояли Арбузов, Басов, Мокиевский, рыбмастер Калина, акустик Кадюков.

— Ну что же, будем поднимать, а? — спросил он нарочито весело, широко улыбаясь и показывая этой улыбкой, что он доволен всем происходящим: четко и быстро спущенным тралом, коротким и деловым разговором с Губаревым, всей этой созданной и его усилиями здоровой, так сказать, атмосферой коллективного труда. Сейчас все тоже должны были улыбнуться. Он отлично знал этот свой тон, многократно выверенный, оптимистический тон, безотказно высекающий улыбки из самых каменных лиц. И он нравился сам себе, когда разговаривал вот так, бодрым, молодым голосом. Он уже готовился улыбнуться еще приветливее, отвечая на их улыбки, но с удивлением увидел, что напряжение в фигурах и выражение сосредоточенного ожидания в лицах этих людей не исчезли после его слов.

— Пора, пожалуй? — спросил он уже деловито, без удал, на ходу подстраиваясь к общему серьезному настроению.

— Рано еще, — не оборачиваясь, тихо бросил капитан.

И Бережной почувствовал по его тону, что опять сделал что-то невольно. «Все сегодня как-то не клеится, — подумал он. — А началось с этого Зыбина...»

Николай Дмитриевич за свои пятьдесят шесть лет повидал людей немало, с первого взгляда умел распознать, что за человек перед ним, чем дышит и куда смотрит. Юрка Зыбин не понравился ему сразу, а он очень доверял именно первому впечатлению. Юрка был щуплый, узкий в плечах, подстрижен «под ноль», но голова у него была не круглая, а шишковатая какая-то, плохо выбритая шея казалась издали грязной. У него торчали уши, и нос тоже как-то торчал.

Первый раз Бережной увидел его еще в Черном море. Было довольно холодно. Зыбин бежал по палубе пританцовывая, цокая колодками, весь съезжившись, втянув руки в рукава ватника. Ветер облеплял штанами его худые ноги. Уши были голубые и очень торчали. Он был похож на продрогшего беспризорника. При этом Зыбин еще пел на какой-то дергающийся мотивчик:

Африка ужасна, да, да, да,
Африка опасна, да, да, да,
Не ходите, дети, в Африку гулять...

«Этот под блатного работает, — сразу определил тогда Бережной. — Видали мы таких братишек в тельняшках». (Юрка был без тельняшки. Тельняшки у него никогда не было.)

Потом Бережной видел Зыбина на уборке в рыб-цехе, на корме, когда перетаскивали тару, как-то вечером в столовой, где крутили кино, и всякий раз этот матрос вызывал у Николая Дмитриевича какое-то неприятное, даже чуть-чуть брезгливое чувство своей неопрятностью, шишковатой головой, кургузым ватником, из которого красные худые руки торчали, точно обсосанные клешни, всем своим убогим, бедным видом. Он ловил себя на мысли, что ему хочется остановить Зыбина, сделать какое-нибудь замечание, сказать, чтоб он не ежился, не шмыгал носом, не пританцовывал, а ходил бы, как все ходят. Бережной понимал, что делать так не следует, и подавлял в себе это желание. Однажды он, правда, указал Зыбину, что ватник ему маловат, но указал по-дружески, по-товарищески.

— Так ведь не сам выбирал, — ответил Зыбин. — Какой дали, такой и ношу. Ателье ушло за горизонт...

Ответил небрежно, с ухмылочкой, словно не первый помощник капитана с ним говорил, а так, Петька какой-нибудь с соседнего двора. И сегодняшнее замечание было совершенно справедливым. Николай Дмитриевич не придирался. Нет, не придирался. «В конце концов я заботился о безопасности человека», — подумал Бережной и успокоился.

Капитан взглянул на часы и что-то тихо сказал тралмейстеру Губареву. Лебедка включилась рывком, визгливо на все лады заскрежетала шестернями. Ваеры дрогнули, поползли. Если не смотреть на барабаны, очень трудно уследить глазами, ползут они или нет. Через каждые пятьдесят метров к ваеру был привязан лоскут-заметина. Только когда он выныривал из воды и медленно приближался к лебедке, было видно, что ваер движется.

Витя Хват стоял на своем месте, у правого вытяжного конца, и считал заметины. Вот пошла восьмая. Значит, за бортом осталось 50 метров. Значит, рыбы в трале нет. Это точно. Кавуненко говорил, что трал с рыбой всплывает. А этого что-то не видно... Так и есть: пустой. В мотне килограммов двести, от силы. Да и те двести — это не рыба, «зверинец»...

Все молчали. Губарев повернулся, зашагал в столовую.

— Где Кадюков? — громко спросил капитан. Гидроакустик, только что стоявший рядом, исчез. «Не хотел бы я сейчас быть на месте Кадюкова, —

подумал Хват, — понадергает ему Арбузов перьев из хвоста за его прогнозы...»

Только что поднятый на кормовую палубу трал был из тех, которые на «Державине» называли «зверинцем».

Из мотни на палубу широко и густо выдавилась, затрепетала под солнцем удивительная своей слепящей металлической пестротой, еще трудно делимая глазом масса живых существ. Она растекалась к ногам людей стремительно и тяжело, как лужа ртути. Природа никогда не смогла бы собрать в пространстве столь малом все это разнообразие живых и мертвых тел. В тесном переплетении их, вырванных из океана, задавленных, брошенных под эту смертельно яркую голубизну земного света, было что-то противоестественное, отталкивающее, зловещее. Некоторые рыбы дробно бились в лихорадочном исступлении, туго выгибаясь и подпрыгивая; другие, дернувшись несколько раз, припадали к горячему мокрому дереву палубы и тихо скользили в слизи и крови, стараясь пробиться к спасительной воде; третьи, уничтоженные блеском дня и ядовитыми глотками жаркого воздуха, были неподвижны и покорны в ожидании гибели, лишь дрожь жабер отличала их от мертвых, с потухшими, подернутыми синей дымкой глазами, смотревшими в бездонную пустоту, сквозь людей, облака и самое небо.

Сашка Косолапое сдал вахту на радиостанции и сразу пошел «а корму. Еще с мостика, оценив многоцветье палубы, он понял, что сардины снова нет, и, метнувшись вниз по трапу, подошел к Хвату, разглядывавшему рыбу.

Чего ж тут только не было! Большие морские караси с рубиновыми глазами, вытаращенными в тупом испуге, блестели жарко, как самовары. Из их грубо отвернутых ртов, между белыми собачьими клыками, торчали вороненные хвосты ставриды: так малые рыбы душили в тесноте трала рыб больших. У некоторых рот был забит розовыми от крови дыхательными пузырями: их подняли слишком быстро, и потерянная глубина вывернула изнутри их крепкие, сильные тела. Белобрюхие скаты, растерзанные, измятые, с неживыми шипастыми хвостами, выглядели, наверное, самыми жалкими, и нельзя было поверить, что лишь несколько минут назад они легко и стремительно летели там, в сумраке прохладной глубины, чуть шевеля концами тонких крыльев. Рядом извивалась, дико сверкая зелеными глазами, небольшая акула. Ее пасть то раскрывалась, то сжималась, беззвучно кусая воздух, и в этом немом ритме была такая неистовая, дикая злоба, что смотреть на эту созсем маленькую акулу все равно было страшно.

— Ишь, тварь, — тихо сказал Витя Сашке, — тоже жить хочет.

Он присел на корточки и дернул акулу за хвост. Потом сунул ей в зубы ставридку. Акулка полоснула зубами, перерубила рыбу аккуратно, без рванья, словно бритвой.

— Во, молотит! — восхищенно сказал Хват и, пнув сапогом рыблю грудю, спросил Сашку: — Гляди, никак осьминог?

Осьминога вытащили впервые. Грязно-оранжевый, с липким, бледным брюхом и розовыми пуговицами присосок, спрут крепко приклеился к палубе шестью своими щупальцами, а двумя свободными легкими, вороватыми движениями быстро ощупывал рыбу вокруг себя. Сашка тронул его рукой. Осьминог цепко оплел запястье, потянул к себе. Сашка почувствовал нежные поцелуи десятков маленьких ртов.

— У-у, сучья лапа, — брезгливо сказал Хват и цыкнул плевком меж зубов.

Сашка легонько тряхнул рукой, но осьминог не отпускал. Сашка дернул сильнее — осьминог не поддавался. Было немного противно, но интересно. Сашка покорно расслабил руку, спрут третьим щупальцем повел выше, к локтю и вдруг разом отпустил.

— Это он волосы учуял, — пояснил Хват. — Непривычно ему... Рыбы-то, они без волос...

— Думаю, что это не так, — очень серьезно сказал Айболит. Корабельный доктор тоже был здесь и с живым любопытством следил за осьминогом. — Думаю, что его смутила высокая температура руки. Ведь теплокровные живые существа ему незнакомы.

— И волосы тоже, — отстаивал Витя свою гипотезу.

— Нечто похожее на волосы, всевозможные жгутики, ворсинки, ему, безусловно, известны. Поэтому они не могли испугать его, — возразил Айболит.

Разгорался спор. Ничего так не любил Айболит, как споры на естественнонаучные темы...

На корме, совсем недавно напряженно молчаливой, сейчас при виде редкостных находок то здесь, то там раздавались возгласы удивления. Невиданных рыб окружали, оценивали, сравнивали, если было возможно, со «своими», черноморскими, смеялись, находя некоторых похожими на кого-нибудь из общих знакомых, дивились невиданным формам и краскам тропиков. Стало шумно и весело.

Вдруг что-то загрохотало, что-то железное заколотилось о палубу. Витя, Сашка, Айболит и все, кто стоял рядом, обернулись и увидели сияющего счастливой улыбкой Сережку Голубя. К хвосту маленького акулёнка он привязал консервную банку. Акулёнок выгибался колесом, силясь перекусить короткую веревку, не доставал, сатанея от бессильной ярости, бил хвостом, банка грохотала. Голубь был в восторге. Он поднял акулёнка за веревку, раскачал и с громким криком: «Эй-я! Гуляй милая!!» — швырнул за борт.

— Шпана, — тихо, но так, что услышали все, сказал Ваня Кавуненко.

Голубь принял это замечание на счет акулёнка.

— Ничего, подрастет! — заорал он. Кавуненко улыбнулся невесело.

Хват тем временем нашел красивую рогатую ракушку и сразу сообразил, как ее можно использовать.

— Выкурим оттуда этого жмурика, — деловито объяснял он Сашке, тыча пальцем в моллюска, — вычистим и сделаем пепельницу. Все покультурнее консервной банки, скажи?

— О! Эта ракушка называется роговидный мурекс, — вставил Айболит радостно.

Сашка разыскал другую диковинку: толстую колючую рыбу с маленьким ртом и большими круглыми глазами.

— Это рыба-сова, — снова с готовностью прокомментировал Айболит.

Витя осторожно, чтобы не уколоть ногу, разгреб колодкой груды рыбы. Ничего особенно интересного не было: сопливые каракатицы, измазанные чернилами; красные, утыканные ядовитыми иглами морские ерши; несколько маленьких акул; скользкая, тяжелая, словно налитая металлом, скумбрия; сабля-рыба, ее змеиная, вытянутая вперед голова неаккуратно, наспех приставлена к слабому, плоскому телу. И казалось, что голова эта принадлежит ей по ошибке, не для такого туловища предназначалась голова. «Сабля» у Юрки есть. С проволокой внутри. Гнется, как хочешь...

Витя гребанул дальше и увидел огромный, в ладонь шириной, рачий хвост.

— О це экспонат! — пропел Хват, осторожно поднимая рака.

— Лангуст! — засуетился Айболит. — Вот это чудело будет просто изумительное! Осторожно, не обломите ему усов! Красавец! Красавец!

Усы, действительно, были на диво, сантиметров по шестьдесят каждый.

Рака окружили, щупали, считали ноги, искали клешни.

— Эх, нет на него пива! — искренне вздохнул Кавуненко.

— Это точно, — с готовностью поддакнул Голубь. — С таким в обнимку кружек шесть умнешь. В парке. Под грибком...

Вдруг лангуст, доселе лишь тихо шевеливший усами, сильно и звонко ударил хвостом. Витя от неожиданности выпустил его, рак шлепнулся на палубу, секунду лежал неподвижно, потом повел усами и пошел неожиданно быстро, метя поближе к слипу, к воде.

Витя поспешил за лангустом и уже нагнулся, чтобы взять, но в этот момент чья-то рука, ловко схватив рака за усы, выдернула его из-под самого Витино носа.

Никто и не заметил, как подошел капитан-директор.

— Кончай базар! — раздраженно сказал Арбузов. — Две корзины на камбуз, остальное — в шнек... — Он повернулся и зашагал к трапу.

Лангуст хлопал хвостом, сам раскачивался под этими ударами, но Арбузов держал его крепко.

— Досадно, — рассеянно сказал Айболит.

— А у капитана теперь своя коллекция будет. В животе! — хихикнул Голубь.

Никто не улыбнулся. Все сразу притихли, стали расходиться с кормы. С камбуза пришла Анюта, и Витя с Сашкой выбирали ей рыбу.

Когда вторая корзина наполнилась рыбой и Анюта нагнулась к ручке, Сашка остановил ее:

— Или мужиков у нас нет? — молодежато, с наглой улыбкой глядя на нее, спросил он и, обернувшись к Кавуненко, крикнул: — Эй, Ваня, подсобите девочке!

На берегу Витя Хват был шофером, возил директора стройкомбината. Работа — не бей лежачего. С утра директор торопился в обком или в совнархоз. Это у него называлось «съездить обменяться». Пока он «обменивался», Витя досыпал, а доспав, вылезал из машинной духоты, потягиваясь, пинал сапогами скаты и снова ложился, теперь уже на заднее сиденье — читать газеты. После обеда ездили на объекты. «Надо забежать!» — как всегда, говорил директор. По дороге Витя рассказывал директору, что нынче пишут в газетах: директор очень всем интересовался. На объектах директор застревал надолго, носился по лесам и лаялся с прорабами. Витя курил в тени (после обеда кузов очень

накалялся), иногда читал книжки, иногда подбрасывал кого-нибудь неподалеку, если директор просил подбросить. В августе Витя пересаживался на «ЗИЛ-150» и катил на уборку. Там вообще была лафа, кормили: ешь — не хочу, опять же купание, загар, вечерами — в клуб на танцы, а после с девками в стога. Колхозы тут были богатые, «маяк» на «маяке», и в редком колхозе не было у Хвата «невесты».

В рейс на «Державине» сманил его сосед Сережка Голубь. Витя все «соображал» через свой гараж списанную «Победу», все искал случая подколотить. Без этого скопить денег не было никакой возможности. Отец Вити был мужик цепкий, всю зарплату сгребал дочиста. Хорошо, если тридцатку выдаст. А если купить что, — покупал сам. Выбирал долго, все щупал, мял в руках, у материй нитку жег, нюхал... Редкие «левые» рейсы доход давали ерундовый, «невестам» на шоколадки. А тут дело было как будто верное. Голубь ходил в прошлом году на сардину, привез за четыре месяца чистыми семь тысяч, да четыре ковра из Гибралтара, которые загнал за полторы тысячи. Это каждый за полторы! Вот и считай!

Когда Витя решил идти в рейс, он начал директору намеки подавать, но директор и слышать не хотел, уперся — ни в какую. Витя понял, что директора голыми руками не возьмешь. Но и ссориться с ним он очень даже не хотел: ведь от директора зависела «Победа». Подумал — придумал. Пришел в горком комсомола: так, мол, и так, желаю — и баста! По велению сердца! Выписали Вите «комсомольскую путевку» на траулер.

— Ловкач, черт! — кричал директор комбината. Он очень торопился и, не читая, черкнул поперек Витиногo заявления: «В бух.» и еще что-то, что невозможно было разобрать.

На базе Гослова путевка его никакого особенного действия не возымела. Велели, как всем, заполнить анкету, пройти медкомиссию и сфотографироваться без головного убора и желательнo в галстукe.

Когда узнали дома, мать, понятнo, плакала. Отец ходил черной тучей, но молчал. Витя помянул про «Победу», быстро добавив, что никаких денег он не просит, объяснил, что с машиной в хозяйстве будет большая выгода: кабанчика прихватить из района, мешок-другой картошки, — все дешевле, чем на базаре. А расход какой? Да никакого! Бензина и масла в гараже залейся! А траулер — дело стоящее. Опять же харч бесплатный. И спецовку дадут. Отец прикинул все и одобрил. А когда Витя написал ему доверенность на зарплату, которую во время плавания выдавала семьям база Гослова, прямо растрогался, даже пол-литра купил, что делал редкo, только тогда, когда звал в дом нужных людей. Так и порешили: зарплата в дом, а пай с рыбы и шмотки, какие привезет на валюту, — это все на машину.

Недели через три началась погрузка. Витя вперед не лез, но и не «сачковал» — тушевался, приглядывался к народу. А когда отвалили, всех стали распределять по местам. И тут Витя узнал, что он матрос первого класса, записан в траловую команду, в бригаду Ивана Кавуненко. Чудеса!

Работа в траловой Хвату нравилась. Палубная команда уродовалась целыми днями: тару таскали то в трюм, то снова из трюма, палубу мыли, надстройки разные красили. А траловая была пока в глубоком перекуре. Ну, лебедки проверили, чалили концы, потом, когда порвались, чинили трал. Но это была работенка сидячая, «итээровская». За все время трал спускали от силы раз десять. И хлопот с ним было не много: рыба не шла. Ну, да Витя и не очень огорчался: известное дело, солдат спит, служба идет — база зарплату платит.

Не успел Юрка после завтрака выйти на верхнюю палубу, как по внутренней трансляции объявили команду: «Резнику, Голубю и Зыбину явиться в жирo-мучной цех». Это просто анекдот: сел на корме — «иди на мостик», ляжешь — «всем вставать», пошел на палубу — «явиться в цех». Он снова спустился вниз. В коридоре, рядом с каютой № 64, находился его шкафчик с грязной спецодеждой. (Со шкафчиком ему повезло: внутри

проходила какая-то всегда горячая труба, и это очень помогало сушить портянки.) Юрка переоделся в грязное и пошел на вахту.

Когда он спустился в кормовой трюм, где помещался жиромучной цех, или попросту мукомолка, дед Резник, его бригадир, был уже на месте. Он сидел на табуретке у пресса и курил трубку. Юрка любил поговорить с дедом, послушать его байки. Правда, дед часто ругал нынешнюю молодежь, но у него это получалось интересно и не зло.

— Где Голубь? — спросил дед, завидев Зыбина.

— Не знаю, — ответил Юрка и сразу понял, что дед злится и никаких баек не будет.

— Хоть пять минут, а урвет, — сказал дед и сплюнул.

Юрка промолчал.

— Сафонов в прошлую смену дал тысячу двести килограммов. Восемь раз пресс заряжали. Это работа! — Дед говорил, не глядя на Юрку.

Юрка опять промолчал.

— Что молчишь?

— А чего говорить? Ну, дали тысячу двести килограммов. Ну и что? В зад их теперь целовать?

Дед снова сплюнул и, придавив желтым пальцем уголек, запыхтел трубкой. Дым тянулся синими языками к решетке вентиляции. Сидели молча.

Дед Резник — самый старый матрос траулера. У него самая вонючая трубка на борту, синяя от наколов грудь и золотая серьга в ухе, право на которую дед получил в одна тысяча девятьсот девятом году за проход пролива Дрейка. Дед дважды прошел Северным морским, раз двенадцать через Суэц, был во Фриско, Веллингтоне, Сингапуре, даже в Вальпараисо был. В тридцать седьмом ходил в Испанию. Ночью под маяком Тедлис итальянский эсминец пустил им торпеду в правый борт, а следом — еще одну. Потом дед Резник валялся в госпитале в Алжире с поломанными ребрами больше месяца. Наконец француженки — молоденькие канареечки из Красного Креста — догадались подарить всем спасенным по костюму и отправили их на «Куин Мэри» в Марсель. Первый раз в жизни Резник шел пассажиром. Это было так дико, что дед не выдержал и спросил разрешения сходить в машину. Машина была что надо. Одно слово — лайнер.

Потом был Марсель, набежали репортеры в кепках, и дед совсем ослеп от магниевых вспышек. В Париж они ехали через Лион и еще какие-то другие города помельче. И везде встречали. Экспресс пришел в Париж ночью. Сколько было тут цветов! Толпа раненых испанцев размахивала белыми култьями и зычно не то пела, не то кричала что-то. И Резник кричал и пел. Тогда казалось: Испанию не сломить... "<

Их поселили в большой гостинице, каждого в отдельном номере. И ванна. Как у капитана. Показывали Париж, башню, картины и стену Коммунаров. Резнику доверили класть венки. В Париже в тот год была всемирная выставка, и было приятно смотреть, как наши «ЗИСы» окружила толпа и какие-то рабочие парни ползали на коленях, заглядывали под машины, щупали их, руки Резнику жали. А Резник думал о том, что, обойдя весь земной шар, он до сих пор не видел ни одной страны по-настоящему... Через три года, когда пал Париж, он все думал, где же эти люди, что с ними.

Никогда, ни вслух, ни про себя, не говорил он о пролетарской солидарности, но чувство близости к тем молоденьким французам затвердело теперь в его сердце. Было у них одно общее трудное дело — гнать немца со своей земли. Никто не спрашивал, почему он остался в Севастополе и откуда у него винтовка... Уже в сентябре он ел кашу во дворе маленького домика на Корабельной стороне, когда началась бомбежка и от первой же бомбы — точно в домик — деда прямо с котелком так засыпало землей, что он решил помирать. Однако погодил... Когда пришли немцы, дед снял золотую серьгу и ушел в горы. После победы плавал, так, ерунда, в малом каботаже а с сорок восьмого обосновался на берегу как будто прочно, «стал в сухой док». Должность имел приличную: механиком на холодильнике. Тут вернулся с китайской границы сын. По всем правилам сыграли свадьбу. Потом Иринка

родилась, внучка. («Грешно говорить, но навряд ли есть где еще такая смышленная девчонка...») Все бы, кажется, хорошо, но вот услышал, что ребята идут под Африку за сардиной, и сорвался.

Был дед Резник уже крепко стар, молчалив и редко рассказывал о своей жизни, все больше случаи, байки. Об Испании и всем прочем Юрка узнал не от него, а от Вани Кавуненко, бригадир траловой, который на берегу был деду сосед.

1 Малый каботаж — сообщение между отечественными портами одного и того же моря.

Голубь слетел по трапу с шиком — на одних руках.

— Кончай перекур! — заорал он. — Америку по дыму, что ли, обгонять будем! Становись!

— Сафонов тысячу двести килограммов дал, — сказал Юрка.

— Плевал я на вашего Сафонова! Дурак, он и есть дурак! Задание знаешь? Пятьдесят тонн. Перевыполнить надо. Дадим сто двадцать процентов. Но не больше, понял? Иначе навесят в следующий рейс тонн сто пятьдесят. Или пай за муку скосят. И баста! Вот тогда скажем Сафонову спасибо за его рекорды!

«Прав ведь он, черт», — подумал Зыбин.

— Ты считать сюда пришел? Арифметику крутить? — медленно спросил дед Резник.

— А как же не считать?! Социализм — это учет. Ленин сказал.

— А по шее за такой учет не желаешь? — вскипел дед.

— Кончай, дед, — вступился Юрка. — Торжественное заседание объявляю закрытым. Начинается концерт...

Дед что-то бурчал, но гул близкого гребного винта заглушал его слова. Встали по местам.

— Давай! — Зыбин махнул рукой, и Голубь нажал красную кнопку на распределительном щите. Из желоба потекла мука. Запах, к которому вроде бы уже привыкли, остро ударил по глазам.

— Стой! — крикнул дед.

Желтая струя иссякла. Дед разровнял рукой муку в прессе, и в тот же миг Юрка набросил прокладки — металлическую и шерстяную. В пресс входит сразу 150 килограммов муки, и прокладки делят эти 150 килограммов на брикеты. Ну, есть еще такие леденцы: колесико к колесу — леденцовая палочка. Так и тут.

— Давай! — командует Резник.

Потекла мука. Дед чуть-чуть трамбуется муку рукой. Голубь уже не смотрит на деда, сам нажимает, когда надо, Юрка кидает прокладки ловко, точно, и сразу без команды мотор: жи...и — пошла! У деда руки рыжие от муки, пальцы бегают, ровняют, а Юрка — шлеп, шлеп прокладки и уже новые готовит. И мотор снова: жи...и! И снова, и снова, и вдруг — полно! Дед закрыл пресс и — к вентилям насоса. Юрка и Сергей уставились на манометр. Стрелка дергается, капризничает, но тянет вправо: 50, 100, 150 атмосфер, до цифры 200 идет резво, а потом тяжело. Снизу закапало, сильнее, сильнее, и полилось черными густыми струйками: рыбий жир. Из него мыло делают на большой земле, а детям который — то другой, тресковый, светлый. Стрелка приползла к 410, даже, если с дрожью, — к 415. Дед сбрасывает давление, отпирает пресс. Поршень выдавливает брикеты. Они идут сперва плавно, потом вылетают — трах! — как выстрел, а Голубь уже надел брезентовые рукавицы (чтоб руки не пекло), тащит брикеты на весы.

— Обожди, дай прокладку отодрать! — кричит ему вдогонку Юрка.

— Ничего, довесок будет! — скалит зубы Голубь.

— Я те покажу довесок, — уже весело говорит дед Резник, — чтобы без обману у меня!..

— Сто пятьдесят три! — орет Голубь с весов. — Накрылся ваш Сафонов!

— Ты давай нажимай! — кричит Юрка, и Голубь снова у щита, нажал кнопку, пошла мука: новая загрузка.

Все так споро получалось у них, так красиво двигались они в этой бедной и грязной одежде, сами радостно чувствуя свою ловкость и хватку, таким веселым умом светились их глаза, что казалось, будто это совсем другие люди, вовсе не похожие на тех неуклюжих, медлительных, которые равнодушно матерились и лениво курили здесь час назад.

Дверца пресса захлопнулась, и они опять смотрели на стрелку, подталкивали ее глазами. А стрелка дергалась и дрожала, словно ей было невыносимо тяжело, словно это она сама прессует муку... Потом Голубь снова таскал брикеты на весы. Они были такие ладные, горячие и пахли, ей-богу, даже приятно, и дед, когда смотрел на них, улыбался, а Юрке казалось, что это вовсе не брикеты рыбной муки для скота и птицы, а караваи из печи: такие они были горячие и ладные. И, как всегда от горячего хлеба, Юрке захотелось отломить от брикета кусочек и съесть, вкусно и сильно сжевать, чтобы запишало за ушами. И он улыбнулся деду Резнику и хлопнул Голубя по спине: «Нажимай». Теплое чувство неосознанной благодарности к этим людям и даже какой-то влюбленности в них стыдливо искало у Юрки выхода в этих улыбках и шлепках. Он чувствовал: что-то, что выше любых союзов родства и крови, связывало их сейчас.

Сушильные аппараты дышали жаром. Скинули робы, а потом Сергей с Юркой даже майки. На блестящих от пота телах мучная пыль темнела, струилась зеленоватыми подтеками, жгла кожу. Когда включали пресс и была минута передышки, они подходили к бачку и пили солоноватую газировку. О, как это вкусно — газировка у сушильных аппаратов в полдень на траверсе мыса Пальмас, что-то около пяти градусов северной широты!..

После каждой загрузки дед Резник ставил мелом на дверце пресса крестик, а они все грузили и грузили и таскали на весы брикеты, и на дверце все прибавлялись эти крестики, — ну, прямо целое кладбище. Они старались не смотреть на них и не считать, но украдкой считали и грузили, грузили снова и снова, пока вдруг не увидели рядом с прессом бригадира Путинцева и Путинцев сказал, что смене его пора заступать, а им самое время идти обедать. Дед громко пересчитал заметины. Десять.

— Шабаш, — сказал дед.

— Тысяча шестьсот верных, — закричал Юрка, — а то тысяча семьсот!..

— Не лезь в чужое дело, — перебил дед. — Вон у нас мастер считать. — И он улыбнулся Голубю.

Голубь сплюнул, промолчал. Зыбин сказал Путинцеву:

— Ну, Коля, теперь, как в песне: старикам почет, молодым — дорога...

Когда это началось? Пожалуй, с того случая на ТЭЦ, когда провалили подготовленного им парторга... Нет, наверное, еще раньше, когда на силикатном этот чубатый закричал на весь цех: «Это мы в газетах читали, грамотные! А если по существу...» — и понес. Не было такого никогда. Чего-чего, а собраний он повидал! Раньше, бывало, собрание как собрание. Приедешь, поприсутствуешь, поговоришь с народом. А теперь странно как-то. Не поймешь, ты ли с ними говоришь или они с тобой... Ну, в общем-то, он, конечно, понимает: дух времени, так сказать. Да и как можно не понять? Что ж он, против ленинских принципов руководства, коллегиальности или там инициативы масс? Ни боже мой! За все двумя руками готов голосовать. Да и как от жизни может отстать? Не он, что ли, делал сам эту жизнь, вот этими своими руками?! Но одно дело — ленинские принципы, а другое дело — панибратство. Одно дело — инициатива, другое — партизанщина и демагогия. Коллективизм коллективизмом, но ведь такой бывает коллективизм, что на шею сядут. А пережитки? А родимые пятна? Ведь есть же они! Вот Зыбин... Кажется, куда уж, не при царе родился...

Мысли Николая Дмитриевича снова вернулись к траулеру.

Халтуры много. Все норовят тят-ляп, на соплях. На соплях в коммунизм не въедешь. Трал потеряли — и хоть бы что, как с гуся вода. Твердая нужна рука. Вот ударить бы за трал

рублем или этими... как их, фунтами этими, валютой, небось, все кораллы мигом бы со дна исчезли. Знаем мы эти «кораллы», не маленькие! Науку крутят, телеграммы академикам шлют. Наука — вещь, конечно, хорошая, никто не спорит. Но что ж он, не понимает, для чего эти телеграммы? Защитничков себе в Москве ищут...

Бережной тяжело поднялся, встал. Мягко щелкнула дверца холодильника. Достал потную бутылку, налил в стакан феодосийской минеральной. Не успел допить, как покатались со лба крупные капли пота. Душно.

На берегу все рассказы о путине в тропиках были одинаковы: двадцать, тридцать, надо — так и сорок тонн рыбы в сутки. Рейс представлялся Николаю Дмитриевичу многодневным авралом, и он старался предугадать все, что могло помешать этому авралу, сбить его темп. Впрочем, при чем тут тропики, море. Если честно взглянуть фактам в глаза, всякий раз, когда случался прорыв, причина была одна: разболтанность людей. И это все едино, где прорыв: на траулере или на стройке, в тропиках ли, на Севере ли.

Жизненный опыт Николая Дмитриевича — а в трудных случаях он прежде всего обращался к опыту прежних лет — подсказывал, что надо искать и найти как можно быстрее главный, «стержневой» недостаток, нарушение или ошибку, которые мешали делу течь по заранее означенному им, Бережным, руслу. Он понимал, что надо «подкрутить гайки», но не мог отыскать места, где их надо было подкручивать. Одно время ему казалось, что во всем виновата траловая команда. Да и факты: порвали трал, потом вовсе потеряли... Но вот уже неделю траловая работала хорошо... Ну, неплохо — так скажем! — а рыбы не было. Бережной устроил ревизию гидроакустикам, два дня сам не отходил от фишлупы, предложил свою методику поиска. Кадюков терпеливо растолковывал ему все недостатки этой методики. И хотя он здесь вроде первый помощник, он согласился: коллегиальность так коллегиальность, как ни крути, а они специалисты. Конечно, может быть, и они где-то путают, даже наверняка, но, честно говоря, и в их работе не нашел Бережной объяснения неудачам путины. Не было рыбы. Ни разу в цеху рыбообработки не проработали три вахты подряд. Основа успеха — трудовой ритм — нарушалась повсеместно, а если по совести говорить, и вовсе не было никакого ритма. И в кают-компании, по его мнению, относились к этому как-то даже равнодушно. Он попробовал было заговорить со стармехом Мокиевским.

— А кто виноват в землетрясении? — спросил стармех. — Человеческое невежество. Если бы мы могли управлять землетрясениями или, на худой конец, предсказывать их, — все было бы отлично. Рыба — по существу, то же самое...

Радиограммы с «Вяземского» и «Есенина», в которых капитаны жаловались на тощие уловы, казалось, должны были бы несколько успокоить Николая Дмитриевича и вернуть уверенность в себе, но он все равно не мог поверить до конца, что все его хлопоты и усилия бессмысленны и тщетны. Именно поэтому голосовал он за переход в Гвинейский залив. Переход олицетворял для него поиск, дело, активное боевое начало, а дрейф под Дакар — пассивное ожидание и смирение. Он допускал, что переход этот мог ничего не дать. Но зато будет сохранен наступательный дух коллектива, который был для него дороже зряшно ухлопанного времени и тех тонн солянки, которую пожгут, пока доберутся до Тако-ради. Про себя он называл этот переход «работой, необходимой в новых условиях». Эти «новые условия» определялись, по его мнению, праздностью и упадком духа, вызванными неудачами путины. Энергия, так умело накопленная им в людях за время перехода к берегам Африки, рассеивалась, обнажая опасную апатию и иждивенческие настроения. Люди представлялись Бережному электрическими аккумуляторами, которые он зарядил и которые сейчас медленно «садились», так и не употребив на пользу свою силу. Срочно была нужна новая подзарядка. Короче, требовался взрыв энтузиазма. И в последние дни Николай Дмитриевич мучился мыслью, как это сделать получше, поумней, все прикидывал и никак не мог изобрести для такого взрыва пороха. И вот наконец случай представился.

За ужином поймал Бережной фразу, невзначай брошенную Мокиевским.

— За муку я спокоен, — говорил стармех. — Сафонов запрессовал за смену 12 центнеров, а дед Резник и того больше, около 16 центнеров... И мука хорошая, такая не загорится, тут я спокоен, мука будет...

Бережной промолчал, но сразу заторопился, отказался от чая и даже чуть не встал из-за стола без разрешения капитана, что считается нарушением морской этики и расценивается как бестактность и дурной тон.

Возвращаясь в свою каюту, Николай Дмитриевич сразу сел за письменный стол. Писал около часа. Потом позвонил четвертому штурману Козыреву, спросил, как имя и отчество деда Резника. Козырев не помнил, но у него хранились судовая роль и картотека личного состава, и вскоре обнаружилось, что деда зовут Василием Харитоновичем. Бережной записал. Потом позвонил на мостик и попросил вахтенного срочно вызвать по внутренней трансляции Резника к нему в каюту.

Команда тем временем уже отужинала, и в столовой крутили «Подвиг разведчика». Дело шло к концу. Разведчик крался к сейфу с важными фашистскими документами. В замке сейфа была такая штучка, которая включала сирену тревоги, как только начнешь отпираться сейф. Дед Резник несколько лет назад видел этот фильм, помнил все наперед, а если бы и не помнил, то мог сообразить, что разведчик наш обязательно останется цел и невредим, и все-таки волновался. «Вот сейчас сунет ключ, и пропал», — мысленно дразнил себя дед, испытывая какую-то сладкую тревогу за разведчика.

— Бригадиру жирно-мучного цеха Резнику срочно явиться в каюту первого помощника, — бесстрастно сказал репродуктор.

Дед чертыхнулся шепотком и, низко пригибаясь, чтобы не попасть головой в луч проектора, стал пробираться к выходу сквозь голубовато мерцающую в прерывистых отсветах толпу рыбаков, стоявших, сидевших и лежавших в столовой.

Подойдя к двери каюты № 24, дед постучал тихо и интеллигентно, костяшкой согнутого пальца.

— Да-да! Прошу, — раздалось в ответ, и Резник вошел в каюту первого помощника. Николай Дмитриевич поднялся из-за стола неожиданно ловко для своей полнеющей уже фигуры, шагнул навстречу.

— Прошу, прошу, Василий Харитонович, — сказал он тем бодрым, молодым голосом, который сам так любил, крепко пожал руку. — Садитесь, располагайтесь, — и широким жестом повел в сторону дивана.

Дед удивился, откуда это Бережной знает его имя и отчество. Обычно он называл всех «товарищ» и по фамилии. А тут... Деду это понравилось. Он оглянулся без робости и сел на стул. Приятно было посидеть на стуле: в каютах матросов стульев не было. Дед чуточку волновался, потому что никак не мог понять, зачем он понадобился первому помощнику. По встрече и обращению он чувствовал, что ругать сильно не будет. «Да ведь и не за что, по правде если...» — подумал Резник и совсем успокоился.

— Закуривайте. — Николай Дмитриевич с улыбкой протянул Резнику коробку «Казбека». Дед бережно, как живое насекомое, вытащил папиросу, не спеша помял в желтых пальцах, сдал мундштук и принял от Бережного огонь. Закурили.

— Слыхал, слыхал про ваши дела, — вздохнул Бережной со второй затяжкой. — Молодцом! Прямо скажу: молодцом!

Дед не понял, но виду не показал, на всякий случай с достоинством потупился.

— Ну, рассказывайте, как дело-то было. — Николай Дмитриевич придвинулся поближе к Резнику.

Дед понял, что как-то надо исхитриться и все-таки ответить: Бережной припер его к стенке.

— Да, что ж... Дело наше такое, рыбацкое, как говорится... Чего ж тут рассказывать, — все с тем же достойным смирением туманно пояснил дед.

— Скромничаем? — улыбнулся Бережной. — Скромность — это хорошо, но в меру! Побили, значит, Сафонова? Рекорд, а?

«Вон о» о чем!» — с облегчением подумал дед. Он никак не ожидал, что речь пойдет о последней вахте в мукомолке, необыкновенное и прекрасное слово «рекорд» показалось ему настолько несоответствующим делу, что Резник сразу решил: Бережной что-то путает.

— Да нет... Какой же рекорд... Ребята, конечно, старались, но рекорд... Какой же это рекорд?

— Шестнадцать центнеров? — быстро переспросил Бережной.

— Шестнадцать...

— А Сафонов?

— Двенадцать...

— Вы шестнадцать, а Сафонов двенадцать. Так?

— Так...

— И, по-вашему, шестнадцать не рекорд?

— Ну, какой же это рекорд?

— Понимаю! Не рекорд в том смысле, что можно и больше дать? — Николай Дмитриевич испытующе заглянул в глаза деда.

— Конечно, можно, — просто ответил дед.

— Отлично! А вот давайте о чем подумаем. — Бережной подвинулся еще ближе к Резнику. — Что, если нам организовать соревнование за звание лучшей бригады жиро-мучного цеха? А? — И, не дожидаясь ответа, продолжал: — Сколько там бригад работает? Три?

— Три, — подтвердил дед. — Сафонова, Путинцева и наша.

— Отлично! Три бригады. Ваша сейчас впереди. У вас рекорд. Две другие отстающие...

— Почему отстающие? — перебил дед. — Какой же Сафонов отстающий, когда он норму чуть не вдвое перекрыл? И Колька тоже...

— От вас отстающие, — улыбнулся Бережной. — Так как? Организуем соревнование, а?

— Дело стоящее, — подумав, ответил Резник. — И ребятам веселее, и польза... А то рыбы нет, и ребята тускнеть начинают...

— Вот именно! — обрадовался Бережной. — Очень хорошо вы сказали, действительно тускнеет народ. А тут мы всех подтянем, а? Решили, значит. — И Николай Дмитриевич припечатал ладонью стол. — Тогда так — выпускаем «Молнию»: почин бригадира Резника...

— Какой почин? — не понял дед.

— Ну, как какой? — поморщился Николай Дмитриевич. Приходилось объяснять истины ясные и очевидные. — Почин в том, что вы с бригадой решили давать как можно больше муки. Так?

— Так, — ответил дед и подумал, что, в общем-то, ничего такого с бригадой они не решали.

— Ну? Так, значит, есть почин?

— Какой же это почин? — снова возразил дед. — Какой же это почин, если не мы это выдумали — - давать больше муки...

— А кто же это выдумал, по-вашему? — раздраженно спросил Бережной.

— Да никто. Какая же тут выдумка? В чем тут она? Раз пришел работать, так давай за совесть чтобы, старайся... Ну и какой в этом почин? — Несмотря на строгость, заметно уже звучавшую в голосе первого помощника, дед совершенно не испытывал никакой робости. Дело было настолько простым, что он искренне удивлялся, как этого не понимает Бережной.

Николай Дмитриевич в раздражении перед полной бестолковостью старика хотел было перебить его и наставить, но вдруг забыл имя и отчество Резника. Выскочило. Он быстро оглянулся на перекидной календарь, где по старой привычке на такой случай заранее были заготовлены заметки, и сказал уже спокойно, с усталой ласковостью:

— Василий Харитонович, родной, ну что мы спорим по пустякам? И вы и я, все мы хотим, чтобы муки было больше. Так? Так. А раз так, мы все должны сделать для того, чтобы ее стало больше. Организуем соревнование, выпустим «Молнию», поднимем людей! И пойдет дело у нас веселее. — Николай Дмитриевич улыбнулся и похлопал очень доверительно деда по коленке. — И еще одна к вам просьба: надо выступить по радио, рассказать народу. Я вот тут набросал... Завтра, с утра, а? — И он протянул Резнику лист бумаги, убористо исписанный ровным, четким почерком.

— Вот это не мастер я, — искренне смутился дед, принимая бумагу. — Может, ребята скажут? Юрка Зыбин, он грамотный...

— Зыбин в вашей бригаде? — спросил Бережной.

— Ну, конечно! — быстро подтвердил дед, радуясь, что первый помощник заинтересовался предложенной заменой.

— И как он?

— Грамотный парень, — закивал дед.

— А работает как?

— С душой. Плохого не скажу.

— А еще кто у вас?

— Голубь еще...

— Это шустрый такой? Все кричит? Знаю, знаю... Интересный у вас народ, — задумчиво протянул Бережной.

Помолчали.

— Так, может, по радио Зыбин скажет? — осторожно напомнил Резник.

— Нет, это не пойдет, — строго сказал Николай Дмитриевич. — Вам надо, Василий Харитонович. Вы бригадир. Так что давайте утром, во время завтрака, и проведем это... — он искал свежее слово, но не нашел, — это мероприятие. — И Николай Дмитриевич решительным жестом припечатал стол теперь уже двумя ладонями.

Дед сразу понял, что жест этот означает конец разговора, и встал. Бережной тоже поднялся, протянул руку:

— У меня — все. Что из дома радируют? Все в порядке? — В конце разговора так спрашивать было полезно.

Неожиданная забота тронула деда.

— Да, спасибо, — сказал он, улыбнувшись тихо и светло, — внучка вот болела маленько...

— Внучке мой приказ выздоравливать. До завтра. Отдыхайте, — пожал руку крепко и еще раз улыбнулся, как надо улыбаться напоследок, чтобы воодушевить.

Дед вышел на кормовую палубу. После светлого тепла каюты здесь было зябко и неуютно. Бриз налетал внезапно и коротко, словно прятался где-то тут же, за лебедкой, и вдруг выскакивал, пугал. Дед повернулся, чтобы идти к себе в каюту, но в этот момент ветер выхватил из его пальцев бумагу с будущей речью. Дед рванулся за ней, но она вертко, как птица, скользнула мимо рук и понеслась низко над палубой, ярким белым пятном в густой синеве сумерек. Дед почему-то очень испугался, словно в бумаге этой было что-то никому еще не известное и необыкновенно важное, от чего зависела судьба близких ему людей. Сердце его колотилось. Скользя по мокрому дереву и чудом не падая, он ловил маленький листок, протянув вперед руки, как слепой. Уже готовый упорхнуть за борт листок этот, к счастью, налетел на бухту стального троса и прилип к густому, забрызганному водой маслу.

В каюте дед обтер речь чистой тряпицей, но кое-где остались все-таки на ней желтые прозрачные пятна, а в одном месте буквы так разлохматились от воды, что трудно было читать.

Быстро, как бывает только в тропиках, наступила ночь. Весь ослепительный свет дня собрала она, сжала в яркие точки звезд, засыпала ими небо. Линия горизонта исчезла, и

границу океана можно было лишь угадать там, где звезды вдруг гасли все сразу. Теплая, мягкая тьма казалась почти осязаемой, и Сашка, шагнув из светлого коридора, остановился и протянул руку вперед, как бы пытаясь нащупать кромку ночи. Двинулся осторожно, вспоминая, что где-то рядом кнехт о который он ударился несколько дней назад коленкой. Сделал еще шаг и зажмурился, чтобы глаза скорее привыкли к темноте.

Не открывая глаз, Сашка почувствовал вдруг, что он не один здесь, что где-то поблизости человек, который смотрит на него. Он огляделся. Скучный свет далеких огней — топовых на мачтах, красного справа и зеленого слева — позволил ему скорее угадать, чем увидеть два чугунных пенька кнехтов, несколько звеньев якорной цепи, бегущих в клюз², и рядом маленькую фигурку сидящего человека. Черный* почти неразличимый силуэт был приметен только своей живой плавностью, такой непривычной среди сухих и строгих контуров надстроек и механизмов. Фигурка была неподвижна, и Сашке показалось, что человек этот сжался и притаился специально, чтобы следить за ним.

— Это кто тут? — хрипло спросил он.

— Это я.

Сашка сразу узнал голос Анюты.

— Ты чего тут сидишь? — спросил он почему-то шепотом.

— А я всегда тут сижу, — с простой доверчивостью тихо сказала Анюта. — Как поужинают все, перемою посуду и сюда... Тут хорошо, красиво.

— Красиво? — с глупым смешком переспросил Сашка.

— Конечно. Вон на небе что делается... — Она подняла лицо, и Сашка увидел точки звезд в ее глазах.

— Звезды считаешь, значит? — снова хмыкнул Сашка и почувствовал, что он не в силах изменить этот ненавистный ему голос, наглый голос самоуверенного дурака.

— И звезды считаю, — отозвалась Анюта, словно и не заметив усмешки в его вопросе. — Я люблю на звезды смотреть. И на огонь в печке люблю смотреть...

— Это у нас от дикарей, от доисторических людей, — сказал Сашка важно и подумал: «Что же это делается? Что же это я плету, идиот несчастный...»

— И пусть. А что в этом плохого? Вот все говорят: «Дикари, дикари», — а ведь среди них обязательно должны были быть умные, добрые люди. Иначе как же? Откуда же нам взяться?

Помолчали. Но молчание тяготило их обоих, молчать было очень неловко, и для того, чтобы сказать что-нибудь, Анюта спросила:

1 Кнехты — чугунные тумбы, укрепленные на палубе судна и служащие для закрепления швартовых и буксирных концов.

2 Клюз якорный — литая труба особой формы, пропущенная через палубу. Служит для пропуска якорной цепи.

— А ты что стоишь? Садись. — Она чуть подвинулась, приглашая его сесть рядом.

— Да я вышел поглядеть, как море светится, — быстро ответил он, переминаясь с ноги на ногу, — позавчера чуть-чуть светилося, а вчера уже больше...

— А я не видела, — сказала Анюта.

— Так отсюда и не увидишь. Пошли, покажу.

Она встала и шагнула за ним. Они медленно пробирались на самый нос, спотыкаясь о невидимые в темноте тросы, какие-то чурки, ящики, как акробаты на проволоке, тянули вперед ногу, балансируя на каждом шагу, шаря руками вокруг и натываясь на железо, мокрое и липкое от морской соли. Один раз Анюта поскользнулась и, наверное, упала бы, если бы Сашка не поддержал ее. Он тут же поспешно отпустил ее руку и заторопился вперед, испугавшись, что она опять поскользнется и ему опять придется дотрагиваться до нее.

Наконец они добрались до самого носа траулера. Сашка перегнулся через фальшборт:

— Гляди!

Прямо под ними с ровным, низким шипением клубилось светящееся облако пены. Казалось, невидимые фонари подсвечивают воду изнутри и легкие туманные блики, рожденные этим светом, метались на черном, стеклянно блестящем металле корпуса. Свет, идущий из океана, был такой призрачный, такой неземной, что Анюта подумала сначала, что это ей просто кажется, что на самом деле никакого света вовсе нет. И только потому, что она могла видеть две крутые клокочущие волны, расходящиеся от носа, она поняла, что свет существует. Там, дальше, где волны эти, мощно и круто изгибаясь, с шипением подворачивали свои верхушки, носились в какой-то бешеной пляске яркие пятна мертвого, холодного света. Некоторые совсем маленькие, с монету, другие крупнее, больше ладони, они возникали то тут, то там, нельзя было ни объяснить, ни угадать их появления. Анюта смотрела, не в силах оторвать глаз, не шелохнувшись, боясь спугнуть своим присутствием это чудо.

— Здорово! — восхищенно прошептал Сашка. Она уже и забыла о нем. Быстро оглянулась на шепот и увидела совсем рядом его зеленоватое лицо, тронутое холодным заревом океана.

— Здорово, а? — спросил Сашка.

Анюта не отвечала и снова смотрела вниз, снова позабыв обо всем. Ей вдруг показалось, что там, внизу, вспыхивают глаза каких-то незримых существ этой черной пучины, разбуженных непонятным им стуком и движением.

Невидимки, большие и малые, но одинаково сердитые, таращили спросонья свои сияющие глаза. Они не успевали разгневаться и понять, что разбудило их, как корабль уже проносился мимо.

И тогда их глаза быстро тускнели, успокаиваясь, они зажимались без любопытства, сразу растворяясь в ночи океана. Но просыпались новые, миллионы новых... Уже не корабль, а сама она летела низко над водой, наблюдая этот сокровенный, никому из людей не известный и недоступный мир...

Чтобы смотреть в воду под самым бушпритом, надо было полустоять-полулежать в неудобной позе, прильнув всем телом к холодному железу. Резало грудь и давило колени, было очень неудобно, но они смотрели долго.

Наконец Анюта снова оглянулась на Сашку и снова увидела совсем близко его зеленоватое лицо. Сашка смотрел на нее как-то странно, будто удивляясь, что она тут, будто только увидел ее вот сейчас, а до этого никогда не видел...

— Ты что? — тихо спросила Анюта.

— Ничего. А ты?

Она смутилась неизвестно почему.

Николай Дмитриевич Бережной, довольный и успокоенный разговором с дедом Резником, спать лег не сразу. Курил, думал, про себя еще раз повторил речь, приготовленную для трансляции, и про себя кое-где улучшил ее. Он даже пожалел, что многие удачные находки его не попадут в выступление Резника. Но все-таки он был доволен, потому что главное, «стержневое» туда попало.

Николай Дмитриевич принял пресный душ, покурил, лег, взял было книгу, но задумался и пробежал глазами строчки, не понимая их смысла. В каюте было душновато. Он настезь распахнул иллюминаторы. Выпил воды из холодильника. Снова лег и принялся читать. Захотелось курить. Он встал, натянул легкие брюки и, накинув пиджак, вышел на бак.

— Тебе не холодно? — спросил Сашка.

— Не...

— Африка, а холодно...

— А, может, это и не Африка? — тихо спросила Анюта.

— Это как же?

— Вот учили в школе: Африка! Африка! И вот вдруг я ее вижу. Берег как берег. Ветер как ветер. А ведь там где-то жирафы...

— Ну и что?

— Жирафы!!

— Ну, жирафы.

— Не верится мне, понимаешь... Сашка засмеялся. Но не нахально уже.

— Видишь ковшик у Большой Медведицы тут кверху дном. А вон Венера, видишь? Прямо фонарь, да? — Сашка говорил и чувствовал, как плечо Анюты касается его руки. И звезды он указывал другой рукой, левой.

— А вон созвездие Ориона... Как бабочка. Крылья видишь? А вот Южный Крест. Кривой, видишь?

Анюта молчала.

— В России Креста нельзя увидеть...

Ветер был мягкий и влажный, но после уютно прокуренного тепла каюты он показался Бережному зябким. Николай Дмитриевич не ушел, однако. Ему даже захотелось немножко замерзнуть, а потом лечь в постель и согреться. Скорее уснешь. Чиркнул спичкой, упрятав огонь глубоко в ладонях, поднес к лицу. И только теперь они увидели его. Маленькое желтое пламя странно высвечивало снизу его нос и брови, оставляя в тени глаза. Но Анюта сразу узнала Бережного.

— Пойдем, — сказала Анюта совсем тихо.

— Куда?

— Спать. Поздно уже...

Они прошли мимо Николая Дмитриевича, чуть не задев его, Анюта впереди, Сашка сзади. Шагнули в светлый, привычный мир коридора. И свет тотчас все поломал; ничего уже нельзя было сказать так, как говорилось там, на баке, в ночи, и они молчали.

— Покуда, приятных снов! — бросил он чужим и резким голосом и заторопился.

Анюта раздевалась и думала о Сашке. Легла и все думала. Ей казалось, что она не заснет, вот так будет всю ночь думать и думать, ей хотелось все обдумать. Но заснула она быстро и покойно.

В каюте № 64 Фофочка во сне чувствовал, что спать осталось недолго, что самое большее через час ему заступать, томился этим сознанием, и, когда Сашка щелкнул замком, он встрепенулся.

— Ш...ш! — как на грудного, зашипел Сашка.

Фофочка покорно зачмокал губами. Сашка включил ночник над подушкой. Зыбин спал лицом к переборке, маленький и неприметный. Хват, широко разбросавшись, чуть слышно похрапывал. Сашка выключил ночник и лег, скрипнув койкой. Вахта начиналась в 2.00. У него было еще час сорок минут отдыха.

«Та...ак, — сказал себе Бережной. — Этого только не хватало. Радист, комсомолец, серьезный вроде паренек... Сорвался-таки!»

Он вернулся в каюту и тяжело улегся, до подбородка затянулся простыней. «Молодость, молодость... — думал он, — но ведь не в заграничаваний! Пять миль от берега. Рядом! Ай, радист, радист, до дому не мог дотерпеть...»

Семнадцатый день рейса

С двух часов ночи Сашкина любимая вахта: тихо и работы мало. Можно послушать, как живет земной шар.

Он вошел в маленькую радиорубку. Степаныч, начальник радиостанции, встал и вышел, не сказав ни слова. Это означало, что ничего интересного на его вахте не было.

Степаныч был самым молчаливым человеком, какого Сашка встречал в жизни. Все эти скандинавы из анекдотов по сравнению со Степанычем — краснобай и балаболки...

Тесно заставленная аппаратурой, радиорубка была наполнена приглушенным, но все равно радостным гомоном радиопозывных. По потолку на фигурных коричневых изоляторах, похожих на какие-то кондитерские штучки, тянулись медные трубки антенн, и казалось, что это насесты, на которых сидят невидимые птицы, издающие все это нестройное и настойчивое разноголосье — от верткого бегущего свиста до низкого, приятного уху пощелкивания.

Сашка привычным жестом накинул на голову наушники, взглянул на часы: 2.00. Слово автоларму: три минуты, как положено, он будет слушать SOS. С этого всегда начинаются вахты.

Все было тихо.

Через три минуты, вращая рукоятку настройки, Сашка прокрался в эфир. И сразу налетел на своих. Какой-то танкер в Северной Атлантике никак не мог достучаться до Москвы. «Rot», «Rot», «Rot», — сыпал танкер позывные столицы, но Москва молчала.

«Заснул, наверно», — отстучал Сашка танкеру.

«Заснул, окаянный», — ответил танкер Сашке.

«Может, он до вахты был в гостях», — всунулся тральщик из-под Ньюфаундленда.

Потом танкер стал трепаться с тральщиком. Сашка не обиделся, понимал: у них там, на севере, свои заботы. Пошел дальше. Запищала какая-то слабенькая африканская служба погоды. Наконец он нащупал далекий блюз. Это был Танжер. Там всегда музыка. «Жутко весело живут», — как сказал бы Витя Хват. Ленивая мелодия, и мягкая от низких вздохов контрабасов и нескончаемо долгая в плавном, нежном голосе скрипок, настроила Сашку на лирический лад.

«Занятная девчонка, — думал он. — В огонь, говорит, люблю смотреть. А я: «Это от дикарей!» Надо же такое сморозить!»

В эвакуацию у них была буржуйка. Маленькая, кругленькая. Труба через всю комнату. Из стыков трубы капала густая бурая сажа, и приходилось подвешивать на проволочках консервные банки. Буржуйка быстро наливалась малиновым жаром, но тепла давала мало, вот только если рядом сидеть... Он сидел и смотрел на огонь. Он тоже любил смотреть на огонь. В огне мерещились ему то лес, то пляски, то пожар Москвы и наполеоновские солдаты... Телевизоров не было тогда... Смотришь — и есть вроде не хочется... «Это от дикарей!» Идиот. А на воду как глядела...

В 2.15 он опять обернулся к красной лампочке автоларма. Но все было спокойно в этой темной ночи. Сашка подошел к окну рубки, отвинтил барашки, толкнул стекло. Свежий ветер надул занавеску. В Танжере хрипатая баба запела мужским голосом, и Сашка убрал Танжер.

«Ни одна девчонка ни в Одессе, ни в Батуми, о Керчи и разговору нет, не скажет тебе вот так: я, мол, люблю звезды считать. Ну, хотя бы эта, последняя, Зойка. Ей что ни скажи — все смеется. Смешно, не смешно — все равно смеется. Дура потому что. Через каждое слово: «Не может быть!» Провожал ее после кино, подошли к дому, ну, стоим, а она сразу: «Убери руки». И в мыслях не было... А мать ее уже орет в окно: «Зойка! Зойка!» Словно козе. Повернулся и пошел. Она: «Ты куда?» «Топиться, — говорю, — тошно мне». Анюта вот не скажет: убери руки. Да и не полезешь к такой...»

Писк позывных не мешал Сашке думать о своем. Ухо его автоматически фильтровало звуки, и пока все многоголосье мира не содержало ничего такого, ради чего стоило бы оставить свои размышления об Анюте.

«Надо с Толиком поговорить», — вдруг вспомнил Сашка.

Толик Архипов плавал радистом на «Вяземском». Сашка никогда его не видел, но они были старые друзья. Толик был парень веселый, работал в темпе, чувствовалось, что может и быстрее, но понимает: это будет уже пижонство, разговор без удовольствия.

«Вяземский» отозвался не сразу. «Спим, значит, — отстучал Сашка, — а Родина рыбу ждет. Кто порадует страну полновесным тралом? Пушкин? Прием».

— Пушкина нет. Есть Вяземский — Пушкина первейший друг. И Есенин за компанию. Прием.

— Как рыба? Прием.

— Чего нет, того «ет. Вчера — полторы тонны. Много сора. Зря к нам идете. Сами посмотрим, куда бы отсюда податься. Прием.

— Кино у вас есть приличное? Встретимся, поменяемся. Прием.

— Кино — зола. Старье. Одна приличная картина — «Верные друзья». Четыре раза смотрели. Не отдадим. Прием.

— Это где на плоту плывут? Прием.

— Она самая. Прием.

— А если махнемся на «Подвиг разведчика»? Прием.

Они трепались, пока не подошла очередная трех-минутка сигналов тревоги и бедствия. Красная лампочка и на этот раз не загорелась, а звонок тревоги и на этот раз молчал.

«Вяземский» — Пушкина друг, — думал Сашка. — Есенин, Державин. Пришло в голову какому-то умнику в министерстве окрестить все БМРТ поэтами и писателями. Есть «Пушкин», и «Лермонтов», и «Жуковский», и «Лев Толстой». А ведь вдуматься — это ж дико: Пушкин ловит окуня, Лев Толстой — селедку, Есенин — сардину. Завтра придумают: Паустовского пошлют на камбалу, а Эренбурга — на раков этих, лангустов... Кто вообще за названия отвечает? «Державин»!.. Висит в кают-компании портрет. Седой, важный старик, весь в золоте, в лентах. Звезда на животе. Оды царице писал. За то и звезда, конечно... В школе учили эти оды. Ничего не помню! Одну строчку помню: «...а я, проспавши до полудня, курю табак и кофий пью». Ну, и при чем тут рыба? Почему большой морозильный рыболовный траулер надо называть «Державин»? За то, что Пушкина в лицее целовал?..»

Пошла сводка погоды с Канарских островов. Сашка записал. Главное — температура воды. Плюс двадцать девять. Это хорошо. Надо утром Губареву сказать. Подумать только, 29 градусов! Вот бы искупаться!

С 2.45 до 2.48 — новая трехминутка для сигналов бедствия. Волна 600 метров — волна беды. И все слушают. Четыре раза каждый час. По три минуты.

Сашка никогда еще не слышал сигнал SOS, но каждый раз ждал его. Он хотел услышать его именно на этой ночной вахте. И сразу сделать что-то для этих людей, которые просили о помощи. Братство и солидарность — затертые слова из словаря газет — становились в эти трехминутки яркими и гордыми: гляди, океан, мы не спим, мы слушаем, мы не дадим в обиду товарищей! Сашка часто думал, как замечательно было бы, если бы и на земле была своя волна тревог и бедствий. И люди в суе земных дел и трудов замолкали бы на три минуты, чтобы узнать о них. SOS! — пацан залез в карман. SOS! — бьют женщину. SOS! — пьяница, SOS! — бюрократ, SOS! — невежда оценивает труд ученого, SOS! — дурак подписывает дурацкий приказ. Оскорбили, обманули, насмеялись — SOS! Боятся, врут, подозревают, клеветают — SOS! И слушали бы все. И шли бы на помощь, оставив ради чужой беды свой курс и свое дело. Шли бы все, кто поблизости, так же, как в море...

Автоларм молчал. Сашка покрутил ручки. Весело залопотал Марсель. «А как в Танжере жизнь, — вспомнил Сашка, — веселятся?» В Танжере все пела низким голосом хрипатая певица. Он взглянул на часы. 3.00. Прошел час Сашкиной вахты.

Уже почти все позавтракали и пили чай, неторопливо прихлебывая из эмалированных, качкой обитых по краям кружек, когда серые коробочки внутренней трансляции заговорили Сашкиным голосом. Все разом умолкли и поставили кружки уже потому, что это был голос Сашки Косолапова, а не вахтенных штурманов, голоса которых знали с полуслова и которые всем уже порядком обрыдли. А говорил Сашка так:

— Товарищи! У нашего микрофона — бригадир жиромучного цеха Василий Харитонович Резник. Предоставляем ему слово.

— Во дают! — завопил Сережка Голубь, но на него цыкнули так страшно и дружно, что у Сережки перехватило дыхание. Стало очень тихо. Так тихо, что все ясно слышали, как Сашка сказал шепотом:

— Давай, дед...

Зашуршала бумажка. Дед кашлянул и заговорил не своим, высоким голосом:

— Товарищи! В дни, когда проходит наш рейс, вся наша страна переживает невиданный трудовой подъем. Труженики города и деревни прилагают все усилия, чтобы досрочно выполнить поставленные перед ними грандиозные задачи...

Дед не уточнял, какие конкретно усилия прилагают труженики города и деревни, а ограничивался общими формулировками. Более подробно он остановился лишь на вопросах, связанных с добычей рыбы, зачитав таблицу уловов по годам, взятую Бережным из справочника «СССР в цифрах».

Дед сидел перед маленькой сетчатой головкой микрофона, подавшись вперед и вытянув шею. Он вовсе не был уверен, что его слышит весь траулер, и все-таки микрофон сковывал его до косноязычия и одеревенения всего тела. Дед совершенно не понимал того, что он говорит. Он старался только не упустить глазами строчку, правильно прочитывать и называть слова, большинство из которых его язык выговаривал крайне редко. Не успевал он сказать одно слово, как уже надо было произносить другое, он говорил все быстрее и быстрее, но все равно паузы казались ему длинными, как зимние ночи. Он не понимал, что говорит много глупостей, вроде того, что «жиромучная установка должна стать знаменем в выполнении рейсового задания», а через фразу призывал это знамя поднять. Впрочем, никто из слушавших деда в столовой этого не замечал.

Сашка стоял за спиной деда, изредка глядя на зеленый глазок индикатора громкости. Он уже не переживал за деда и не жалел его, глядя, как темнеет от пота его линиялая штапельная ковбойка. Сашке было стыдно. За деда, за себя, за всех, кто слушает, за то, что все они допускают это публичное унижение старого человека. И когда дед, дойдя до фразы: «координируя движение судна, гидроакустики обязаны в кратчайший...», вдруг запнулся на этом идиотском «кратчайший», буквы которого были размыты на бумаге, запнулся так, что и со второго раза не сумел его одолеть, Сашка не выдержал. Он рванулся к деду, яростно, словно давил ядовитое насекомое, выключил тумблер трансляции, выхватил у Резника речь, смял в кулаке и, швырнув бумажный шарик в угол, закричал:

— Дед! Да скажи ты им по-человечески! Можешь ты по-человечески говорить? Отвечай: можешь или нет?!

— Могу. — Дед оторопело моргал. Теперь он уже окончательно растерялся и совсем не знал, что же ему дальше делать. — Господи! Ну говорил же я: не мое это дело, — взмолился он вдруг, но Сашка перебил старика:

— Твое! Это — твое дело. Только скажи просто: так, мол, и так, ребята. Вот что я думаю. Понял?

— Понял... Только обожди...

После того, как выключили трансляцию, столовая, внимавшая речи в мертвом молчании, разумеется, не потому, что кого-нибудь интересовала собственно речь, а потому, что всем казался забавным сам факт выступления деда по радио, разом загомонила на все голоса:

— Зря прервали! Ну, ошибся человек, ну и что? Подумаешь, дело какое! — кричал Сафонов.

— Ну, дает дед! — вопил Голубь. — Артист!

— Давай включай! Сыпь дальше! — кричали, цонькали кружками, даже топали ногами, как в кино, когда пропадал звук. Только Зыбин, казалось, не разделял общего восторга. Отвернувшись с кружкой к иллюминатору, он сказал тихо и зло:

— Цицерон чертов! Научили старого дурака...

А в радиорубке в эти считанные секунды происходила жестокая схватка Сашки Косолапова с дедом Резником.

— Чего ждать, дед? Чего ждать? — кричал Сашка. — Ты что, не варил муку эту?

— Ну, варил...

— Вот и скажи! При чем тут акустики? Что ты в их деле смыслишь? Ты варил муку. Скажи: ребята, давайте попробуем сделать так и так. Можешь сказать? Кого ты боишься? Своих ребят?

«А верно, — подумал дед. — Кого я испугался-то? Сережку-горлопана? Или Ваньку Кавуненко, который без штанов в соплях на огороде моем ползал?»

— Включай, — твердо сказал он.

Сашка включил. Понял: как бы теперь дед ни запнулся, он уже не отступится.

— Значит, так, — сказал дед и замолчал.

В столовой кто-то коротко и громко свистнул и наступила немая тишина. Дед молчал. Но его обстоятельное «значит, так» было таким неожиданным и обещающим, что все поняли: сейчас дед заговорит.

— Значит, так, — повторил дед. — Сафонов вчера в мукомолке восемь раз загрузил пресс и выдал 1 200 килограммов прессованной муки. Это много — спору нет. Но мы с ребятами опосля их загрузили десять прессов. Это 1 550 килограммов или около того... Ребята, правда, на совесть работали, и Зыбин и даже Голубь...

Тут дед улыбнулся, и в столовой все сразу поняли по его голосу, что он улыбается, — действительно: надо же, Голубь, и на совесть работал, — и все тоже засмеялись. Теперь уже всем стало интересно, не только как, но и что еще скажет дед. Он заговорил снова, и те, кто смеялся, зашикали друг на друга.

— Но я так думаю, — продолжал дед спокойно и совсем уже не торопясь, — я думаю, что две тыщи за смену дать можно. И Сафонов и Коля Путинцев, думаю, подтвердят. Так вот что я думаю: пока рыба не пришла, давайте на муку подналяжем... Подналяжем. Ведь мука, она дорогая. И заработок, и делу польза... Да и поработать охота. Верно говорю? — спросил Резник и подождал, не придет ли из микрофона ответ.

— Верно, дед! — густо понеслось по столовой, но слышать этого Резник никак не мог.

— А раз так, вот я и думаю: давайте промеж наших бригад устроим соревнование. Поначалу, к примеру, кто первый до двух тыщ дойдет. А там — что ж загадывать, — может, и больше получится. Так что я со своими ребятами, ну, считайте, вызываю бригаду Сафонова и твою, Колька, на соревнование... Вот и все. — И дед вопросительно оглянулся на Сашку.

Щелкнул тумблер.

— Ну, дед, — закричал Сашка, задыхаясь, — ну, молодец! — Сашка обнял деда и прижался лицом к его колючей щеке. — Ты такой молодец, дед! Ты замечательно говорил, понимаешь! Замечательно!

— Да чего там, — дед смущенно улыбался, — что надо было, то и сказал... А чего тянуть? И про международное положение... При чем оно тут? Верно говорю?

— Эх, дед! Вот сразу бы так!

— Ладно. В следующий раз... Главное — дело сделано. — И Резник пошел к двери...

Николай Дмитриевич Бережной слушал деда, сидя на диване в своей каюте. Слушал с большим удовлетворением, узнавал знакомые, родные слова и обороты и радовался выдумке своей и такому быстрому и четкому ее воплощению. Когда Резник запнулся и трансляция умолкла, Николай Дмитриевич сразу бросился к телефону выяснять, в чем дело. Однако дед заговорил снова, и Николай Дмитриевич, успокаиваясь, вновь опустился на диван. Но тут вдруг он понял, что Резник произносит текст совсем другой, ему незнакомый, какой-то невероятно корявый, лохматый, короче — несет отсебятину. Николай Дмитриевич прямо-таки замер. Не грамматика, «ударения там всякие», смущали его. Пугало другое: как бы дед не сморозил чего-нибудь такого... ну, лишнего, не испортил все дело. И хотя ничего

«такого» Бережной в дедовой речи не нашел, он, дослушав передачу до конца, все-таки искренне расстроился. Все получилось как-то бескрыло, совершенно не так, как он замыслил. На редкость серый, приземленный докладик. И оценки все путанные, почин как-то не заметен, не акцентировано на нем внимание. Ну, да что теперь говорить! По сути — все верно. Инициатива снизу. Это нынче даже хорошо. Жаль все-таки: он не сказал, что это почин. Слово хорошее. Интересно, как народ воспримет...

Николай Дмитриевич направился в столовую.

В столовой стоял гул. Из жирно-мучного цеха привели Кольку Путинцева, всего в муке, вонючего донельзя, и наперебой втолковывали ему, как дед Резник вызвал его на соревнование. Появление самого деда было встречено дружным ревом, аплодисментами, криками: «Ура!», «Дашь рекорд!» и «Левитан, задери его!». Дед, который не успел позавтракать, сидел со своей миской скромно и достойно, равнодушно принимая все славословия, и деланно сердился, когда кто-нибудь чересчур настырничал. Бережной стоял в дверях. Никто его не замечал или не хотел замечать. Вслушиваясь в оживленный гомон, Николай Дмитриевич с удовлетворением подумал: «Народ все-таки правильно понял... Теперь «Молнией» закрепим — и порядок...»

После завтрака Юрка Зыбин курил на кормовой палубе, когда подошел дед Резник и, оглядевшись как-то воровато, тихо спросил:

— Ты сам-то слушал? Ну, как там... а?

— Орел, — сказал Юрка коротко. Говорить ему с дедом не хотелось.

— Ну, да я ведь так спросил... — Дед словно извинялся.

Юрке стало стыдно, что он обижает старика, и он сказал уже совсем другим тоном, тронув деда за плечо:

— Дед, ты хорошо сказал. Сразу надо было только бумажку бросить, не рассказывать, сколько рыбы ловили в тринадцатом году. Шут с ней, с той рыбой.

Съели ее давно. На торжествах в честь трехсотлетия дома Романовых...

Дед сглотнул и убежденно кивнул, будто сам разделял гастрономические утехы их императорского величества, самодержца всероссийского, великого князя Финляндского и прочая, и прочая, и прочая...

Разговор с Лазаревым был для Бережного делом простым и коротким. Фофочке поручалось написать «Молнию», посвященную почину деда Резника, и вывесить ее в столовой. «Молния» должна быть «видной», то есть большой по размеру и яркой по исполнению. Кроме того, Фофочке отныне вменялось в обязанность («Считайте, что это ваше комсомольское поручение») и впредь писать «Молнии», которые должны «оперативно освещать ход соревнования». «Молнии» требовалось обязательно нумеровать, а после вывешивания — досматривать за ними, следить, чтобы их ненароком не сорвали, не употребили на какую-нибудь заvertку или другую нужду. При замене старой «Молнии» на новую ни в коем случае эту старую нельзя было выбрасывать, ее следовало непременно сдавать лично Николаю Дмитриевичу. (Бережной собирал овеществленные свидетельства своей политико-воспитательной работы. Еще совсем недавно он работал в обкоме, был там освобожден по причинам, о которых не любил вспоминать. Словом, не сошлись они характерами с новым секретарем, как туманно говорил он. Так вот, на прежней работе где-то в шкафу остался у него большой архив: альбомы с газетными вырезками, пачки копий протоколов различных собраний и конференций, целая поленица рулонов стеновых газет и «Молний». В любую минуту можно было положить всю документацию на стол, а там давайте разберемся: есть работа или нет работы. И здесь, на трюмзаре, изменять старым привычкам Николай Дмитриевич не хотел.)

— Все ясно? — спросил Бережной Фофочку и припечатал ладонью стол.

— Ясно, — ответил Фофочка.

— Действуйте!

«Молния» была такая большая, что уместить ее на столе в каюте было невозможно, и Фофочка работал в столовой. Навалившись на стол животом и высовывая в особо ответственные мгновения кончик языка, он сначала тонко и медленно, с оттяжкой выводил контуры буквы, а затем небрежно и быстро заливал их акварелью, отчего буквы словно тучнели, становились солидными и тяжелыми. Увидев Фофочку за необычным занятием, подошла с камбуза Анюта, стала смотреть и, разумеется, сглазила. Вместо «Боритесь за звание» Фофочка вывел «Боритесь за завание». Фофочка принялся обвинять Анюту, хотя не Анюта была тут вовсе виновата. По обыкновению в последнее время Фофочка делал одно, а думал о другом. Дела были разные, мысли одинаковые.

Было Фофочке двадцать два года от роду, и был он влюблен так, как только и можно влюбиться в двадцать два года. И как все влюбленные, Фофочка мог иногда совершенно выключаться из действительности, все окружающее становилось бесцветным, звуки слышались словно издали. В эти мгновения с трудом удавалось ему сохранить хотя бы зыбкие связи с окружающим миром.

За штурвалом во время своей вахты он не делал ошибок лишь потому, что простота его обязанностей привела за несколько недель к полному автоматизму движений. Мозг совершенно не участвовал в его труде: он вел корабль по заданному курсу. Штурвальным мог быть даже совершенно неграмотный человек, а Фофочка окончил мореходку, Фофочка как-никак штурман. Правда, в этом первом своем рейсе он числился матросом, ну, да что же поделаешь! Почти все так начинают.

Не только эти вахты, но все трудности далекого плавания: печали с харчем, прокисшее вино, экономия пресной воды в умывальнике, несвежее белье, бессмысленность бесконечных перекаладываний с места на место грузов в трюмах, два дня качки в Эгейском море, равно как и радости — новая дружба, баня, кино, большая охота на тунцов, ласковость океана, — все, что составляло жизнь людей на «Державине», не задевало Фофочку. Как ангел, летел он над бедами и радостями, без гордыни приема и прощая всех. Сказать по правде, все, что творилось на траулере, представлялось Фофочке каким-то несерьезным, дела — мелкими и разговоры — глупыми...

После обеда уже, когда «Молния» с двумя синими подтеками — результатом не столько небрежности Фофочки, сколько нетерпения Николая Дмитриевича — висела в столовой и Фофочка лежал на своей койке, тщетно стараясь заинтересовать себя «Королевой Марго», зашел у него с Юркой Зыбиным интересный разговор.

— Юрка! А тебе домой очень хочется? — спросил вдруг Фофочка.

— Хочется. — Зыбин задумался. — Вот пошла бы сардина, как в прошлом году: трал — 25 тонн! И через месяц дома...

Зыбин опять заговорил о рыбе, и от этого Фофочке стало невыразимо скучно. Завыть просто захотелось.

— Да при чем тут сардина?! — с досадой воскликнул Фофочка. — С рыбой, без рыбы, какое это имеет значение?! Дом... Люди ждут нас, понимаешь? Люди! А ты — «сардина».

— Без рыбы я не согласен. Что я без денег на берегу делать буду? Соображай: пацан, жена. Меня и не ждут без рыбы. — Юрка засмеялся.

— А меня ждут, — тихо сказал Фофочка и добавил еще доверительнее: — И без рыбы очень ждут.

Зыбин понял, что Фофочка снова, как говорил Хват, «запел Лазаря». (Хват не знал точно, что означает это выражение, но полагал, что оно точно определяет смысл Фофочкиных разговоров о любви. Был тут и каламбур, которым Хват гордился: Лазарев пел Лазаря.)

— Меня ждут, потому что любят, — продолжал Фофочка тихо и проникновенно. — Раньше я не понимал этого... — Он смотрел сквозь Зыбина и сквозь переборку. — Вот королева Марго...

— При чем тут королева? — мягко перебил Юрка.

— А при том, что любовь во все времена и у всех народов одинакова! — с жаром возразил Фофочка.

— Ничего подобного. Даже Маяковский писал: «битвы революций посерьезнее «Полтавы», а любовь пограндиознее онегинской любви».

— Это глупо! — закричал Фофочка. — И Маяковскому твоему ответил Мопассан! Знаешь, что ответил Мопассан? Он говорил, что любовь всегда одинакова, если она настоящая! Понял?

— Мопассан не мог ответить Маяковскому по причине безвременной кончины после продолжительной и тяжелой болезни, — заметил Юрка.

Он начинал злиться. Он не любил таких разговоров, считал их не мужским занятием. Фофочка раздражал его своей нескрываемой заинтересованностью в этом глупом споре, тем жаром, с которым он возражал ему, и тем откровенным удовольствием, с которым произносил слово «любовь». Юрка всегда считал, что слово это надо произносить очень редко, идет ли речь о женщине, море или Родине. Ему захотелось вдруг побольше обидеть Фофочку, вломить ему, чтобы он разом подавился своей сопливой воркотней: «Я не знал, что такое любовь», «Теперь я узнал, что такое любовь», «У нас большая любовь», «Я чувствую, что наша любовь — настоящая любовь»...

— Вот в старину в Бирме или в Сиаме, точно не помню, — прищурившись, сказал Зыбин, — за измену баб слонами затапывали, а у нас просто по морде бьют. Вот тебе и одинаково!

— То есть как слонами? — оторопело спросил Фофочка.

— А вот так! — злорадствовал Юрка. — Бешеный слон топчет прекрасное тело! А ты что забеспокоился? У нас это не привется. У нас каждый слон на счету, за них валютой плачено! Да и не потянут у нас слоны, умаются! — Он захохотал горловым резким смехом.

— Ты что хочешь сказать? — строго спросил Фофочка.

— Да я так, шутю!

— Люда — честная девушка, — тихо сказал Фофочка.

— Что ты понимаешь под словом «честная»? Не воровка, да? — быстро спросил Зыбин.

— Ну, невинная, — конфузливо потупясь, пояснил Фофочка.

— А для тебя, разумеется, это имеет большое значение?

— А для тебя нет?

— Нет.

— Врешь! Врешь! — Фофочка сел на койке. — Ты в мечтах о своей любви...

— Да при чем здесь мечты? — опять нехорошо захохотал Юрка. — «Мечты»! — Он длинно, замысловато выругался.

— И тебе все равно, любила твоя жена другого мужчину или нет? — кипел Фофочка.

Зыбин не ответил. Он сидел на своей койке, упираясь спиной в переборку и широко расставив руки. Одеяло Хвата нависало над его головой, и Фофочка не видел лица Зыбина. Не видел, как зажмурился Юрка, как разом пропало его недоброе, резкое веселье. Некоторое время он сидел молча, потом заговорил глухо и спокойно:

— Ты, Фофочка, не обижайся, только нам с тобой друг друга не понять... Когда я женился, жена моя не была невинной девушкой... Да и я не мальчик был. Но она для меня честнее всех честных. И нет мне дела, кто там был у нее... И если не то что упрекну, а в мыслях только... подумаю только об этом, какой же я Валерке отец тогда? Пойми ты, если любишь, — так ее же любишь, а не себя...

Фофочка молчал, пораженный не столько словами Зыбина, сколько совершенно незнакомым ему голосом Юрки. Не было в этом голосе обычной для него едкой иронии или равнодушной усталости. Он говорил как-то рассеянно, словно спрашивая о чем-то, словно бы и сомневаясь где-то, но вместе с тем с такой верой в свою правоту, так далеко пуская к себе в сердце, что Фофочка понял: не часто может говорить Зыбин такое.

И за это уже Фофочка был благодарен ему и тронут до щекотки в горле. Ему захотелось как-то показать Зыбину, что он все это понял и оценил. Захотелось обнять Юрку или пожать ему руку. Сильно. По-мужски. Молча. Он спрыгнул с койки, но Зыбин вдруг резко поднялся, шагнул к двери. Фофочка схватил Юрку за плечо, развернул к себе, глянул прямо в глаза.

— Ты что? — уже обычным своим голосом спросил Зыбин.

— Вернемся домой, — прерывистым от волнения голосом сказал Фофочка, — и все будет хорошо. Я верю: все будет хорошо...

— Ага, — отозвался Юрка. — Полный будет ажур. А слона в зоопарке нанять можно. С деньгами ведь приедем! Хватит на слона! — Он захохотал и шагнул в коридор.

Девятнадцатый день рейса

Это все сказки, что в тропиках жарко: в тропиках мокро, в этом вся штука. Ребята ходили в одних трусах, но пот все равно бесконечными струйками бежал по животу, щекотал спину, и трусы липли к ляжкам.

Стоять на вахте у штурвала в трусах было не положено, и Фофочка жестоко мучился, закивая в рубашке и полотняных брюках. Черный шарик на рукояти штурвала был скользким и гладким на ощупь.

Фофочка первый заметил на непривычно четкой сегодня линии горизонта белую точку какого-то корабля и доложил вахтенному старшему Басову.

Басов взял бинокль и сразу узнал «Есенина». «Есенин» был немецкой постройки и чуть отличался от других больших морозильных траулеров контуром стрел и мостика «ад слипом. Минут через двадцать показался и «Вяземский».

Капитан Арбузов в радиорубке беседовал по радиотелефону с другими капитанами, договаривался о встрече и в предвкушении этой встречи и выпивки нетерпеливо крутился на винтовом стуле.

Каждый из трех капитанов втайне не хотел принимать гостей, а хотел быть гостем сам. Нет, не жалко ни столичной водки московского розлива, ни созвездий армянского коньяка, ни икры астраханской и прочих яств капитанского резерва, а просто каждому из них хотелось глянуть в новые человеческие лица, побывать в другом, пусть очень похожем мире, но все-таки другом. Наконец договорились съехаться в 13.00 на «Вяземский» к Кисловскому.

К полудню суда подошли совсем близко друг к другу, так что уже можно было различить на носу и верхней палубе отдельные фигурки. Все, даже ребята из машины, высыпали на палубу, махали руками, просто глазели, критиковали облезлую краску на носу «Есенина», грязные подтеки на корме «Вяземского», искали, к чему бы еще придраться, и, не находя, посмеивались над собой и своим «пароходом», тоже уже далеко не парадного вида. За долгие дни плавания они повидали немало разных посудин: турецкие буксиры под Стамбулом, заросшие жирной грязью под самый клотик, длинные гладкие танкеры фирмы «Шелл» с эмблемой-ракушкой на трубе, новенькие американские лесовозы, нахально плавающие под флагом Либерии, серые, юркие, как мыши, тунцеловы японцев и даже сияющий, белый итальянский лайнер, похожий на самолет своими изысканно современными линиями.

Но тут были свои. Свои. С серпом и молотом на трубе. Это большое дело — в Гвинейском заливе, в 200 милях от экватора, встретить своих. Это — очень большое дело...

За разговорами на палубе никто и не заметил, как быстро надвинулись с юга и повисли низко над мачтами плотные, крутые тучи. Вернее, была одна туча, лишь условно делимая страшными переживаниями сиреневых тонов. Мертвый штиль пал на море, вода сразу стала непрозрачной и казалась на вид липкой, как нефть. Ливень без разгона ударил сразу в полную силу. Океан вскипел миллиардами белых воронок, зашипел, но в следующее

мгновение грохот воды, бьющей в траулер, уже заглушил и это шипение, и радиоголос четвертого штурмана, приказывающий задрать иллюминаторы, и все другие звуки.

Над океаном почти во всю его ширь бились молнии. Стена воды в несколько километров толщиной едва пробивалась их светом, ветвистые стволы молний размывались, лохматились и прыгали, преломляясь в неразделимых струях ливня. Гром был где-то далеко. Он глухо бродил по горизонту, казалось, там, на границе неба и океана, по бесконечной чугунной плите, катают огромный чугунный шар.

Капитан Арбузов не успел еще разозлиться на ливень, который задерживал его отъезд, как все разом кончилось: тучи передвинулись с невероятной скоростью, разом пропали, в тот же миг распогодилось. В нашей северной жизни так не бывает никогда.

Выглянуло солнце. Было видно, как над заблестевшими после ливня траулерами потянулись с мокрых потемневших палуб легкие и нежные, как дымок костра, струйки пара.

Отдали команду спускать шлюпку по правому борту, палубная команда засуетилась, забегала. Шлюпка идти не хотела, припадала на корму; блоки, тронутые солью, визжали на разные голоса. Потом шлюпка все-таки пошла, но пошла рывками и опять как-то наперекосяк. Вахтенный штурман кричал и матерился с мостика.

Капитан Арбузов побрился, принял душ, набрав в ладонь одеколону, яростно похлопал себя по шее и щекам, начал одеваться, косясь в зеркало. В зеркале смотрел на него курносый молодой мужик, с курчавой, изрядно, правда, заросшей головой, в свежей белой рубашке апаш и светло-серых, хорошо отутюженных брюках. Он подмигнул ему, взял со столика заботливо завернутый и перевязанный кладовщиком Казаевым пакет с «гостинцем» — две бутылки «Юбилейного», банка черной икры, замороженный лангуст (для такого случая и припасал капитан лангуста) — и вышел из каюты.

Вахтенный дал команду гребцам занять свои места. Потом спустили в шлюпку жестянки с кинофильмами «на обмен». Тут подошел и капитан, такой светленький и чистенький, что казалось, он попал сюда случайно. Капитан окликнул боцмана, сидящего в шлюпке на корме за рулевого, показал ему пакет, потом погрозил кулаком, поясняя меру ответственности за его сохранность. Боцман понимающе закивал, преданно заулыбался и даже путано перекрестился, заверяя, что меру эту он осознал. Арбузов аккуратно бросил пакет прямо на протянутые руки боцмана, спустился сам, осторожно, стараясь не испачкаться о деготь уключин, влез в шлюпку, и только тут обнаружилось, что одного гребца не хватает.

— Хороши у тебя порядки, — не без иронии заметил капитан боцману.

— Кого нет?! — гаркнул боцман, уже сообразив, что нет Зыбина. — Зыбина нет! — Он взглянул вверх, увидел торчащую над фальшбортом голову Сережки Голубя и скомандовал: — Голубь, в шлюпку!

Сережка спустился мигом, и они отчалили. Пару раз ударили веслами невпопад, а Сережка, который и не помнил, когда в последний раз держал в руке весло, от возбуждения и желания показать свое умение сразу «схватил леща», обдав брюки капитана мелкими брызгами.

— Но...о! — строго закричал Арбузов.

Дальше приноровились, пошли как будто ладно, разгонисто. «Не умеют грести, — подумал весело капитан. — Я лучше их гребу...»

Капитану Арбузову было тридцать два года. Парень он был неглупый и знающий, но, кроме того, еще и везучий: дважды попадал он в кампанию «по выдвижению молодежи на руководящие посты».

Была в нем цепкая русская хватка и трезвая ясность, чуждая нерешительности и всяческому мелкому самокопанию. «Поставили капитаном — буду капитаном. Ошибусь — поправлюсь. Не поправлюсь — другие поправят. Выгонят — поделом значит, дурак». Он рассуждал, как рубил топором. Кстати, он любил колоть дрова. При этом громко ухал и кричал. Еще любил играть в городки. Шумно, фыркая и обливая все вокруг, мылся. Охотник

был не только выпить, но и поест, а выпив и поев, танцевать. Спал без снов. Жена Галя родила ему двух сыновей. Он любил кидать их к потолку, хохотал и визжал вместе с ними. Он вообще любил шум. Приемник ставил на полную громкость, так, что все грохотало вокруг. Любил слушать песни советских композиторов и американский джаз с длинными сухими брэками. Двенадцать раз смотрел фильм «Волга-Волга». Его любимым писателем был Зощенко.

Шлюпка шла быстро, но Арбузову казалось, что не очень, потому что «Вяземский», такой близкий, когда он смотрел на него с мостика, приближался медленно. Плавная, совсем почти неприметная волна то легко и мягко поднимала шлюпку, то опускала, словно стараясь спрятать от множества глаз, устремленных на нее. Вскоре Арбузов заметил, как от борта «Есенина» тоже отвалила шлюпка, и, придирчиво косясь, отметил, что его ребята гребут не хуже, чем «есенинцы».

Через четверть часа Арбузов и капитан «Есенина» Иванов уже сидели в идеально прибранной, до блеска надраенной каюте Константина Кирилловича Кисловского — ККК — так называли все знаменитого капитана БМРТ «Вяземский». Стол под ломкой, сахарно искрившейся от крахмала скатертью был тесно уставлен закуской и напитками. «Молодец ККК, — подумал Арбузов, — умеет дело поставить...»

Говорили, разумеется, о рыбе. Кисловский, большой, тучный, с седеющей красивой головой, развалясь в кресле, ругал все и всех: ученых-ихтиологов, погоду, совнархоз, Госплан. Арбузов поддакивал. Иванов слушал молча.

— Я рыбу знаю, — громко говорил Кисловский. — Когда я на рыбе, мне фишлупа не нужна. Я ее и без фишлупы вижу. А тут нет ни черта, и ты, — он ткнул пальцем в грудь Арбузова, — ты зря сюда пришел. Бежать надо отсюда. Бежать к чертовой матери! Или назад беги, за Зеленый мыс, под Дакар, или на юг беги, к Кейптауну. Я на юг пойду. А(в общем, как ни кинь, всюду клин.

— Это точно, — сказал Арбузов.

Начали обсуждать план, как искать сардину, прикидывать сроки переходов.

— Ну, ладно, — махнул рукой Кисловский, — хватит разговоры разговаривать. — Он быстро и ловко разлил водку в рюмки, поднял свою: — Со свиданьем, как говорится...

Чокнулись, выпили и, как это делают мужчины, не глядя друг на друга, захрустели маленькими пупырчатыми огурчиками.

— Нарваться сдуру на косяк, конечно, можно, — продолжал ККК. — Да вот ваш же «Державин» в прошлом году так налетел на рыбу и пошел таскать. Но ведь один год налетишь, а другой и промахнешься. Я нашим в совнархозе сто раз говорил: хотите добывать рыбу в тропиках — изучайте сырьевую базу. Не экономьте на ерунде, дороже обойдется. Им как об стенку горох. Японцы, те как сделали? Насажали в Бразилии своих людей, поисковые суда пригнали, все разведали, все вынюхали, тогда и пришли ловить. А нам? Трал в руки, — давай план! А тут нет ни черта!

— Это как сказать, Кириллыч, — задумчиво возразил Иванов. — Рыба тут есть. И много. Единственно, в чем ты прав: нужны маленькие суда-разведчики. Пока мы знаем только, что два раза сардина собирается в косяки у берегов. Но у каких берегов? Французы, португальцы ловят под Марокко, у Анголы, а еще где она? Этого мы не знаем. Искать, видимо, надо все-таки здесь, на континентальном склоне, до больших глубин...

— Это точно, — сказал Арбузов.

— А сардина тут есть, — повторил Иванов и потянул с тарелки розовый ломоть семги.

— Ни черта мы не знаем, есть или нет! — взревел Кисловский, не прожевав ветчину.

— А ты вот ответь: зачем она собирается в косяки? — спросил Арбузов у Иванова. — Зачем ей это надо?

— Ясно, что не для нагула. — Иванов говорил тихо, не трогая закуску в тарелке. — Зоопланктона здесь мало. Известно, что она собирается в косяки после нереста. Очевидно,

ей требуются определенные экологические условия и она находит их в местах концентрации...

— Ну да, — перебил Кисловский. — По-русски говоря, она собирается в косяки потому, что так ей лучше. Ты закусывай давай, академик. — Он захохотал и начал разливать по второй. — Ей лучше собираться в косяки, вот она и собирается. Чувство локтя, так сказать...

Иванов смолчал. Потом заговорил снова:

— Я читал, что чем резче температурный скачок в воде, тем плотнее скопления сардины у дна. То есть там, где нам надо. И чем глубже расположен этот скачок, тем мощнее эти придонные концентрации. И поэтому второе, в чем ты прав, — он обернулся к Кисловскому, — это в том, что сейчас нам отсюда действительно надо уходить. И побыстрее...

Чокнулись.

После второй рюмки Арбузов хмельно пригорюнился. «Лапоть я, лапоть, — думал он. — Лево руля — право руля. С картой и лоцией последний дурак куда хочешь заплывет. Люди по науке рыбу ловят, книги читают... А я? Как пацаном бычков таскал, так и сейчас тралом таскаю...»

— Сколько у тебя в трюмах? — спросил он Иванова.

— Тонн сто. А у тебя?

— Восемнадцать, — совсем тихо ответил Арбузов.

— Эх, вы! Вот нет ни черта, а у меня 144 тонны! — Кисловский потянулся к графинчику. — Давайте еще по одной. За жен. За возвращение. Бери колбасу. Венгерская. Закусываем плохо...

— Авианосец видели вчера американский? — спросил Иванов. — Могучее корыто. Да...

Заговорили о Кубе.

Расставаясь, капитаны уговорились сегодня же разойтись и попробовать взять рыбу на банках милях в пяти — семи от берега. Ближе подходить было нельзя: начинались территориальные воды. Если за три-четыре дня обстановка не изменится, решили уходить из Гвинейского залива: «Вяземский» — на юг, за экватор, «Державин» и «Есенин» — на север, к Дакару.

Прощались капитаны уже совсем друзьями. Кисловский подарил Арбузову и Иванову бледно-розовые ракушки изумительной красоты. У него была целая коллекция совершенно невероятных ракушек. Арбузову отдарить было нечем, лангуста он уже подарил. Он достал фотографию своей жены и сыновей, объяснил, как кого зовут, и подарил фотографию. Расцеловались.

Щурясь от яркости дня, Арбузов вышел на палубу. К трапу зашагал твердо.

— Поехали, ребята! Загостились, — сказал он ясно и весело. Если бы не краснота лица и легкая дымка в глазах, нельзя было бы и подумать, что он крепко выпил.

Матросы с «Вяземского» погрузили жестяные коробки с тремя обменными кинофильмами («Верных друзей» не отдали, утаили).

Шла мелкая зыбь, весла черкали по ее верхушкам, высекая брызги. Нестерпимо блеснул, плясал огнем океан. Арбузов совсем ослеп. Он вертелся на корме, то вытягивая, то поджимая ноги, разгоряченное водкой тело его требовало движений. Хотелось сесть на банку спиной к солнцу, хотелось ощутить в руках теплое, гладкое дерево весла и почувствовать упругую податливость воды. «Сесть разве что?.. Неудобно, черт побери, капитан все-таки...» Арбузов хлопнул в ладоши и сказал громко:

— Эх, ребята! Показал бы я вам, как грести надо! Боцман засмеялся. Гребцы заулыбались, косясь на капитана.

Тридцать пятый день рейса

Они узнали тропическое солнце. Маленькое, белое, оно зависало в зените, как не бывает в наших морях, и тень головы катилась прямо под ноги. Было жарко. Никому не хотелось есть, даже Хвату. Липкий зной дня и духота ночи мучили людей. Спали плохо, метались во сне по влажным простыням, казалось, кто-то душит, стонали. Как по расписанию, каждый день, часа в два, тучи закрывали солнце, океан застывал в свинцовых сумерках, словно съеживался под занесенными над ним плетками ливня. Ливень бил сильно и коротко. И вновь зажигалась солнце, траулер окутывался паром, становилось еще хуже, чем до дождя. Рыбы не было.

Наконец капитан приказал повернуть на север. Они шли к Зеленому мысу, и грозы отставали, лишь краем касаясь их, наплывали ясные, тихие дни, и, хотя свет и жар солнца были так же жестоки, это было уже другое солнце, пусть еще не ласковое, но более расположенное к людям. Север был для них самой дорогой страной света, потому что север был домом. Все понимали, что впереди еще долгие дни работы, но мысль о том, что каждый вздох машины приближает их к дому, не проходила, теплела рядом всегда, не мешая всем другим разным мыслям.

Как никогда, ждали теперь рыбу, ждали, работу. Ругательски ругали гидроакустиков — «врагов трудового народа», замеряли без конца температуру воды и митинговали после каждого замера. Тралмейстер Губарев, повеселевший оттого, что бессмысленные поиски в Гвинейском заливе окончились, сидел целыми днями на корме, шурился на море и небо. Сашка сам носил ему на корму метеосводки. Губарев читал долго. Ребята из траловой стояли вокруг, ждали. Прочитав сводку, тралмейстер молча возвращал ее Сашке. Далее следовала глубокая пауза.

— Ну как? — спрашивал наконец кто-нибудь из ребят.

— Что? — Губарев вроде бы и не понимал, о чем идет речь.

— Как сводка?

— Нормально.

Эта интермедия повторялась многократно. Губарев знал цену своим словам.

Но однажды, прочитав сводку, он оказал, не ожидая вопроса:

— Завтра-послезавтра начнем брать.

— Эту песню мы слышали, — усмехнулся Голубь. — Старо. Свинку морскую надо было взять. Чтоб билетки таскала.

Губарев не удостоил Сережку даже поворотом головы. *

— Голубь, птица моя кроткая, — тихо и ласково сказал Ваня Кавуненко, — я вот все думал: когда тебе по шее дать! И придумал: сейчас самое время.

— Оставь, Ваня, — поморщился Губарев, разглядывая горизонт. — Вон гляди, они лучше нас рыбачат. — Он кивнул в сторону моря.

Вдалеке, у самого горизонта, ясно угадывалось какое-то движение, вода там словно закипала, цвет ее, такой ровный и спокойный везде, менялся, становился резче, ярче, и на этом фоне были хорошо заметны маленькие, как запятые в книжке, черненькие прыгающие тела.

— Дельфин охотится. Значит, есть рыба. Только бы косяки не разогнал... Но я люблю их, — улыбнулся вдруг Губарев, — смысленный народ. Вот, помню, раз...

Пошли байки.

Вечером по всему траулеру разнеслась новость: приборы пижут рыбу. Гидроакустик Валя Каднюков бегал в столовой, размахивая лентой. Полоса густой штриховки, сработанная самописцем, показывала: косяк у самой поверхности, метрах в восьми — десяти. Все понимали, что тралом его зацепить никак невозможно и опять придется поносить акустиков.

— Но ведь он опустится, черт побери! — кричал Кадюков. — Ведь утром он уйдет на дно!

Кадюков провел в рубке у фишлупы всю ночь, все подбадривал черненькое жало самописца, шептал ему:

— Дав^ай, родной, давай... Ну, еще... Самописец писал рыбу. Он рассказывал Кадюкову, что близится рассвет: черные полосы штриховки поползли вниз. Косяк уходил на дно по мере того, как светлело небо. Кадюков засмеялся странным смехом. Фофочка у штурвала вздрогнул и оглянулся на гидроакустика.

— Ты что? — спросил он.

— Заглубляются! — радостно крикнул Кадюков и шмыгнул носом. — Заглубляются!!!

— Что? — спросил Фофочка.

— На дно идут! Косяк на дно идет!

— А хорошо ли это? — спросил Фофочка первое, что пришло ему в голову, лишь бы не обидеть гидроакустика невниманием к его нервной радости.

— Дура ты! Это значит потащим!

— Ну тогда пускай заглубляются, — разрешил Фофочка.

Кадюков сплюнул и снова жадно взглянул на ленту самописца.

Утром прошли Дакар — бледно-голубые кубики на желтом, забрызганные зеленым. Сбавили ход и подняли на фокке корзину. Корзина на мачте — сигнал всем судам: осторожно, иду с тралом. На корме опять собралось очень много народа, опять — в который уже раз! — все ждали. Кадюков, весь какой-то жеваный и серый лицом от бессонной ночи, что-то говорил на ухо капитану, а капитан отмахивался и кричал, поглядывая быстро по сторонам:

— Не верю я тебе! Слышал эти твои басни сто раз! Потерял ты мое доверие, — кричал оттого, что боялся сглазить.

Кадюков сглотнул, отошел и, навалившись грудью на борт, смотрел в воду, шевеля губами и сплевывая.

Было тихо, хотя без малого весь экипаж собрался тут: плечом к плечу стояли на верхней палубе, и у кормовой рубки, и на трапах, и внизу подле лебедки, и только на самой корме, у блоков, маячили одинокие фигуры: слева — Ваня Кавуненко, справа — Витя Хват.
*

Наконец дали команду выбирать. Заворчала низко всеми своими шестернями главная лебедка, противно завизжали, перетирая соль и ржавчину, блоки, потекли ваера. И снова, как бывало всякий раз, все смотрели на тронутую пеной зыбь за кормой, на широкий, идущий от винта след, быстро теряющийся в спокойной воде океана. Все знали, что за кормой еще метров триста ваеров, но все равно смотрели, стараясь не упустить самого важного мига: появления трала.

Тралмейстер Губарев сидел на крышке люка, жадно курил и тоже следил за ваерами. Он первый увидел, как две чайки, тянувшие к берегу, круто развернулись и низко, почти цепляя крыльями воду, стали заходить в корму. Потом он увидел, как невесть откуда появились еще две. Это было совсем хорошо.

Губарев обернулся к барабанам лебедки, куда плыли ваера, мгновенно отметил по толщине намотки, на какой глубине идет трал, и понял, что маневр чаек не случаен: они уже видели трал, знали, что это такое, и ждали добычу. «Через минуту-полторы должен всплыть», — прикинул Губарев, щелчком отправив за борт окурок, и потянул из кармана пачку «Беломора»: снова хотелось курить. «Неужели опять пустые?.. Ну, тогда не знаю, — вдруг с тоской подумал он. — Тогда я не для этих мест рыбак. Не пойду больше... На Азовское уйду, там меня не обманешь...»

— Даешь сардину! — раздался высокий мальчишеский голос с верхней палубы, и сразу отовсюду, перебивая друг друга, понеслось ликующее, звенящее:

— Есть! Есть!

— Всплыл!

— Всплыл, ребята!

— Есть рыба!

— Что я говорил?! Нет, что я говорил?! — кричал в исступлении гидроакустик Кадюков, наступая грудью на капитана.

А в кильватерной струе среди шипящих пятен пены качалось что-то большое, блестящее на солнце, непривычное еще и долгожданное — трал с рыбой. Он подтягивался все ближе и ближе, все яснее и яснее белела его наружная крупноячеистая сетка, все четче проступала за ней внутренняя — мелкая и темная, туго набитая рыбой. Вот уже по слипу загрохотали бобинцы, все сразу заглушив: и лебедку, и винт, и радость.

Губарев взглянул на бобинцы, увидел, как блестят их бока, надраенные кораллами и песком, и рассеянно отметил про себя: «Порядок, значит, трал шел прямо по дну...»

— По дну шел! — крикнул он, не глядя, тронув за руку соседа. Это был Айболит. — По дну шел, — повторил, стараясь перекрыть грохот, тралмейстер и улыбнулся доктору такой счастливой детской улыбкой, что Иван Иванович даже растерялся.

— Поздравляю вас, поверьте... я... поздравляю от всей души, — волнуясь, сказал Айболит, но Губарев не услышал его.

А трал уже подтягивали на стропах, уже тяжело и медленно, с тяжелым шорохом вползала по слипу его тугая, щедро сочившаяся водой туша. Гремел голос вахтенного, гнавшего всех с кормовой палубы, тарахтели моторы подъемных стрел, фыркали, поперхнувшись первой водой, пожарные рукава, готовясь вымывать из трала рыбу. Все пришло в возбужденное движение. «А торопиться некуда, — счастливо подумал Губарев. — Вот она! Никуда она теперь от нас не уйдет... Тонн восемнадцать верных...»

Ваня Кавуненко двумя ударами ножа распорол завязку мотни, и рыба — что-то густое, плотное и ярко блестящее — выдавилась из трала, как серебряная краска из тюбика.

— Чистая! Чистая, Пал Сергеич! — кричал мастер рыбцеха Калина, протягивая капитану две горсти рыбешек. Сардина хрустела под его сапогами, как снег в морозный день.

Загремели крышки люков, рыбу сгребали к ним лопатами, и шла она очень легко, ребята скользили по густой слизи, хохотали, а Витя Хват чуть сам не угодил в люк. Палубники, на вахту которых пришелся долгожданный трал, побежали одеваться без всяких команд и распоряжений.

Юрка Зыбин прыгал в коридоре у своего шкафчика на одной ноге, все не мог попасть в штанину. Фофочка ждал его, уже одетый: штаны «БУ», новые кирзовые сапоги, новый клеенчатый фартук прямо на голом теле и белые нитяные перчатки.

— Как я? А? — игриво спросил Фофочка и покрутил над головой рукой в перчатке.

— Д'Артаньян, — весело ответил Юрка и попал наконец в штанину.

— Надо обязательно так сфотографироваться, — уже серьезно и озабоченно сказал Фофочка.

— Обязательно, — поддержал Зыбин. — С акулой, которой ты раздираешь пасть. Да зачем фотографироваться? Отлейся в бронзе... Пошли...

Он не стал надевать сапоги. Сапоги ему достались худые, а в худых сапогах стоять в воде даже хуже, чем без сапог.

Направляясь вместе с Фофочкой в рыбцех, Зыбин неторопливо думал, где поставит его мастер, что предстоит ему делать, и прикидывал, куда встать самому, если случится выбор.

Юрка плавал на больших морозильных траулерах и знал, что всякая работа в рыбцехе тяжела. Приходилось ему работать «на ванне», таскать в ванну лед и черпать из нее корзиною рыбу. Там очень зябнут руки. А если рыба перележит в ванне и «завоняется», надо ее оттуда выгребать в шнек на муку или выбрасывать за борт. Это одна из самых неприятных в мире работенок — суетиться в ванне по колено в тухлой рыбе. Куда приятнее быть «мотоциклистом» — так называли ребят, которые возили в холодильные камеры вагонетки с противнями. В противни укладывали, или, выражаясь на лексиконе траулера «Державин», улаживали, сардину. Надо было именно улаживать рыбок плотненько, голова к голове, тогда входило в противень килограммов десять-одиннадцать. А если так, сгрести и

накидать, — от силы семь. Ну так вот, «мотоциклисты» возили эти противни в холодильные камеры. У них и делов-то всех — снимать с конвейера противни с рыбой и грузить на вагонетку. Как загрузишь, включай пневмопривод и вези. Привод этот (интересно, кто только придумал такой!) звук издает совершенно неопиcуемый и ни с чем не сравнимый. Так могли бы ржать железные жеребцы, если бы они были на свете. Работа у «мотоциклиста» нетрудная, но в цеху тридцать градусов жары, а в камерах тридцать градусов мороза. И от этого у «мотоциклистов» часто случаются чирьи. Но все-таки, наверное, самое неприятное стоять на глазировке, где замороженную рыбу окунают в воду, чтобы вытащить брикет из противня. Очень там не сладко: ледяная вода брызгает из ванны на фартук и стекает прямехонько в сапоги — самая подходящая подготовочка для того, кто задумал подцепить ревматизм. Другое дело — «гробовщик». Там работа сухая. «Гробовщик» упаковывает брикеты в картонные коробки. За смену надо перекидать тонн восемь, и руки после даже во сне гудят, как камертоны. Редкий «гробовщик» наутро делает зарядку. Случалось Зыбину быть и «полярником» — часами торчать в трюмах, где мороз — 16, а когда уж совсем посинеешь, лазать ла палубу прямо в полушубке и валенках, а на палубе механики, у которых в машине глаза от жары лопаются, смеются над тобой, как над идиотом последним. Вот так и получается: одни греются, другие остывают — комедия, да и только...

И немало трудных дней пройдет и бессонных ночей, пока «полярники» забьют носовой трюм, а за ним средний, самый большой, а за ним кормовой, а потом перепашут винтом несколько тысяч миль штилей, зыбей и штормов и выгрузят все эти коробки из всех этих трюмов, разморозят рыбок и набьют в жестянки — вот тогда конец. Тогда иди, покупай, ставь на стол и закусывай. Называется «сардины в масле». Наливай и закусывай. Но если никого знакомых у тебя в море нет, а сам ты был в море однажды, шел из Алушты в Ялту на «Изумруде» — шикарной эмалированной посудинке, с шикарными девочками и буфетом, где торгуют коньяком, не чокайся, пожалуйста, «за тех, кто в море». Не надо.

Когда Юрка Зыбин вместе с Фофочкой вошел в рыбцех, он показался им очень веселым. В гулком железном его пространстве билось эхо голосов суетившихся повсюду людей, звенели противни, хрустел и шуршал под ногами лед. Из распахнутых иллюминаторов лился чистый солнечный свет, голубые зайчики прыгали на подволоке, все вокруг было мокрое, блестящее, словно умытое к празднику. Работа уже началась, но было еще много глупой суеты, неразберихи, неизбежной при начале всякого дела, в котором занято много разных людей.

Николай Дмитриевич Бережной, который прямо с кормы спустился в цех, понимал это, и отсутствие четкого рабочего ритма пока не смущало его: все образуется, главное — начать.

— Опаздываем, Зыбин, опаздываем! — закричал он, увидев Юрку и Фофочку, закричал, впрочем, скорее подзадоривая, чем сердясь.

Подбежавший мастер Калина, самый главный теперь человек, приказал:

— Зыбин — на упаковку. Запакуешь, пиши дату. Вот тебе карандаш. Какая сегодня дата, знаешь? Вот ее и пиши. Так. С тобой — все. Теперь ты, — он обернулся к Фофочке, — как твоя фамилия? (Фофочка как рулевой не числился в палубной команде, и Калина имени его не знал.)

— Лазарев. Первая подвахта.

— Лазарев, первая подвахта. Хорошо. Вот тебе, Лазарев, корзина. Бери корзину, носи рыбу вон из левой ванны, понял? Из правой пока не носи. Так. С тобой все.

Над головой страшно загрохотало, словно там, по палубе, шел поезд. Это снова спускали трал. «Вот бы еще тонн пятнадцать, — подумал Юрка, — а там, гляди, и пойдет и поедет...» Он сунул карандаш за ухо и подошел к столу укладчиков, присматриваясь, где бы ему встать.

— Вас, Зыбин, мастер куда поставил? — вдруг услышал он за спиной.

Юрка обернулся и увидел Бережного.

— На упаковку.

— А вы куда встали?

— Так нечего пока упаковывать... Когда она еще заморозится...

— Ну, хорошо... Только смотрите, чтобы с упаковкой не было перебоев. — Николай Дмитриевич понял, что замечание свое сделал ни к чему. Опять невыход получился. И за этим сопляком опять вверх.

«Что он все цепляется ко мне, — думал Зыбин, укладывая в противень сардину, — чего ему от меня нужно?»

— Р-рыбы! — раскатисто звучало то здесь, то там, и Фофочка еле поспевал таскать корзины. Немногие, подобно Зыбину, работали молча. Чисто механический процесс укладки рыбок не мешал разговорам, снова, уже, наверное, по третьему кругу, пошли анекдоты, посыпались байки, словом, мелкий местный фольклор.

Анюта стояла за длинным столом укладчиков рядом с Сашкой. Сашка пришел на подвахту раньше. Это она сама стала рядом с ним. Подошла и сказала: «Ну-ка, подвинься чуточку, я тоже здесь устроюсь». Так и сказала. Сама.

Ах, как паршиво было Сашке! Как муторно! Жарко. И весь он как-то заостенел. Руки, ноги, голова — ничего не поворачивалось и не крутилось. Он косился по сторонам и, поймав чей-нибудь взгляд, снова утыкался в противень. На Анюту он не глядел и боялся даже случайно прикоснуться к ней. Все время ему казалось: на него кивают исподтишка, с улыбочками тычут пальцами и вот сейчас начнут подмигивать: «Давай не робей», — смотрят, смотрят со всех сторон, и он еще ниже склонился над склизлыми досками стола.

— Ты что, заболел? — тихо спросила Анюта.

О, как громко она это спросила! Она прокричала на весь цех!

— С чего это ты взяла? — ответил Сашка с той нехорошей ухмылкой, которую она так не любила. Он всегда ухмылялся ей так на людях, становясь от застенчивости наглым и грубым.

— Да все молчишь. И красный какой-то, — очень просто сказала Анюта.

«Действительно, — подумал Сашка, — а почему я молчу? Я молчу, и это, наверное, сразу бросается в глаза». И он заговорил громко, торопливо поглядывая по сторонам и совершенно не понимая, о чем же он, собственно, говорит, заботясь только о том, чтобы в голосе его ясно звучало уверенное равнодушие:

— Да, кончилась ваша райская жизнь на камбузе, теперь узнаешь, какова она, рыбацкая жизнь, это тебе не камбуз, теперь не то, чтобы в кино, теперь умыться некогда будет, теперь все «а рыбе, два человека только имеют теперь право на рыбе не стоять: капитан и стармех, теперь нам надо пищу особенно калорийную варить и мяса побольше варить...

Он молот и молот, голос его заглушался иногда другими голосами, лязгом и звоном противней, зычными воплями «р-рыбы!» и диким ржанием вагонеток. А он все говорил и говорил, и ничего не слышал вокруг, и себя слышал словно издали. Руки его быстро-быстро укладывали сардину: головка к головке, а ряд сверх — «валетом»: хвостик к хвостику, он смотрел, что делают руки, и не видел рук, все старался не, взглядывать на Анюту и видел Анюту.

Она слушала его, склонив набок голову, и смотрела на него, чуть улыбаясь, совсем чуть-чуть, изредка отводя запястьем, не испачканным в слизи и чешуе, прядь волос со лба, а ему казалось, что говорит он совсем другое:

«Какая ты красивая, Анюта. Ты даже не представляешь,, какая ты красивая! Тоненькая, светлая, ни на кого не похожая девочка. Как ты улыбаешься мне, всегда вот так мне улыбайся. Дай я поправлю твои волосы, они пахнут ветром и еще чем-то земным, родным, чего нет тут, в тропиках. Я помню, как они пахнут, я почувствовал запах твоих волос тогда ночью, когда светился океан. Я все помню, помню твои пальцы, которые

спрятались сейчас в эти уродливые перчатки... Вот приедем в Гибралтар, и я куплю тебе перчатки из самой тонкой кожи, самые лучшие перчатки в Гибралтаре. Честное слово, я куплю тебе самые лучшие перчатки в мире! Слышишь, Анюта?»

Было тихо-тихо. Даже не гудел главный дизель. Не звенели противни. Не было людских голосов. И людей тоже никаких не было. Стояла одна Анюта и слушала его, улыбаясь и чуть склонив к плечу голову.

А он все говорил:

— Работа физическая мяса требует. Рыба что? В рыбе фосфор, рыба — это для тех, кто умственным трудом занимается, им фосфор нужен и сахар. В Америке один чудаковитый ставил, решил целый год одним сахаром питаться, говорят, трех дней не дожил...

— Вот обидно, — отозвалась Анюта. — Что же ты так смотришь на меня, — сказала она, — ну нельзя же так смотреть, Сашка! И не красней и не косись на ребят, все я понимаю, Сашка...

«А радист-то опять с этой блондиночкой, которая на кухне работает. На камбузе», — мимоходом отметил про себя Николай Дмитриевич, оглядывая рыбцех.

Вахта рыбообработчиков не прерывалась круглые сутки: четыре часа работы, четыре — отдыха. Систему эту называли «четыре через четыре». Это тяжело. В первую ночь Зыбину досталась, конечно, самая трудная вахта: с двух ночи до шести утра.

Разговоры умолкли. Монотонность и однообразие движений, ровный низкий шум близкой машины укачивали, баюкали. Глаза Зыбина были открыты, он запаковывал коробку за коробкой, не глядя, ловил бечевку, на которой был привязан карандаш, одним росчерком ставил дату, бросал коробку на транспортер, делал все быстро и ловко, но он спал. Спал тяжелым, тупым, душным сном. Когда открывали морозильные камеры и ледяной туман стлался густой белой пеленой над железным полом, хватая за ноги. Юрка просыпался. Его начинало знобить. «Только бы не заболеть, — думал он, — а может, оттого знобит, что спать хочется...»

Часам к пяти сон начал улетучиваться. А в шесть, когда пришла новая вахта, и вовсе не хотелось спать. Он принял душ. (Вода была, конечно, морская. Пресный душ устраивали один раз в две-три недели. Это уже называлось не душ, а баня. Это был большой праздник.) С удовольствием подставил усталое тело тонким и крепким, как проволока, струям горькой, едкой воды. Вода выжигала глаза. После душа у всех красные глаза. Но все равно, душ — это отлично! Капитан говорил, что и полезно очень. А может, и врал, чтобы пресную воду не кланчили.

Потом Зыбин пошел в столовую, взял миску макарон и несколько больших кусков жареной макрели. Королевская макрель — вполне подходящая еда для «гробовщика». Ел не торопясь. Он любил после вахты есть не торопясь. Зажав в ладонях кружку, медленно цедил приторно сладкое какао. Выпив одну кружку, он налил вторую и уже почти выпил эту вторую, когда прибежал Сашка и закричал:

— Кончай чай гонять! Давай на палубу волчьим наметом! Такое делается!

Они выскочили на палубу.

— Смотри, — сказал Сашка восхищенно. Юрка взглянул и обомлел.

До самого горизонта шли дельфины. Тысячи дельфинов. Это был великий парад океана, невиданная демонстрация могучей его жизни. Все вокруг кипело от беспрестанного движения животных. Каждую секунду несколько сотен дельфинов выскакивало из воды, блестя на солнце глянцевитыми черными спинами. Тяжело поднявшись, они снова уходили в воду плавно, без брызг, а на смену им поднимались все новые и новые. Иногда они двигались группами, косым строем, один на полкорпуса впереди другого, а когда выпрыгивали, — в воздухе надолго зависала черная арка из живых тел. Маленькие тянулись за матерями, но ныряли они еще плохо, смешно шлепались животами.

Юрка кинулся к фальшборту и, перегнувшись, увидел четырех крупных дельфинов, легко скользящих в воде рядом с траулером. «Державин» шел достаточно быстро — около 14 узлов, — но дельфины не отставали, и это удавалось им безо всякого видимого усилия.

Юрка хорошо различал их гладкие сильные тела и маленькое отверстие дыхла на голове. Ему показалось, что и дельфины приметили его. Один из них, самый крупный и плывущий впереди, несколько раз легонько выпрыгивал из воды, косясь, как почудилось Зыбину, в его сторону. Поднятые кверху уголки пасти сообщали морде дельфина веселое и чуть лукавое выражение. Юрке показалось, что он услышал, как этот большой дельфин тихо и ласково свистнул соседу, и оба сразу выпрыгнули из воды.

— Здорово, ребята! — весело крикнул Юрка и помахал им рукой. — Здорово! Счастливой охоты!

В этот момент откуда-то с бака негромко, но очень отчетливо хлопнул выстрел. Еще. И еще один. Юрка оглянулся. Сашка стоял, вытянув шею, слушал.

— Айда! — крикнул Юрка и кинулся первый в коридор правого борта, понесся мимо каюты стармеха и камбуза, мимо кают акустиков, и кают-компаний с портретом Державина, и каюты первого помощника № 24 на бак. Чуть не поломав ноги о высокий комингс¹, он выскочил на носовую палубу, задыхаясь и быстро оглядываясь по сторонам. Несколько человек стояли, перегнувшись через фальшборт, несколько одинаковых спин и одинаковых макушек. А за макушками все шли и шли дельфины, все прыгали и прыгали, спокойные и гордые своим неистребимым множеством. И вдруг опять хлопнул выстрел. Совсем близко, метрах в тридцати от траулера, один восставший из воды дельфин дернулся в воздухе и тяжело упал в воду, упал и лихорадочно засуетился, видимо, стараясь нырнуть поглубже, спрятаться.

¹ Комингс — металлический лист в виде высокого порога, который устанавливается для того, чтобы вода с палубы не попадала во внутренние помещения судна.

Юрка обернулся и увидел стрелка.

Сережка Голубь прильнул к малокалиберке всем телом, слился с ней — лицо резкое, сам весь крепкий, твердый, как приклад, голые загорелые руки, с крутыми мускулами, не оторвать от ложа — и вот повел всем телом, повел ствол чуть левее и выше и коротко — бах! — совсем не громко.

И снова как будто наткнулся на что-то в воздухе прыгающий дельфин, срезался, и ясная, чистая вода помутилась, словно упал он в илистую яму. Юрка почувствовал знакомый, но забытый уже сладковатый запах пороха. А Голубь с пьяными от радости глазами рвал затвор, не отводя жадного взгляда от океана, вкладывал новый патрон. Зыбин бросился к нему и с силой, которой не знал в себе, схватил Голубя за шиворот. Голова Сережки дернулась, он оторопело обернулся и прежде чем понял, что происходит, Зыбин, скрипнув зубами, ударил его в лицо, в его радостные глаза. Ружье загрохотало о палубу. Голубь упал, но тут же вскочил, пригнувшись, опустив окровавленное лицо, шагнул к Зыбину и ловко, сильно ударил его снизу в подбородок. В глазах у Юрки потемнело. «Но упасть!» — приказал он себе и отступил на два шага, выигрывая те миги, в которые спадала с него дурнота. Голубь надвигался и шипел:

— Убью, подлюка! Убью, как собаку! Вдруг быстро метнулся назад, к винтовке. Навалились на обоих, тяжело, гроздьями. Руки назад и в разные стороны. Голубь матерился, деланно вырывался. Юрка стоял спокойно, но когда Ваня Кавуненко спросил его: «Ты что, сдурел?» — вдруг закричал не своим, пронзительным криком, так, что даже вахтенный в рубке услышал его.

— Бандит! Фашист! Зверь! Зверь! — кричал Юрка. С ним приключилось что-то вроде припадка.

Девяносто седьмой день рейса

Теперь жизнь каюты № 64 стала совсем иной. Уже не было больше долгих бесед «за политику», редко кто брал в руки книжку, Юрка отговорил морские байки, и даже Фофочка

поунылся и уже не рассказывал о своей любви. Сашка здорово похудел, ходил какой-то взвинченный, будто чуть-чуть пьяный. Витя Хват являлся с вахты злой, мокрый, следил сапогами, ругался, когда Зыбин выгонял его в коридор разуваться, потом, скинув мокрое, карабкался к себе наверх, с тихими, блаженными матюгами вытягивался на койке.

«Молнии» шли теперь косяком. Рекорду в «Молниях» и призывы «равняться на...» мало кого занимали, но у доски, где проставлялись цифры: «Общий улов... Заморожено... Упаковано... Мука...» — народ толпился каждое утро.

Рыба шла хорошо, просто удивительно, что совсем недавно здесь нельзя было поймать ни одной сардинки. За сутки морозили по 20 — 25 тонн, а 30 июня все запомнили: «Молния» была в тот день с простынью — заморозили 32 тонны.

Вахта за вахтой, один день цеплял другой, крутилась неделя за неделей, как колесики в будильнике. Забили носовой трюм и приканчивали средний. Когда поднимали богатый трал, уже не тревожились: «А ну, как последний» — и если вытаскивали иной раз мешок пустым, не расстраивались: дело случая. Ну пошла рыба на вскид, а может, разогнали косяк дельфины или макрели.

Потеплели радиogramмы с базы Гослова, уверенность Арбузова в успехе рейса передалась сначала маленькому начальству, а от него большому — совнархозу, Киеву, Москве.

К середине июля забили наконец средний бездонный твиндек, и все сходились на том, что если и дальше так пойдут дела, то через неделю можно будет поворачивать на север, август встретить в Гибралтаре, а еще через неделю швартоваться к родной стенке. Уж сколько раз, словно наяву, ощущали они этот мягкий толчок о причальные кранцы — старые покрышки, вытертые до корда, — сколько раз их видели во сне...

Однако вдруг опять пошли перебои с рыбой, акустики потеряли косяки, находили маленькие, пуганые, зацепить их было трудно, и сардина попадалась сорная, перемешанная со скумбрией и ставридой. Морозили и скумбрию и ставриду, но все равно, по здешним понятиям, получалось мало: семь-восемь тонн в сутки.

Перебои с рыбой дали людям небольшой отдых. Два дня отсыпались напропалую, а потом опять потянулись к книжкам, шахматам, разумеется, забивали «козла», по вечерам в столовой снова начали крутить кино, а ночью на корме под прожектором удили королевскую макрель. И вот тут-то и вспомнил Витя Хват, что через три дня стукнет ему ровно двадцать пять — четверть века, дата серьезная, требующая к себе уважения.

Каюта № 64 заволновалась. Зыбин стал во главе оргкомитета по проведению торжеств. Он потребовал у Хвата список гостей.

Очень нелегко было Хвату составить этот список. Сначала он думал пригласить Ваню Кавуненко, своего бригадира, и Сережку Голубя — как-никак кореш. Но Сашка шепнул ему, что, если явится Голубь, Юрка уйдет обязательно и он, Сашка, тоже уйдет. Драка на баке обсуждалась два дня, и почти все были на стороне Зыбина. Гидроакустику Кадюкову, который дал Голубю ружье, сделали внушение, а с Голубем имел разговор Ваня Кавуненко. Что он ему сказал, никто не знает. Тралмейстер Губарев сообщил, что «беседа прошла в обстановке взаимопонимания», то есть Ваня Сережку не бил. Это точно. После «беседы» Сережка, выражаясь словами деда Резника, «весь ушел в ракушку и втянул рога». Так что и с Ваней Сережке навряд ли будет приятно снова встретиться. Прикинув все это, Хват понял, что Голубя, видно, лучше не звать, хотя и кореш.

— Я так думаю, — сказал он Зыбину, — значит, нас четверо и Ваня...

— И давай Анюту позовем, — предложил Юрка, — для женского общества, а? Все веселей, а?

— Правильно, — сказал Хват, — она жратвы притащит.

Юрка побежал на камбуз к Анюте.

— Значит, так, — сказал тихо, на ухо, — в 18.00. Каюта № 64. День рождения Витьки. Просим не опаздывать.

— Да как же я... — потупилась Анюта.

— Значит, точно в 18.00. Сашка ничего не знает. — Юрка сказал это так доверительно и дружески, что Аня удивленно вскинула на него глаза.

Из камбуза Юрка прошел в столовую и увидел Фофочку. Наваливаясь животом на липкую клеенку, Фофочка трудился: рождалась очередная «Молния».

— Надо ввести в судовую роль всех БМРТ должность Зевса-громовержца, — весело сказал Юрка и ткнул Фофочку в бок, — и вменить ему в обязанности метать «Молнии» в личный состав.

— Отстань, испорчу! — закричал Фофочка.

— Когда Шаляпин приходил к Репину, Репин вот так на него не орал, — наставительно сказал Юрка, — а рисовал, между прочим, не хуже тебя. — Он обнял Фофочку и взглянул через плечо на «Молнию». Это была не «Молния».

«Объявление, — прочел Юрка, — завтра, 1 августа, в 19.00 в столовой состоится общее собрание экипажа. На повестке дня:

1. Итоги промысла. Докладчик: капитан-директор БМРТ «Державин» П. С. Арбузов.
2. Принятие новых сообразительств. 3. Разное».

— Красота! — сказал весело Зыбин. — Подумать только, лишь сутки отделяют нас от того часа, когда в столовой соберутся посланцы со всех концов нашего необъятного траулера. Как говорится, радостная весть облетела корабль... Ну, ладно, ты давай закружись с этой фреской — и айда в каюту. А то гости придут, а хозяев дома нету...

К 18.00 в каюте № 64 был полный ажур.

Все блестело, такая немыслимая была чистота. Барашки иллюминаторов были надраены так, что на них прямо смотреть было больно. На столе, покрытом белой бумагой, стояли шесть тарелок. Для закусок тарелок раздобыть не удалось, и закуски лежали прямо на бумаге, но не навалом, а аккуратно, такими декоративными кучками: колбаса копченая (из чемодана Фофочки), сыр голландский, жареная макрель и порезанный дольками кусок холодной говядины (Хват принес от Казаева), две луковицы, тоже порезанные кружочками, как лимон, масло (Аня), хлеб и даже коробка шпрот (Фофочка). Стаканы и вино Зыбин предусмотрительно держал пока в своем шкафчике: всякое могло случиться, набредет начальство, поднимет крик насчет пьянок и аморалок, несовместимых с высоким званием советского моряка. А кому это нужно?

На стенах каюты висели писанные Фофочкой плакаты: «Да здравствует славное 25-летие!», «Быть передовым — это значит быть, как Витя» — и цитата, слегка переиначенная Зыбиным, из Лермонтова:

Полковник наш рожден был Хватом.

Слуга — царю, отец — солдатам.

Сам Хват в чистой салатного цвета шелковой рубашке сидел пока один за столом, придиричиво оглядывая все это великолепие и щурясь от удовольствия. Он был доволен достатком на столе, доволен подарками: огромной ракушкой от Зыбина, ножиком о восьми предметах от Фофочки и флаконом «Шипра» от Сашки. Он уже радовался будущей выпивке, — предвкушал богатый и неторопливый ужин, так не похожий на ужины в столовой, когда ты еще чая не допил, а уж гасят свет, уж кричат «пригнись мозгами!» и начинают крутить кино, которое видели сто раз. И плакаты ему нравились, и даже почему-то не раздражало надоевшее покачивание каюты, казалось, будто траулер тихо и задумчиво вальсировал в океане.

Вокруг стола суетился Зыбин, раскладывал вилки, ножи, резал хлеб. Потом убежал мыться, вернулся розовым и энергичным пуще прежнего, надел свою парадную рубашку, купленную в Рио два года назад, и начал кричать, что все опаздывают и что с такими людьми лучше ничего и не затевать. А Вите было приятно, что Юрка вот так волнуется и принимает все так близко к сердцу.

Наконец явился Фофочка и сказал, что Сашка запоздает, и просил начинать без него. Следом за Фофочкой пришел Ваня Кавуненко, тоже в чистой рубашке и старательно причесанный. Он подарил Вите оранжевую ветку коралла, почти нигде не обломанную, такую невероятно причудливую, что у Зыбина, большого охотника до морских диковинок, слюни потекли. Витя коралл по кругу не пустил, разрешил смотреть только из своих рук. Еще Ваня принес продолговатый сверток, а когда развернул, снова все ахнули: в бумаге оказалась бутылка «Московской особой», сорок градусов, под серебряной шапочкой, со льда, вся запотевшая, леший ее задеря, — и откуда только такое чудо!

— Аж неудобно, — смущенно сказал Витя, принимая поллитровку, и потупился, будто Ваня преподнес ему перстень с бриллиантом.

Все сели к столу, не из-за нетерпения, а потому, что просто некуда больше было сесть, если не на койки Зыбина и Сашки. Тут в дверь постучали. Зыбин метнулся к водке, и бутылка исчезла у него в руках, как у фокусника.

— Да, да, — сказал Ваня. — Входите...

Вошла Анюта. Все знали Анюту в белом халатике, даже не думали, что она может быть одета во что-то другое, и теперь, когда увидели ее в голубом платье и без белой косынки, волосы, как лен, как-то кверху зачесаны, так, что видна вся шейка и ушки розовые, такую стройную и ладненькую, тоненькую — загляденье! — ну, просто рты все поразевали, и молчат, и не знают, что и говорить.

— Ну, вот я и пришла, — сказала Анюта и улыбнулась Зыбину.

А Юрка все глядел на нее и чуть не поставил «Московскую» мимо стола. «Эх, хороша девка...» — подумал он и стал дальше про это думать, но остановил себя.

— Молодец! — сказал Ваня. — Садись скорей!

— Садись, — сказал Хват. — Гляди, чего у нас есть, — и показал глазами на поллитровку.

Анюта засмеялась — такой непосредственной была радость Витьки — и села между Фофочкой и Юркой.

— А подарок я принесу через полчаса, — сказала Анюта, — подарок в духовке пока.

Юрка запер дверь на ключ (не от начальства, а от своих: учуют, что выпивка, и напользут) и сказал решительно:

— Сашку ждать не будем. Прошу к столу, — хотя все уже сидели за столом.

Он открыл шкафчик, достал две бутылки «Матраосинского», стаканы и замер, не спуская глаз с Вити, который цепко тянул «Московскую» за серебряное ушко.

— Я вино пить буду, — сказала Анюта.

— Правильно, пей вино, — сразу поддержал Хват, которому жаль было расходовать на Анюту водку.

Разлили водку по стаканам, граммов по пятьдесят, прикидывая, чтобы осталось на второй круг с учетом Сашкиной доли.

Юрка налил Анюте вина, поднялся:

— Товарищи! Дамы и господа! В дни, когда, по словам деда Резника, вся наша страна переживает невиданный трудовой подъем, мы собрались здесь, чтобы отметить двадцатипятилетие известного, нет, прошу прощения, выдающегося русского советского рыбака Виктора Хвата. Вся жизнь товарища Хвата — пример самоотверженного служения...

— Кончай, — взмолился Витя, который от нетерпения сучил под столом ногами, — закругляйся!

— Ура, товарищи! — закричал Юрка.

Кляцнули стаканы, чокнулись, разом выпили, морща носы, разом потянулись за закусью.

— Пошла, — доверительно сообщил Хват Ване.

— И у меня пошла, — поддакнул Фофочка, который, по правде сказать, и не знал толком, что значит «пошла», а что — «не пошла». Он молниеносно, прямо на глазах пьянел.

Заговорили. Ваня с Витей о разноглубинном трале, Юрка с Анютой о близком уже доме, Фофочка вставлялся то к тем, то к другим, потом потребовал у Хвата, чтобы разливали по второй. Витя охотно согласился. Фофочка встал.

— Я предлагаю тост за девушек, — очень значительно сказал он.

— Ура! — закричал Юрка. — Все пьют за Анюту!

— Не за Анюту, — строго поправил Фофочка, — а за всех девушек. И Анюта на меня не обидится. Правильно, Анюта?

— Правильно, — сказала Анюта.

— За всех, так за всех! — быстро согласился Хват.

— Давайте за всех, — весело сказал Юрка. — Белых, желтых и черных. Ура!

— Ура! — прогудел Ваня и первый чокнулся с Анютой.

— Ура! — подхватил Хват, радуясь, что тост не затянулся.

Выпили по второй.

В запертой двери задержалась ручка. Все оглянулись на дверь. Ручка дергаться перестала. Тихонько: тук, тук, тук-тук-тук, тук — условный стук.

— Сашка, — успокоенно выдохнул Хват.

Юрка отпер дверь. Вошел Сашка. Увидел Анюту, очень смутился, спешно забормотал что-то дурацкое:

— Значит, вся компания в сборе? Ну, примите в компанию! А то, может, не примете? Все съели-выпили без меня, а? Я уж и так торопился, все, думаю, без меня съедят...

На людях в присутствии Анюты Сашка глупел катастрофически. Юрка встал, уступил Сашке место подле Анюты. Сашка замычал что-то, протестуя. Юрка зашикал на него:

— Я с краю должен... У меня вино в шкафчике, садись, садись...

— Штрафной ему! — заголосил Фофочка.

Хват налил Сашке остатки водки, законную его долю.

— Ну расти большой и будь здоров! — Сашка чокнулся с Хватом, с ребятами, с Анютой напоследок, она улыбнулась ему, он совсем смешался, спасаясь от ее глаз, махнул в рот водку, поперхнулся, закашлялся, начал закусывать чем попало, только бы побыстрее.

— Не пошла! — прокомментировал Фофочка.

Юрка постучал Сашку по спине. Все развеселились еще больше. Витя с сожалением повертел в руках пустую поллитровку и бросил ее в иллюминатор. Она беззвучно исчезла.

— Кончен бал, погасли свечи, — сказал Юрка.

— Будем пить родное тропическое! — закричал Фофочка.

Витя стал разливать вино.

Сашка, вконец подавленный близостью Анюты, удивленный донельзя тем, что это она, Анюта, невероятно, до слез, красивая в этом голубом платье, вот здесь так запросто, в его каюте, рядом с его ребятами, ест, пьет вино помаленьку, разговаривает то с Фофочкой, то с Юркой, то с Ваней Кавуненко, сидел столбом, трезвый, — хмель не вошел в его мятущиеся мозги, — не знал, что делать, что говорить.

— Быстро вы собрание провернули, — сказал наконец Сашка Зыбину для того, чтобы хоть что-нибудь сказать.

— Какое собрание? — рассеянно спросил Юрка, кусая ломоть холодной говядины. — Витька, ешь мясо. Мясо — первый сорт...

— Ну как какое? С обязательствами...

— Завтра будет собрание, — вставился Фофочка, — завтра в 19.00.

— Витя, не наливай ему больше. Он уже хорош, — сказал Сашка.

— Это ты хорош! — пьяно обиделся Фофочка. — Завтра в 19.00.

— Точно, — весело сказал Юрка, — сам мешал ему писать... Так что, Витя, наливай ему, я разрешаю.

— И я видела, — сказала Анюта, — объявление в столовой висит.

— Что я, псих, что ли! — упорствовал Сашка. — Как оно может быть завтра, если я сейчас только передавал обязательства?

— Это какие еще обязательства? — насторожился Хват. Он не любил обязательств.

— В честь пленума, — сказал Сашка растерянно.

— Как в честь пленума? — спросил Ваня. — Как же так...

— Пленум завтра открывается... Ты радио слушаешь? — спросил Сашка.

Витя снова начал разливать.

— погоди, — остановил его Ваня, — поставь посуду. Не пойму я что-то...

— А что тут понимать? — удивился Сашка. — К открытию пленума БМРТ «Державин» заморозил 500 тонн рыбы и берет обязательство заморозить еще 100 тонн. Принято единогласно на общем собрании...

— Да ты понимаешь, что не было никакого собрания! — «звился» Юрка.

Все смотрели на Сашку.

— И какие 500 тонн, если с утра было 465? Ну, пускай ошиблись, просчитались, тунцов приплюсуй, пускай 470, но ведь не 500! Как же ты передаешь «500»?! — насканивал Зыбин.

— Да я-то при чем? — Сашка начинал злиться. — Собрание постановило, а я...

— Опять собрание! — Зыбин воздел руки. — Не было собрания, понимаешь? Не было!

— Но я передал...

— «Липу» ты передал! «Ли-пу». Фальшивку, понял? Которую завтра в 19.00 будут проводить задним числом, понял?

— Но ведь подписи... — робко возразил Сашка.

— Чьи подписи?

— Арбузов, Бережной, Митрохин.

— Арбузов, Бережной... — повторил Юрка. — Ладно, пусть Арбузов и Бережной, бог им судья. Но Митрохин! Пашка Митрохин, лучший механик, краса и гордость, комсорг! Выбрали на свою голову... Где Пашка?! — Он подскочил вдруг, как на пружине, будто чертик из табакерки. — Где Пашка-а? Давай его сюда! Я его спрошу, в каких это трюмах он 500 тонн нашел! И про обязательства мои, и твои, и твои, — он тыкал пальцем в грудь Вити, Фофочки, Вани, — спрошу у него.

— Полез в канистру, — добродушно сказал Хват. — Из-за чего крик? 500 или 470. Завтра собрание или сегодня. Какая разница? Пока трюма не набьем, домой не пойдем. Тебе не один хрен, когда ты за эти трюма будешь голосовать? Тебе что, завтра тяжелее руку поднимать будет? Просто смех: начальство в Москву шлет радиogramму, а матрос Юра за нее психует.

— А 500 тонн — это, я думаю, просто для круглого счета, — глупо сказал Фофочка.

— 500 или 470, разница всего 30 тонн. Это же пустяки...

— Это два дня работы, а не пустяки, — сказал Ваня.

— Бережному виднее, сколько у нас тонн, — улыбнулся Хват и поднял стакан. — Давайте выпьем за...

— «Бережному виднее»?! — закричал Зыбин. — Ему всегда виднее! Почему же ему виднее, Витя? — Он вскочил из-за стола. Некрасивое лицо его покраснело от вина, только странно белели оттопыренные уши. Все тело напряглось и вздрагивало, словно в ожидании решительного бега. — Я вот все думаю, думаю и никак придумать не могу. А может быть, все-таки нам с тобой виднее, а? Братцы, что же это такое, братцы, — он говорил уже тихо. — Ваня, объясни мне, ты же правильный человек... Объясни мне, Ваня, почему же Бережному всегда виднее. Все ему виднее: чей лангуст в трале сидит, виднее; как деду Резнику про мукомолку рассказывать, — опять виднее. И сейчас, оказывается, виднее ему, сколько я вот этими руками рыбы перекидал и сколько еще перекидать думаю... Тогда объясни мне, Ваня, кто я такой. Советский я человек на советском пароходе или пешка черная непроходная? Почему тебе не стыдно спросить меня, если чего не знаешь, почему вот Фофочку — штурмана — я могу морю учить, почему же я у Бережного только пень

дубовый, дурью кантованный, ничего сам не понимаю: ни как работать мне, ни как о работе своей сказать, ни как штаны в гальюне снимать, прости господи! А?

— Ну при чем тут это... — примирительно вставился Фофочка.

— Ты молчи! — перебил Юрка. — Для круглого счета, говоришь, 500 тонн придумали? Почему же не 400 или не 450? Тоже круглый счет. Вот скажи мне, Фофочка, грамотный ты человек, почему не придумали 700 или 1 000 тонн? А?

— Семьсот не влезут. А 500 — это близко... Впол-, не реальная цифра...

— Реальная! Реальная, говоришь! Значит, врать можно, надо только, чтобы похоже было на правду. Так?

— Не так, — сказала вдруг Анюта. — Или врать, или не врать, а сколько врать — это уже все равно.

— Во! — Юрка снова обернулся к Фофочке. — Слышишь? Вот она понимает это, а ты, с дипломом своим, ни черта не понимаешь! И кому врать? Зачем? Ну давай наврем, что заморозили тыщу тонн сардины, что амбары у нас трещат, хлеба нам некуда девать, что ракет атомных у нас десять миллионов или десять миллиардов и все на «товсь» стоят. Мы что, сильнее станем? Я так думаю — наоборот. Никогда от вранья сильнее не станешь. Так зачем тогда 500 тонн? Кому это выгодно?

— Начальству, — сказал Хват, — кому ж еще...

— Теперь Давай разбираться потихоньку, — сказал Ваня. — Значит, начальству. Начнем с, капитана. Парню тридцать два года. А ему доверили посуду на 4 700 тонн и 106 душ. Первый в жизни рейс капитаном. Это ты должен понимать? И какие у тебя к нему претензии? Сходили зазря в Гвинейский залив? Ну, ошиблись. Пусть. А еще? Ну, что молчишь? Возьми стармеха Петра Анатольевича.

— При чем здесь «дед»¹? — перебил Юрка.

¹ «Дед» — широко распространенное на море прозвище старшего механика вне зависимости от его возраста.

— Как при чем? Мы же о начальстве говорим, а «дед», поди, второй человек тут... Ну, так вот Петр Анатольевич... Тебя машина хоть раз подвела? А ведь уже накрутили на винты восемь тысяч миль и еще тысяч пять накрутим. Не шутка, брат, по глобусу мерить можно. Ступай к Пашке Митрохину, спроси у него за стармеха. Пускай Пашка тебе расскажет, как из него, жлоба одесского, пьяни портовой, стармех человека слепил.

— Оно и видно, «человека», — перебил Зыбин. — На собраниях шибко идейный, а сводки «липовые» подмахивать ему идеи его не мешают...

— Откуда эта подпись, разобраться надо, — спокойно сказал Ваня. — Так кто же это начальство? Давай в открытую: Бережной, да? Согласен, случайный на море человек...

— А на суше не случайный, а вообще в партии не случайный? — бросил Зыбин.

— Дикая вещь, — продолжал Ваня. — Вас послушаешь — и получается так: рыбу заморозили мы, целину распахали мы, спутник пустили тоже мы. Все правильно. Ну, а если что плохо, тогда кто? Если плохо: совнархоз, Госплан, министры в Москве, только не мы. Так получается? Почему так? Я об этом много думал. Не знаю, прав я или нет, но думаю так: перестали люди чувствовать себя хозяевами, ответственными за все... Только-только начинаем мы снова силу в руках... Нет, не в руках, в голове набирать. Место самому себе во всех делах находить. Юрка кипятится, но в главном он прав: надо точно запомнить — мы не пешки, нам до всего дело есть...

Привычный уху шум воды за бортом изменился: «Державин» сбавил ход до малого.

— Сыпать будут, — сказал Хват.

— Выпьем, что ли? — спросил Фофочка.

— Правильно, — сказал Хват, — надо выпить.

— Ой, мамочка! — вдруг в ужасе закричала Анюта, вскочила, бросилась к двери, повернула ключ и бегом понеслась по коридору.

Все переглянулись.

— Понял, — сказал Юрка. — Накрылся ваш подарок, мистер Хват.

Анюта вернулась с тарелкой, на которой лежало что-то круглое, цвета кофе по-турецки.

— Подгорел, — убитым голосом сказала Анюта. — Но цифры все-таки видны,...

Неожиданно (было уже темно) подняли большой трал, а следом — еще один, больше прежнего. Работали всю ночь. Когда на собрании вечером следующего дня Бережной сказал, что экипаж траулера встретил пленум хорошим трудовым подарком: заморожено 500 тонн сардины, — из задних рядов кто-то поправил:

— Не пятьсот, а пятьсот две...

Обязательства приняли единогласно, как и сообщалось накануне в радиограмме.

Сто восьмой день рейса

Через неделю взяли полный груз, вбили в трюмы что-то около 592 тонн (больше не влезало), не считая тунцов, двух морских черепах и гигантской акулы-молота, которых везли для музея. Акулу, чтобы не занимала много места, привязали к трапу холодильного трюма. Она заиндевела, глаза белые, а если пальцем тронешь плавники, тонкий такой звон...

Убрали трал, закрепили стрелы на корме по-походному, вымыли рыбцех. Капитан поздравил команду, выдали по стакану вина сверх нормы, объявили день отдыха, из последних остатков пресной воды устроили баню и отсыпались всласть, чистые на чистом белье. А утром не сразу как-то и поняли, что все. Все! Что путь теперь один — домой. Сидели в столовой тихие, растерянные какие-то. Все хорошо, только вот харч был не праздничный. Мясо перемерзло, картошка кончилась, рыба, рыба, макароны, макароны... Подумать только: в Гибралтаре купят 200 килограммов редиски!

Потом устроили грандиозную приборку, мыли, скребли, драили, красили. Работа была веселая, на воздухе. Это вам не рыбцех, не мукомолка вонючая, это курорт самый настоящий!

Африка растаяла на востоке, зато с левого борта совсем близко плыли Канары — цепочки гор острова Фуэртовентура, такая зеленая, прекрасная земля и название удивительное, как у волшебной птицы: Фуэртовентура. Зелень земли заливала океан, из ярко-синей вода стала бутылочной, не поймешь, что и красивее. Айболит рассказывал, что на Канарах лучший в мире климат, зимой и летом 25 градусов, дождей сколько надо, а остальное — солнце.

Зыбин красил на корме трап, слушал Айболита и думал о том, что справедливо было бы понастроить на Фуэртовентура Артеков, возить сюда ребятишек со всего света, садок от акул им отгородить, апельсинов пароходика два в месяц пригонять из Марокко, вот это был бы порядок... Он тосковал о сыне больше, чем о жене.

Прошли Канары, и океан снова стал синим, вспыхивал ярко-белыми гребешками, катился во все стороны неоглядно широко. Все теперь ждали Гибралтара, только и говорили о Гибралтаре, прикидывали и «соображали».

Юрка не раз бывал в Гибралтаре, знал этот маленький городок вдоль и поперек и эти разговоры знал, так и должно быть, всегда прикидывает матросня, как будет она обарахляться, что почем, точно все рассчитают до последнего шиллинга, а на деле все получается по-другому, это уж обязательно.

Больше всех тревожился Витя Хват. Сам факт первой в жизни встречи с чужестранной землей совершенно не волновал его. Он все старался уточнить прейскурант гибралтарских розничных цен на промышленные товары и соразмерить его со своими возможностями. Вместе с Сережкой Голубем сидели они на верхней палубе, карандаш, бумажка, — прикидывали.

Витя решил танцевать от печки.

— Так, — сказал он Голубю, — давай по порядку. Почем у них хлеб?

Сколько стоил хлеб в Гибралтаре, Голубь не знал.

— При чем тут хлеб?! — горячился он. — Каперту можно найти за два фунта. Первым делом бери «Мишек», «Тарантеллу», а если нет, «Мадам Коробчи». «Мишки» в Донбассе «на ура» идут...

Капертами назывались ковры из искусственной пряжи, которые делали не то в Неаполе, не то в Барселоне и свозили в Гибралтар специально для русских моряков, потому что больше никто их не брал. Учитывая это, на капертах яркими ядовитыми красками изображались картины, которые, по мнению их изготовителей, не могли не тронуть загадочную славянскую душу: «Утро в сосновом лесу» Шишкина — эта каперта называлась в обиходе «Мишки», а также «Три богатыря» и «Аленушка» Васнецова. Для экзотики делали «Тарантеллу» — чернокудрая красавица в вихре юбок, разумеется, с кастаньетами в руках, и «Мадам Коробчи», душераздирающая сцена: всадник в белом бурнусе, перед ним поперек седла перекинута пышная блондинка с развевающимися на ветру волосами, а сзади — погоня на арабских скакунах. Была еще одна картина: бедуины и верблюды подле великих пирамид, — но шла она плохо, и названия ей не придумали.

В Одессе, Херсоне, Ялте и Керчи комиссионки давали за каперту ровно 1 004 рубля, цену эту знали наизусть все китобойцы и танкеры, все перегонщики, траулеры и рефрижераторы, цена, как говорится, твердая, а хочешь больших прибылей — кати в Донбасс или в Ташкент. Поэтому каперта была вроде самостоятельного гибралтарского денежного знака со своим валютным курсом. Считалось, что, если уж и покупать что в Гибралтаре, так самый резон эти вот каперты. Хват решил во что бы то ни стало добыть шесть каперт.

Фофочка не думал о капертах. Он никогда не был в Гибралтаре, как, впрочем, в любом другом иностранном порту, и ждал его с нетерпеливым любопытством. Если для Хвата Гибралтар был универмагом, то для Фофочки — скорее цирком.

Сашку будущая стоянка манила потому, что он надеялся хоть несколько часов побыть с Анютой, если не наедине, то хотя бы среди людей незнакомых, равнодушных к их близости.

Гибралтар для Юрки Зыбина был прежде всего землей, твердью, которая не качается и не дрожит, по которой можно идти так долго, что с непривычки заболят ноги, и можно даже пробежаться, на которой растут деревья с зелеными листьями и зеленая трава, и бегут ручьи и речки, и вода в ручьях и речках не пахнет железом. Ему хотелось съесть апельсин, один большой тонкокожий испанский апельсин, впиться в него зубами и почувствовать, как сок бежит по подбородку. Один апельсин, а после он снова согласен на макароны и рыбу. И еще хотелось ему увидеть новые, незнакомые человеческие лица и увидеть детей. Такие всегда причесанные мальчишки в Гибралтаре...

Дед Резник мечтал, как он купит себе крепкого табаку, самого крепкого, какой только найдется в этой лавчонке у казарм, слева, если идти из порта в город.

Доктору Ивану Ивановичу не терпелось осмотреть достопримечательности. Стармех Мокиевский рассказал ему, что в Гибралтаре есть музей, а в парке прямо на свободе гуляют обезьяны, и ему очень захотелось сфотографировать обезьян на свободе.

Сам Мокиевский, думая о стоянке, представлял себе, как они с ребятами, не торопясь, разберут по винтику этот злосчастный насос забортной воды и узнают наконец, что же с ним стряслось. Мокиевский был в Гибралтаре, наверное, раз сорок.

Старпом Басов прикидывал, успеют ли они покрасить нос и где, черт побери, будет он искать эти японские батарейки. Иногда даже снился сон: вплотную придвинув к нему лицо, сын спрашивал зловещим шепотом: «Ты купил мне японские батарейки?»

Капитана Арбузова занимали более всего хлопоты, связанные с любым заходом в иностранный порт: работа с лоцманом, визит карантинного врача, торговля с шипшандлерами 1 — того и гляди надуют, всучат какую-нибудь гадость, тухлятину, начнутся всякие фокусы с валютой, — да мало ли мороки в порту...

1 Шипшандлер — представитель фирмы, поставляющей на судно различные виды товаров и продуктов.

Но более всех тревожил заход в Гибралтар Бережного. Николай Дмитриевич очень боялся, что в Гибралтаре кто-нибудь убежит. «Убежит» — в смысле попросит политического убежища. Ведь были случаи! Были! Имели место! И, наверное, тогда тоже казалось: некому вроде решиться на такое, а нашелся подлец!

В который раз уже перечитывал Николай Дмитриевич судовую роль, одну фамилию за другой. Большинство фамилий связывалось в сознании Бережного с живыми человеческими лицами, а если он не мог вспомнить лица (все-таки 106 человек), то смотрел фотографию 4 X 5 на анкете и тогда уже вспоминал. Читал снова и снова, крутил так и этак, и все получалось, что вроде бы некому бежать, — все люди как будто надежные.

Сначала он особенно бдительно присматривался к тем, кто впервые попал в заграничное плавание и никогда не был в иностранных портах. Но потом подумал вдруг, что убежать Может и не новичок: один раз сходил, поглядел, понравилось. На другой и задаст стрекача...

За эти несколько дней узнал он из анкет очень много интересного: кто женат, а кто нет, у кого дети, у кого живы родители, а у кого умерли. Сперва он испытывал невольную симпатию к семейным, особенно многодетным. Но много детей — тоже не очень хорошо. От другой семьи не захочешь — убежишь. И алиментов платить не надо, не взыщут... И хотя ни в одной из сотни анкет не видел он, казалось бы, ничего подозрительного и заслуживающего недоверия, все-таки было страшно: «Вдруг!» Скажут: «Ты куда же глядел?»

Что делать? Кое-что можно сделать, конечно. Разбить всех на пятерки. Еще лучше на тройки. Пускай идут в город тройками. Одного ответственным назначить: чуть что, есть с кого спросить. Ну и по сменам, конечно, с умом распределить: кто с утра пойдет на берег, а кто после обеда. Например, радиста с судомойкой, ясное дело, в одну смену нельзя пускать. Тут и двух мнений быть не может. Но одними тройками задачи не решишь. Удрать и из тройки можно. «А ну как всей тройкой сговорятся?.. Ну как же я им всем в душу влезу?» — с тоской подумал Николай Дмитриевич и начал читать список: Алисов, Арбузов, Бабкин, Бережной, Бражник, — пока не уперся глазами в одну фамилию: Зыбин. Дерзкий этот Зыбин. Упрямый. Ну и что? Ну упрямый. Это еще ни о чем не говорит... Вот и жена у него, сын Валерий пяти лет. Это хорошо. Плавает с загранпаспортом уже давно. За китами ходил. Это хорошо. Везде вроде хорошо, а спокойствия нет. Взгляд у него какой-то не такой...

Николай Дмитриевич пополз глазами дальше по списку, нигде не задержался, а когда дошел до конца, вновь вспомнил Зыбина и тут же отметил про себя: «Вот ведь ни о ком не думаю, а о нем думаю... Почему? Интуиция?..» Он решил пристроить Зыбина в надежную тройку, но сколько ни подбирал ему попутчиков, все ему казалось: не те. «Хоть с собой его бери, — подумал Бережной. — А что? Может быть, это — самое лучшее...»

Мысль создать тройку под собственным командованием сразу как-то увлекла Бережного. Итак, он с Зыбиным. А третий? Третьим хорошо бы человечка с языком. Он быстро перелистал анкеты и остановился на анкете Айболита: Хижняк Иван Иванович, 1911 года рождения, украинец, из служащих, член КПСС, не состоял, образование высшее, окончил Львовский медицинский институт... английский (читаю, пишу), немецкий (читаю)... в плену и окружении не был... не имеет... «Отечественной войны» II степени, «За боевые заслуги», «За победу над Германией», — все в порядке.

Бережной успокоился. «Убежит! Убежит!.. — почти весело подумал он. — Никто никуда не убежит...»

На следующий день было короткое собрание, выступал капитан, сказал, чтобы все было пристойно по части выпивки, напомнил о драках и вообще о поведении в зарубежном порту, сказал, чтоб не забывали, короче, кто они есть.

Потом выступил Бережной, объяснил, что Гибралтар — колония Великобритании, крупнейшая крепость и оплот милитаризма, играющий важную роль в планах НАТО. И потому надо быть особенно бдительным и не поддаваться на провокации.

— А провокации возможны, — добавил он негромко и значительно.

Все притихли. Когда капитан поинтересовался, есть ли вопросы, Фофочка вдруг поднял руку и спросил, какие возможны провокации. Кто-то засмеялся. Бережной насупился, помолчал, потом ответил, что возможны самые различные провокации. Например, будут бесплатно предлагать выпивку. Дед Резник подумал про себя, что за сорок пять лет скитаний по белу свету нигде от Архангельска до Веллингтона ни разу не посчастливилось ему нарваться на такую провокацию. Однако промолчал: теперь все может быть, теперь времена другие...

Потом Айболит выступил с короткой исторической справкой, рассказал о маврах, испанцах и англичанах, кто кого когда побеждал.

Потом объявили, кому ехать с утра в город, а кому с утра красить нос и кто поедет в город в 14.00 и кто в 14.00 заступит красить нос. Тут Сашка узнал, что ему ехать утром, а Аняте вечером, и ужасно расстроился. Так расстроился, что решил идти к капитану просить отправить его тоже утром.

Пошел. Аргументов по работе у него не было никаких: радиостанция в порту не работала. Капитан и слушать не стал его лепет, замахал руками и сказал, чтоб он не морочил ему голову, а шел бы лучше к Бережному; вникать он, капитан, в это дело не будет, не надейся. «И не все ли равно, черт вас всех задерит, когда ехать?!»

Когда Сашка пришел к Бережному, Николай Дмитриевич встретил его приветливо, но в ответ на просьбу перевести его в другую группу сказал, что расписание утверждено капитаном-директором БМРТ и ломать его никому, даже ему, Бережному, не позволено, иначе не надо было бы составлять и утверждать никакого расписания и что, если капитан-директор издаст приказ, отменяющий это расписание, составит и утвердит новое, то у него, Бережного, никаких возражений не будет.

Сашка скис. Зыбин застал его в каюте лежащим на койке прямо в резиновых тапочках — сроду не было, чтобы Сашка в обуви на койку завалился, — и сразу все понял.

— Не разрешает? — спросил Юрка.

— Ну не все ли ему равно, паразиту?! — Сашка встрепенулся. — Любой приказ обязан иметь смысл. Какой тут сМысл, объясни! Объясни мне, и я заткнусь, но ты мне объясни! — Он ударил кулаком по подушке.

Юрка молчал.

— Молчишь? — зло спросил Сашка. — Под банкой ты много говоришь, прямо оратор, борец за справедливость, а сейчас вот что-то не слышно тебя!

«Ведь он прав, — вдруг подумал Юрка. — Почему мы все смелые только на словах? Вообще-то мы такие смелые, такие честные, так рубим правду-матку. А как до дела доходит — в кусты. Если только нам самим хвост не прижмет, все норовим отмолчаться...»

Бережной сидел за столом над списками, когда в дверь каюты постучали.

— Да-да, — отозвался он.

Зыбин стоял на пороге, аккуратный, подтянутый, почти по стойке «смирно».

— Разрешите...

— Прошу, прошу... Садитесь...

— Николай Дмитриевич, у меня к вам одна личная небольшая просьба, — сказал Юрка совершенно спокойно и как-то очень достойно.

— Пожалуйста... Всем, чем могу... — Бережной еще не знал, о чем будет говорить Зыбин, но был уверен, что просьба его как-то связана с Гибралтаром.

— Не разрешите ли вы мне во время стоянки съехать на берег во вторую смену — вместо Сергеевой? А она поедет в первую?

— Это зачем же? — спокойно спросил Бережной и подумал: «Ну-ка, что ты, интересно, ответишь? Что ты придумал на такой случай?»

— Я объясню. Дело в том, что Анюта Сергеева с камбуза и Саша Косолапое любят друг друга и хотели бы вместе съехать на берег. Погулять, посмотреть город...

Всего ожидал Бережной, но только не этого. Всякого ловкого обмана, всякой хитроумной лжи, но не правды.

— Понимаю, понимаю, — Бережной взглянул прямо в зрачки Зыбина, — хотя и не одобряю, прямо скажу. Любовь — дело хорошее. Но всему свое время. Приплывем домой — пожалуйста! Люби сколько хочешь. А тут — заграничное плавание. Пять миль до берега. И берега, сам знаешь, какие это берега... Не наши с тобой берега. — Николай Дмитриевич успокоился, обычная уверенность уже вернулась к нему. — Так что давайте-ка попридержим нашу любовь. — Он припечатал ладонью стол. — Приказ капитана-директора из-за любви ломать не будем. Ясно?

— Ясно, — ответил Зыбин.

— Ну вот и отлично...

— Ясно, что вы поступаете неправильно. Бережной резко обернулся.

— А об этом не вам судить, товарищ Зыбин!

— Я высказываю свое мнение, — твердо сказал Юрка.

— А меня не интересует ваше мнение! Ясно?!

— Вот теперь ясно окончательно. — Зыбин повернулся и вышел.

Он возвратился в свою каюту, когда Сашка уже ушел обедать. Это хорошо: хотелось побыть одному. Лег на койку. «Вот так. Вот так теперь всегда. Это сначала трудно, а потом уже невозможно будет иначе. Надо привыкнуть быть человеком. Как хорошо! Словно умылся чистой холодной водой...»

Он закрыл глаза.

Когда Сашка после обеда пил в столовой компот, а Анюта вытирала столы, он рассказал ей о том, что ходил к капитану и к первому помощнику и что ничего не вышло, вместе на берег им сойти не удастся. Анюта улыбнулась ему в ответ. Так она еще не улыбалась ему и сказала просто:

— Потерпи немного. Ведь совсем скоро дома будем...

После этих слов Сашка не мог пить компот и убежал. А потом, когда она уже ушла на камбуз, ворвался туда, как сумасшедший, с листком белой бумаги и карандашом. Бросил листок на стол, заставил Анюту приложить ладонь к листку и начал обводить ладонь карандашом. Было щекотно, когда карандаш полз между пальцами, Анюта смеялась и все спрашивала:

— Зачем это тебе? Слышишь, зачем? А он схватил листок и умчался.

Сто девятый день рейса

Поднялись рано, сами, без побудки. Мылись, брились, чистились. У Фофочки обнаружился гуталин, набежали, вымазали банку в пять минут. За утюгом стояла очередь. К Коле Путинцеву, который на корме ровнял машинкой виски, тоже стояла очередь.

Не успели позавтракать, как из-за волнореза выскочила красно-белая моторка, понеслась к траулеру. Это был шипшандлер, но уже другой, не тот, что приезжал вчера. Этот из банка, деньги привез. На носу моторки и на спасательных кругах значилось «Тапапа», — шипшандлер работал с русскими. Молодой, улыбчивый парень в дождевике. Помахал рукой.

— Добрый день! — сказал совсем без акцента. Прошел к капитану.

Город, огни которого видели ночью, утром оказался совсем другим — куда меньше вчерашнего. На вершине скалы, кроме радиомачт, виден был теперь ровный строй светлых домиков, похожих на казармы или бараки. Ниже их проглядывалась в зелени дорога. Внизу

город распался на отдельные кубики домов, больших, желтых, этажей/ в шесть, и совсем маленьких, сливающихся за пакгаузами порта в плоскую пеструю мозаику. Слева далеко выдвинулось в бухту насыпное поле аэродрома. На краю его чернели ангары и ярко блестели маленькие крестики самолетов. А вокруг был порт. Ветер носил чаек, как обрывки газет. Горы угля, юрты нефтехранилищ, краны, похожие на скелеты доисторических ящеров, тех, которые ходили на двух ногах...

По радио объявили: всем идти в столовую получать деньги и пропуска в город. Хват получил одним из первых и, отойдя в сторонку, изучал теперь свои капиталы, слушая объяснения Голубя.

— Зеленые, во, видишь, водяной знак, баба в шлеме — это фунты. Коричневая — десять шиллингов. Ну, полфунта. Вот эта монетка — ту шиллинг — это значит два шиллинга, а это поменьше — один, понял?

Витя с интересом рассматривал деньги, разглядывал молоденькую, совсем девочку, Елизавету, образцово причесанного Георга шестого, а на некоторых, изрядно потертых — Георга пятого, очень похожего на нашего Николашку.

Потом подали моторный бот, и все, кто съезжал на берег в первую очередь, собрались на корме у слипа. Сразу взять всех бот не мог, и Николай Дмитриевич со своей тройкой решил подождать второго рейса.

Вскоре бот вернулся и тут уже забрал всех. Город, так хорошо видимый с высокого борта траулера, сразу спрятался за пакгаузы и склады порта. Затрещал, завонял мотор, и они помчались, рассекая носом зеленую, тронутую нефтяными радугами воду, в которой носились щепки, обрывки бумаги, яркие апельсиновые корки. Бот пришвартовался к грязному каменному пирсу, все вылезли, прошли немного мимо крепких серых складов под гофрированным крашеным железом и очутились у ворот порта. Здесь они сдали свои пропуска полицейскому и получили взамен маленькие картонные бирочки — все, больше никаких документов.

Передавая бирочку, один из полицейских спросил о чем-то Зыбина по-английски, Зыбин улыбнулся, пошарил в карманах и передал полицейскому спичечный коробок.

«Английский понимает», — отметил Бережной. Как только они миновали ворота, он взял Зыбина под руку и совсем тихо спросил:

— Что вы передали полицейскому?

— Коробок спичечный. Он коробки собирает, — лениво ответил Юрка.

— А в коробке что? — еще тише спросил Бережной.

Юрка внимательно посмотрел в глаза Николаю Дмитриевичу: «Неужели хохмит? Нет...»

— А в коробке соответственно спички. А вот под спичками уже — ампула с нашим ракетным топливом.

— Ты мне шутки свои кончай, — строгим шепотом приказал Бережной. «Со спичками я перегнул», — подумал он. — Знаешь сам, где находишься...

— Знаю, — шепотом ответил Юрка. — Я здесь седьмой раз. Все знаю.

Николаю Дмитриевичу совсем не надо было разбивать весь экипаж на тройки или пятерки заранее. Люди, которые впервые попали в этот чужой и незнакомый город и не знали языка его жителей, совершенно естественно стремились не отстать, не затеряться, сами держались друг за друга и стихийно собирались в небольшие группы, объединенные не столько волей первого помощника, сколько просто личными симпатиями. И во главе их опять-таки стихийно оказывался не назначенный Николаем Дмитриевичем ответственный, а человек, побывавший раньше в этом городе или знавший несколько английских слов.

Оставив позади порт, рыбаки двинулись вверх по узкой улочке к центру городка и скоро вышли на небольшую площадь, ограниченную добротными казармами старинной постройки.

— «Здесь находится Первый батальон Его Высочества принца Уэльсского полка», — прочел вслух Айболит на фасаде одной из казарм.

Перед казармой маршировали десяток три солдат с автоматическими ружьями, одетые в рубашки с короткими рукавами и шорты. В сторонке, привлеченные их четкими перестроениями, горланя, носилась на велосипедах стайка мальчишек, видно, немалых озорников, но очень причесанных. Доктор решил сфотографировать этих солдат и мальчишек. Он уже снял колпачок с объектива, когда подошел Бережной. , .

— Не стоит, Иван Иванович, — чуть слышно сказал он. — Военная часть. Объект. — Он покосился на две надраенные медные мортиры начала XIX века величиной с табуретку, стоящие у входа в казарму. — Могут придраться, пленку засветить. — Рядом с мортирами сидел медный лев, а над ним на стойке висел медный гонг, яркий, как маленькое солнце. — Не стоит, право, Иван Иванович...

Рыбаки потянулись к лавчонкам, табачной и кондитерской, приютившимся тут же на площади, дед Резник купил себе большую пачку табаку и тут же набил трубку, в кондитерскую не заходили, поглазели на витрину и пошли дальше.

Все гибралтарские лавочники еще со вчерашнего вечера знали, что пришел советский «шип», знали, что на нем 106 человек команды, знали, сколько денег отвез им сегодня шипшандлер из «Royal bank of Gibraltar»¹. Все это им было известно, и они понимали, что эти деньги русские с собой не возьмут, оставят здесь, и весь вопрос теперь, у кого оставят. Юрка представлял, как сейчас начнут цепляться к ним лавочники и как нелегко будет от них отбиваться. Ему не хотелось шляться по магазинам. До сих пор не мог он решить, что же ему, собственно, надо купить, и понять: значит, ему просто ничего особенного не надо. Нет, надо. Игрушку какую-нибудь надо Валерке привезти...

1 «Royal bank of Gibraltar» — Гибралтарский королевский банк (англ.).

Юрка шел, с улыбкой поглядывая иногда на Николая Дмитриевича, натянутого, как струна (взгляд Бережного настороженно перебегал с дома на дом, словно он ждал, что из любой подворотни в него начнут стрелять), и на Ивана Ивановича, которого интересовало все: афиша американского боевика «Ночь в Сингапуре», старик, продающий лотерейные билеты, две монашки, утиным шажком пересекавшие улицу, балконы и ставни домов, — «помните, помните «Испанок» Коровина?» Никто не помнил «Испанок».

— Мы правильно идем? — глухо, как он никогда не говорил на траулере, спросил Бережной Зыбина.

— Точно, — ответил Юрка. — Сейчас выйдем на Мейн-стрит. Там все магазины... «Нашел себе гида», — подумал он с обычной своей неприязнью к первому помощнику.

Они вышли на узкую Мейн-стрит — главную улицу Гибралтара, по обе стороны которой шли лавки и бары. Лавки начинались еще на тротуаре. В лотках и коробках, прямо под ногами прохожих или на подставках у входа пестрели куклы, платки, носки, маленькие штуки тканей, над головами прохожих качались костюмы и кофточки, и свитеры, и пледы, и ковры, и еще невеста какая яркая галиматья, отчего вся улица представлялась празднично украшенной и казалась веселой, хотя никакого веселья нигде не было.

Айболит застрял в первой же лавке сувениров, хозяин которой напустил на бедного Ивана Ивановича стада деревянных слонов, легионы тореадоров и толпы карменсит. Он щелкал перед носом доктора кастаньетами, совал в руки зажигалки, открытки и колоды карт, навешивал на него вымпелы, косынки и бархатные куртки, на груди которых ярким шелком были вышиты морды тигров, а на спине — гибралтарская скала. Айболит оторопел. Потом начал интеллигентно отказываться, пытаясь объяснить лавочнику, что вряд ли он сможет все это купить, что его, собственно, интересует маленький бычок на витрине, в заливке которого качались бандерильи, и тореодор рядом, — хозяин бычка и слушать этого не хотел.

Юрка от души смеялся вначале, но, когда заметил, что потный Айболит сломлен и уже тянется в карман за бумажником, поспешил на выручку.

— Финиш, — строго сказал Юрка лавочнику. — Этот господин пошутил. Он желает иметь этого, ну... (забыл, как «бык» по-английски), ну, корову-мужчину за 6 шиллингов...

Во-во, именно этого... — и добавил по-русски: — Доктор, тут вам не Херсон, тут вам не скажут: не хотите — не берите. Капитализм, доктор, кровавая борьба за рынки сбыта.

Потом зашли в ювелирный магазин: Николай Дмитриевич решил купить дамские часы, вделанные в браслет. Юрке часы не понравились. Продавец просил за них восемь фунтов — цену нелепую и смешную, Бережной мялся-отдувался. Призванный им на помощь Айболит не понимал, что нужно торговаться, и все просил показать другие часы, и снова другие, и еще... Продавец догадался, что это совершенно неопытные русские, он несколько тяготился их необычным поведением и тем, что они не торгуются, но втайне он все-таки ликовал, надеясь продать часы если не за восемь фунтов, то хотя бы за пять. Наконец Зыбину надоела вся эта возня. Он подошел к прилавку, отобрал у Бережного браслетку, покрутил в руках и, бросив небрежно: «Уан паунд», — отодвинул от себя часы. Продавец сделал оскорбленное лицо, залопотал с мнимым возмущением, и Юрка сразу понял, что за три фунта он часы отдаст.

— Не давайте ему больше трех, — посоветовал Юрка ошарашенному его смелостью Айболиту.

Сам Зыбин торговаться не хотел. Тем более торговаться за часы Бережного. Отошел к другому прилавку, стал рассматривать брошки, серьги, бусы и кольца, соображая, не купить ли что жене, но ничего ему не понравилось, все казалось вычурным и безвкусным. Юрка вышел на улицу и, увидев в витрине напротив пистолеты, подумал, что тут наверняка можно найти что-нибудь интересное для Валерки.

Однако это были не игрушки. В витрине лежали настоящие пистолеты разных калибров — от тяжелых вороненых «Вальтеров» (а может, не «Вальтеров») до блестящих, веселеньких браунингов. Рядом шеренгами, как солдаты на параде, стояли патроны.

Кто-то схватил Юрку за рукав, он быстро обернулся и увидел бледное лицо Бережного.

— Ты куда же это от нас убежал? — переводя дыхание, спросил Николай Дмитриевич.

«Испугался, — весело подумал Юрка. — То-то. Без меня вам в первой же лавке карманы повыворачивают...»

— Тут я, — улыбнулся он. — Не беспокойтесь. Со мной все в порядке будет...

Пошли дальше. Один усатый испанец с помощью двух очаровательных дочек заставил-таки Айболита купить лохматый нейлоновый плед.

Потом Айболита дурачили чучелом неизвестного науке морского монстра, и Айболит снова пополз рукой в карман, но тут опять подоспел Зыбин и сказал, что это обыкновенный скат, из которого выкроили лапы, загнули их самым фантастическим манером, засушили. Потом тихо добавил, что он, Зыбин, сделает доктору такого (а может, еще лучше) за пузырек неразбавленного спирта.

— А вы что же себе ничего не покупаете? — спросил Бережной Зыбина.

— Деньги берегу, — лениво ответил Юрка.

— Давайте покупать, — наставительно сказал Бережной.

Николаю Дмитриевичу не нравилось, что Зыбин так свободно и легко держит себя в зарубежном, в капиталистическом порту, что он небрежничает с продавцами и словно на равных разговаривает с ним и с доктором. Очень взволновался Николай Дмитриевич у ювелира, когда, оглянувшись, не увидел рядом Зыбина и нашел его у оружейного магазина. Наконец, то, что Зыбин вроде бы даже тяготеет хождением из магазина в магазин и ничего себе не покупает, тоже показалось Бережному подозрительным. И когда Айболит отошел к полисмену узнать, как пройти к музею, а Николай Дмитриевич, рассматривавший в витрине обувь, обернулся вдруг и вновь не увидел Зыбина рядом, он почувствовал нехорошую дрожь какую-то, почувствовал, как ударило его в жар. Он влетел в один магазин — пусто! Выскочил на улицу и снова в магазин, в другой — пусто! Что-то сжалось внутри Бережного туго, как пружина. «Спокойно, — приказал он себе. — Прежде всего спокойно». Быстро дошел до угла, повернул в боковую улочку, узенькую, залитую солнцем. Пустынная

щербатая лестница бежала вниз. Он бросился напротив — лестница бежала вверх — и увидел Зыбина.

Юрка сидел на корточках и чесал за ухом у кошки. Кошка, пушистая, трехцветная, развалилась на теплом камне в сладкой неге.

— Ты что?! — не помня уже себя от ярости и страха, зашипел Бережной. — Ты что?! Деньги бережешь, да? Ты что задумал?!

Юрка, не подымаясь, смотрел на него снизу вверх, только взял на руки кошку и все чесал ей за ухом. В самый первый миг волнение Бережного передалось и ему, и в эту минуту, еще до слов Николая Дмитриевича, он старался успеть понять причину такого волнения. «О чем он говорит?» — пронеслось в его голове. Потом он понял и встал. Он стоял, низко опустив голову, в пустом ущелье каменной солнечной улочки, бегущей в гору, и все чесал у кошки за ухом. Набат гудел в его голове, как на пожар. Он понял, что бросится сейчас на Бережного и будет бить его мордой об эти солнечные камни. И тогда он закинул голову, вздохнул глубоко и, круто повернувшись, помчался вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, крепко прижав к себе кошку, ничего не видя впереди, не слыша крика за спиной. Он бежал все вверх и вверх, мимо молчаливых каменных домиков с решетчатыми ставнями, мимо редких людей и маленьких автомобилей у обочин, мимо высоких каменных заборов с карнизами из колючей проволоки и битого стекла и опять мимо домов и людей, все вверх и вверх, крепко прижав к себе кошку, словно в кошке было теперь все спасение.

Дома кончились. Он выскочил на шоссе, пересек его и бежал редким лесом. Солнце катилось за ним, прыгая из-за деревьев и каждым прыжком ослепляя его. Лучи били по стволам, как палка мальчишки по жердям забора, и, избитый ими, оглушенный нестерпимой трескотней тени и света, он упал вниз лицом в колючую и пыльную траву.

Капитан тщетно пробовал успокоить первого помощника.

— Ну, хорошо, допустим, вы правы, — горячо возражал Бережной, — тогда зачем он уходил незаметно из магазинов? Почему не тратил деньги? Почему? А когда я раскусил его, он понял, что попался, и бросился бежать!

— А с чем он попался? — спросил Арбузов.

— Ну, как же... Я же рассказывал... Я вижу — нет его, туда-сюда, заглянул в переулок, вижу — сидит, притаился, кошку гладит...

— Ну, а попался-то он с чем? С кошкой? — перебил Арбузов, и в голосе его уловил Бережной нотки раздражения.

«Ах, вот оно что! Все, значит, на меня валишь, Павел Сергеевич, — подумал Бережной. — Чистым остаться хочешь. Понимаю!...»

— Хорошо. — Ладонь Николая Дмитриевича припечатала стол. — Факт есть факт. А факты — упрямая вещь. Все вернулись из города. Так? Так. Зыбин не вернулся...

— И доктор не вернулся, — перебил Арбузов.

— Как? — опешил Бережной.

— Вот так! Где доктор?

— Он был со мной... все время... Но после этого, ну, с Зыбиным... Мы потерялись как-то. — Пот выступил на лбу Николая Дмитриевича, подступала какая-то дурнота: «Выходит, и доктор...» — Но доктор вел себя совершенно нормально...

— А Зыбин ненормально?

— Доктор покупал разные вещи... Быка купил...

— Какого быка?

— Ну, игрушку...

— Значит, если ты купил какую-нибудь дребедень, ты честный человек, а если не купил, — подлец? Так, выходит?..

— Павел Сергеевич, — тихо сказал Бережной. — Мы с вами не маленькие дети и прекрасно все понимаем. Так давайте же подумаем сообща, как нам дальше действовать...

— Действовать буду я, — резко оборвал его капитан.

«Эх, капитан, капитан... Я считал, ты умней... И на-ка! «Действовать буду я!» Ну, действуй. С тебя и спрос теперь... Даже жалко парня», — думал Бережной, закуривая в своей каюте.

Весть о том, что Иван Иванович и Юрка не вернулись из города и что Бережной считает, будто Юрка убежал вообще, облетела траулер с быстротой необъяснимой. В каютах и на палубе только об этом и говорили, но спорили мало: никто не верил, что Юрка мог убежать. Только Сережка Голубь, толкаясь среди рыбаков, ожидавших на корме, когда подойдет мотобот, выкрикивал злорадно:

— Слыхали? Наш общий друг, дельфиний защитничек, мотанул — и будь здоров! Всем товарищам пламенный привет...

Подошел Ваня Кавуненко.

— На тебе совсем новые брюки, Голубь, — сказал Ваня, — надо беречь хорошие вещи, не пачкать их. Ты меня понял?

В каюте № 64 настроение было унылое, «Конечно, он резок в некоторых своих высказываниях, но ведь он наш человек, — размышлял Фофочка. — А как он тогда о жене говорил... Не могу поверить...»

— Абсолютная чепуха, — говорил Сашка. — Допускаю, заблудился...

— Где заблудился? Весь город — пять квадратных километров, — возразил Фофочка.

— А скорее всего подрался. Ходит с битой мордой. Может, и в участок попал, — вслух рассуждал Хват. — А может, просто перебрал. Косому совестно возвращаться... Спит где-нибудь под кустом ракитовым...

— А в Гибралтаре есть змеи? — ни к селу ни к городу спросил вдруг Фофочка. — Может, его укусила змея? И он в больнице?

— Да замолчите наконец! — закричал Сашка.

Дед Резник твердо верил, что Зыбин вот-вот обнаружится. Он знал, что чужой порт — штука не простая, всякое может тут с человеком приключиться. Деда самого в Копенгагене в 1912 году раздели и по шее надавали. Если бы пырнули ножом и попал бы в больницу, сразу бы сообщили капитану, англичане — аккуратисты в таких делах. А раз не сообщают, — придет. Может и до вечера проплутать, но ничего тут страшного нет, и нечего шум подымать.

— К вечеру объявится, помяните меня, — говорил дед.

Более других волновался за Юрку Ваня Кавуненко. И волновался потому, что на берегу Юрка был вместе с Бережным. Помня Юркин пыл на недавнем дне рождения Хвата, Ваня чувствовал, что между ним и первым помощником могло произойти некое столкновение, объясняющее отсутствие Зыбина, столкновение, о котором Бережной умалчивает. Но тогда почему до сих пор не вернулся доктор?

Расспросив во всех деталях полицейского о том, как пройти к музею, Иван Иванович вернулся к витрине, около которой он оставил Бережного с Зыбиным, и никого не нашел. Он постоял немного, заглянул в ближайшие лавки, — нигде нет.

— Ничего не понимаю, — вслух сказал Айболит.

Он постоял еще некоторое время у витрины обувного магазина. Вдруг стеклянные двери распахнулись, вышла девушка, удивительно тоненькая, с ямочками на щеках, заулыбалась и жестами начала приглашать Ивана Ивановича войти в магазин. Иван Иванович вспомнил лавку сувениров и решил, что без Зыбина он в магазине пропадет.

«Надо уходить отсюда, — подумал он. — Что же, я так и буду тут стоять? Пойду в музей. Они знают, что я в музей собирался. Захотят — найдут».

Отворив двери музея, доктор поднялся по лестнице и подле маленького камина у входа в первый зал увидел старушку, которая сидела в кресле и вязала на спицах. Она смотрела на Ивана Ивановича с таким удивлением, как будто он вылез из каминной трубы.

Потом поспешно вытащила из маленькой сумочки слуховой аппарат, вставила в ухо и спросила очень громко:

— Мистер хочет осмотреть музей?

— Да, — ответил Иван Иванович, — хотелось бы... — «Не совершаю ли я какую-то бестактность», — подумал он. — Впрочем, может быть, я не вовремя, — продолжал он робко, но старушка перебила его:

— Пожалуйста, пожалуйста! — Она проворно встала, положила вязанье на кресло. — Мистер, вероятно, путешественник?

— Да, — сказал Айболит, — в некотором роде...

— Говорите, пожалуйста, погромче, я плохо слышу! — крикнула старушка.

— Да, я первый день в вашем городе! — громко повторил доктор.

— Мистер приехал из Танжера?

— Нет... Не совсем...

— Мистер путешествует один?

— Нет, нас много... Видите ли, я врач. Работаю на советском рыболовном судне...

— О, вы из России?! — воскликнула старушка. — Не может быть!

, — Уверяю вас, — улыбнулся Айболит.

— Я буду все показывать вам сама! — решительно крикнула старушка и направилась в зал.

В музее было все, что положено иметь всякому уважающему себя музею: черепа пращуров, заржавленные ядра, змеи в формалине, деревянные раскрашенные куклы в ветхих мундирах, местами сильно побитых молю, картины морских сражений с аккуратными и красиво горящими фрегатами.

Старушка, которую, как выяснилось, звали миссис Чароуз, громкими криками объясняла Ивану Ивановичу каждый экспонат.

Время пролетело незаметно, пора было уходить, возвращаться в порт, но миссис Чароуз и слушать об этом не хотела. Едва доктор робко начинал произносить слова благодарности, миссис Чароуз демонстративно вытаскивала из уха слуховой аппарат и решительно кричала:

— Вы никуда не пойдете! Я обязана вам все показать!

Иван Иванович, потупясь, заметил, что время, к сожалению, на исходе и ему пора возвращаться, но миссис Чароуз закричала, будто всему Гибралтару известно, что советский пароход отойдет поздно ночью, а сейчас нет и трех, и она решительно заявляет, что не отпустит доктора, такого милого собеседника, и не стоит больше об этом говорить.

Иван Иванович осмотрел оружие и картины, изумляя миссис Чароуз глубиной своих познаний в истории Гибралтара. Затем миссис Чароуз заговорщически подмигнула доктору и, взяв его за руку, подвела к стенду с изрядной нумизматической коллекцией, отыскивала советские монеты и долго объясняла, где какая монета, называя гривенник грайвэником, а Иван Иванович слушал и кивал...

Солнце начало припадать к земле, когда Айболит вышел из музея. Разумеется, он быстро заблудился, то и дело упирался в какие-то склады, обходил их, карабкался по узким улочкам-лестницам в гору и снова упирался именно там, где вроде бы должен находиться пароход. Наконец, доктор пробился к воде и попал на рыбный рынок. Торговцы громко, даже громче, чем миссис Чароуз, выкрикивали неизвестные Ивану Ивановичу названия сардин, красных головастых ершей и еще каких-то больших рыб, которых продавали кусками. Розовели горы креветок, один прилавок был залит чернилом каракатиц, в корзине рядом скрипели усами лангусты. Иван Иванович даже обрадовался, что ему удалось так интересно заблудиться. С живым любопытством рассматривал он прилавки, но не подходил близко, оберегая себя от настойчивых приглашений рыбаков купить их добычу. Наконец он выбрался из лабиринта рынка, и снова зашагал к порту, и снова попал куда-то не туда, улицы были совершенно ему незнакомы. Доктор торопился, понимая, что его опоздание может взволновать всех на-траулере, и решил наконец самым подробным образом

расспросить первого попавшегося прохожего, как пройти в порт, но теперь исчезли прохожие. Иван Иванович оглянулся на скалу и увидел Зыбина.

Зыбин лежал долго. Кошка ушла. Потом он сел, отряхнул с колен пыль и начал думать, что делать дальше. Ему было как-то пусто и легко. Только голова гудела. Голова была тяжелая, а тело, руки, ноги — легкие и как будто немного не его. Словно он все отлежал. Он очень хотел думать, что ему дальше делать, но ничего у него не получалось. Потом он почувствовал, что хочет есть, и вспомнил о деньгах. Тронул карман — в кармане хрустнуло. «Пойду поем», — подумал Юрка и встал.

Он вышел на шоссе. Шел и все старался начать думать, что ему дальше делать, но тут почувствовал, как через тонкую подошву полуботинок жжет асфальт, и начал думать, какая жара, однако, — больше ни о чем.

В придорожных кустах зашуршало, громко завозилося что-то маленькое, живое, мелькнула серая шерстка. «Кошка моя», — подумал Юрка.

— Кис, кис, кис, — поманил он кошку, и на его зов из кустов мягко выпрыгнула обезьяна.

— Ну, здравствуй, — сказал Юрка по-русски.

— Здравствуй, — взглядом ответила обезьяна.

— Как живешь? — спросил Юрка.

— Спасибо. Так себе. А ты как?

— Я очень плохо, — ответил Юрка.

— Неприятности, да?

— Да, большие неприятности, — подтвердил Юрка. — Понимаешь, он подумал, что я собираюсь удрать. Представляешь, каков подлец?

— Да, неприятно, — отозвалась обезьяна.

— Он подумал, что я и каперты поэтому не покупаю, деньги берегу, — продолжал Юрка, — а я искал сыну игрушку...

— Что теперь делать будешь?

— Не знаю, — ответил Юрка.

— Иди на траулер...

— Мне очень, понимаешь, очень не хочется его видеть, — сказал Юрка.

— Чего же ты хочешь?

— Я хочу есть, — сказал Юрка. — А ты хочешь есть? Обезьяна молчала. Она сидела у обочины шоссе, тихо перебирая пепельно-розовыми пальчиками, и внимательно смотрела на Зыбина ласковыми и грустными глазами, только глаза и жили на ее острой старушечьей мордочке.

— Ну, прощай, — сказал Юрка и пошел дальше по шоссе. Он прошел метров тридцать и оглянулся. Обезьяна все сидела у обочины, склонив набок голову, и смотрела ему вслед.

— Прощай! Спасибо тебе! — крикнул Юрка.

Она ничего не ответила, только смотрела на него ласково и грустно. Юрка прошел еще несколько шагов и снова обернулся. Она все сидела и смотрела на него, хотела знать, куда он идет. Юрка почувствовал, что надо идти к морю, чтобы успокоить обезьяну, и он свернул в узкую улочку, бегущую вниз, к порту.

На этой улочке он увидел маленький, совсем пустой трактирчик, вошел и сел за столик. После яркого солнца трактирчик казался мрачноватым. Но тут было прохладно. Мрамор столика охлаждал руки. «Хорошо бы прижаться к столику лицом». Стулья старые, скрипят. Стойка. Обычная стойка, конечно, с зеркалом и пыльными бутылками наверху. Рядом со стойкой дверь. Вдруг дверь скрипнула, и что-то маленькое, лохматое протиснулось в узкую щель. «Обезьяна!» — подумал Юрка. Вошла кошка. «Может быть, это моя кошка?»

— подумал Юрка. Он не мог вспомнить, совсем забыл, какой была его кошка... Потом дверь раскрылась совсем, и вошел хозяин, пожилой смуглый испанец.

— Что желает сеньор? — спросил хозяин по-испански.

— У вас есть сосиски? — спросил Юрка по-английски. — Сосиски с хлебом и много горчицы.

— Один момент, — сказал хозяин по-английски, но с непривычным уху Зыбина акцентом и вышел.

— Твой хозяин испанец? — спросил Юрка у кошки. Кошка пристально посмотрела на него, отвернулась и вышла следом за хозяином.

Через минуту или через час хозяин возвратился с тарелкой, на которой лежали три красные сосиски, длинные, тонкие и красные, совсем не такие, как у нас. А на краю — горчица. Много, наверное, полная столовая ложка. Юрка не удивился, он знал, что горчица сладкая, тоже совсем не такая, как у нас. И еще хозяин принес бумажную тарелочку, на которой лежал маленький кусочек хлеба, такой тоненький, что он наверняка светился бы, если смотреть через него на улицу.

— Спасибо, — сказал Юрка.

— Сеньор желает пива? У меня есть шотландское пиво. Очень хорошее и недорого... — предложил хозяин.

— Да. Дайте мне пива, — сказал Юрка, подумав.

Хозяин нырнул под стойку, вытащил оттуда бутылку, ловко открыл ее с таким звуком, будто поцеловал кого-то, опрокинул в высокий стакан, поставил его на стол рядом с бутылкой.

«Sweet stout. Edinburgh»¹, — прочел Юрка на этикетке, где был нарисован самодовольный розовый старик со стаканом пива в руке. Белый цилиндр, красный жилет, трость, очки, седая борода. «Какие они разные, эти старики!» — подумал Юрка и взглянул на хозяина. Хозяин перетирал за стойкой рюмки.

Юрка налил пива в стакан, отхлебнул и начал есть сосиски, тыча их в горчицу. Сосиски были безвкусные, как бумага, совсем не такие, как у нас, а пиво хорошее. Только бутылочка очень маленькая...

1 «Sweet storjt. Edinburgh» — «Сладкий крепкий портер. Эдинбург» (англ.).

— Дайте мне еще хлеба, — попросил Юрка, когда съел одну сосиску.

Хозяин принес тарелочку с хлебом — один прозрачный кусочек.

— Это мало, — сказал Юрка и вдруг улыбнулся. Хозяин тоже улыбнулся и принес еще одну тарелочку с тремя кусками.

— Сеньор, наверное, русский? — спросил хозяин и опять улыбнулся.

— Да, я русский, — сказал Юрка.

— Да? — весело воскликнул хозяин. — Вы с того корабля, который пришел ночью?

— Да, — ответил Юрка, начиная третью сосиску. Хозяин подошел к двери и закричал:

— Паоло! Паоло! — и еще что-то по-испански.

Вошел Паоло, мальчик лет двенадцати, худенький, в выгоревшей рубашонке и коротких штанишках. Хозяин что-то быстро сказал ему на своем языке, Юрка уловил только слово «советико». Паоло разглядывал Юрку огромными черными глазами, такими черными и огромными, что лицо его казалось синеватым.

«Он совсем другой, но он чем-то похож на Валерку, — думал Юрка. — Валерка так же вот смотрит».

— Это мой внук, — сказал хозяин. — Он собирает спичечные коробки. Может быть, у сеньора есть спичечный коробок из России?

— У меня был коробок, — сказал Юрка. — Но я отдал полицейскому в порту. Он тоже собирает коробки...

— Фернандо, — быстро обернувшись, сказал хозяин мальчику, и глаза Паоло стали маленькими и злыми.

— Это Фернандо, наш сосед, — объяснил хозяин Юрке. — Он и Паоло — двое во всем Гибралтаре собирают спичечные коробки. Паоло и Фернандо — большие враги. — Хозяин улыбнулся.

— Я не знал, — сказал Юрка и улыбнулся хозяину и тут же вспомнил, что Фофочка, который накупил перед отходом кучу значков, раздавал их в каюте Сашке, Вите и ему тоже «для подарков в качестве сувениров». Где же они? Он пошарил в кармане и укололся.

— Вот тебе значок на память, — сказал Юрка и протянул Паоло маленький красный квадратик с медным барельефом.

— Спасибо, сеньор, — сказал хозяин.

— Ты знаешь, кто это на значке? — спросил Юрка у Паоло.

— Нет, — тихо ответил мальчик.

— Это Ленин. Ты знаешь, кто такой Ленин? — спросил Юрка.

— Нет, — тихо ответил мальчик.

— Ленин? — переспросил хозяин и взял из рук Паоло значок.

— Ленин, — повторил он, долго и пристально рассматривая маленький барельеф.

Потом обернулся к мальчику и заговорил по-испански, выбрасывая вперед руку со значком, зажатым в кулаке. Иногда мелькало: «Россия», «Революция», «Мадрид», «Ленин». Юрка смотрел на мальчика, смотрел на его лицо, которое стало вдруг очень серьезным, даже скорбным.

Когда хозяин кончил, Паоло что-то сказал ему отрывисто, и старик вернул ему значок. Мальчик медленно вышел. Хозяин стал за стойку и начал перетирать рюмки. Потом бросил полотенце и подошел к Юрке.

— Выпьте еще пива? — спросил хозяин. — Это — настоящее шотландское пиво. Я угощаю. — Он улыбнулся.

— Пожалуй, — согласился Юрка. — Пиво хорошее. — И подумал: «А ведь он был прав: вот уже начинаются провокации...»

Вдруг стало совсем легко и даже весело.

В этот магазин моряки заходили редко: здесь нельзя было торговаться. А потом магазин был такой большой — два этажа, стеклянная стенка и целая куча девочек в белых блузочках, — такой просторный и безлюдный, что даже как-то неловко было туда заходить. Но именно этот магазин позарез был нужен Сашке Косолапову.

— Идите, я догоню, — сказал Сашка Коле Путинцеву и мастеру Калине — своим компаньонам по тройке. — Идите, я сейчас, мигом. — Он вошел в магазин.

Ближайшая девочка бросилась к нему — вся улыбка, — залопотала по-английски. Он тоже улыбнулся и пошел к прилавку, который увидел еще с улицы, через витрину. И тут же откуда-то, непонятно откуда, выскочил круглый черненький человечек с усиками и, быстро окинув Сашку взглядом, всплеснул руками:

— О! Рашен сейлор! Одесса — мама, Ростов — папа, да? — Он заливисто и очень заразительно засмеялся. Девочки дружно поддержали.

— Мне нужны: перчатки, — сказал Сашка.

— Что? — Брови черненького полезли на лоб. У него было удивительно подвижное и выразительное лицо прирожденного мима.

— Перчатки, — повторил Сашка.

— Перчатки?! — переспросил черненький, все еще не веря.

Но лишь секунду оставалось на его лице выражение крайней степени удивления.

— О, ля-ля! — закричал он, захлопал в ладоши, затрещал с присвистом на каком-то птичьем языке, и все пришло в движение, посыпались какие-то коробки, пакеты, черненький схватил Сашкину руку и стал прикладывать к ней то одну, то другую перчатку, стремясь определить размер.

Сашка отдернул руку.

— Нет, нет, мне нужны женские перчатки...

— Вашей женщине, да? — спросил черненький. — Как это? — Он насупил брови. — Вашей жене, да?

— Да, — сказал Сашка и густо покраснел. — Вот. — Он протянул листок бумаги с контуром Анютиной ладошки.

— О, ля-ля! — снова запел черненький, и девочки бросились в новую атаку.

Перчатки прозрачные, дырчатые, непрозрачные и отчасти дырчатые, голубые, белые и черные, и с пуговичками и без, и черт те знает какие легли на прилавок.

— А кожаные есть? — строго спросил Сашка.

— О, это есть дорого! — Черненький горестно всплеснул руками, брови встали домиком, и все лицо его выразило неизъяснимую скорбь.

— Давайте, — приказал Сашка.

Навалили груды. Синие, желтые, белые, красные, для автомобиля, для верховой езды, для...

— И почему вот эти? — спросил Сашка, выбирая пару отличных кремовых перчаток.

— Фор паунд, — загрузил черненький, — четыре фунта.

— А получше ничего нет? — спросил Сашка.

— Что? — переспросил черненький скорее с испугом, чем с удивлением.

— Подороже ничего нет?

Черненький понял, что нарвался на какого-то психа.

— О, есть! Есть! — закричал он. — Но это уже не есть кожа. Это... Как это? Не знаю по-русски... Chamois I... Я буду показать...

Швырять и валить на стол перестали. Из длинных коробок вынимали осторожно, держали на весу. Это были замшевые перчатки. Таких Сашка никогда не видел, не мог даже разобрать: то ли синтетика опять, то ли какая кожа искусственная, то ли просто байка особой выделки.

В одной коробке лежали перчатки цвета табачного дыма, узкие и длинные, по локоть.

— Для баль-карнаваль. Производство Швеция, — с готовностью пояснил черненький.

— Это я сам вижу, что для баль-карнаваль, — сказал Сашка равнодушно, вытащил перчатки из коробки, прикинул по своему рисунку — вроде подходят — и спросил между делом:

— Сколько просите?

— О, ля-ля, — вздохнул черненький. — Рашен сейлор не хватит валюта.

— А все-таки?

— Десять фунтов.

Если бы кто-нибудь мог видеть в этот момент Сашкино лицо! Ему открылось нечто, доступное лишь величайшим актерам мира, когда, погасив в глазах искры радости (у него было десять с половиной фунтов!), он небрежно бросил перчатки в коробку, лениво обернулся к черненькому, укоризненно покачал головой, как бы говоря: «А еще коммерсант... Я ведь не шулки сюда пришел шулить, а вы: десять фунтов! О таких пустяках речь, право, даже за вас неудобно...» — покачал так головой и сказал устало, с легонькой улыбкой:

— Заворачивайте, заворачивайте...

Когда коробку завернули в плотную бумагу, и заклеили скотчем, и вручили чек, и всем магазину проводили Сашку до дверей, он тронул черненького за плечо и сказал доверительно:

— Ведь перчатки, между нами, так себе. Вижу, что дрянь, а беру... Вот такой человек...

У черненького отвалилась челюсть.

Юрка рассказал хозяину трактирчика, что хочет привезти сыну хорошую игрушку, и хозяин объяснил ему, как пройти к магазину, где продают самые лучшие игрушки.

В магазине Юрка молча разглядывал полки, а девушка за прилавком все заводила маленьким ключиком бычков, тореадоров, танцовщиц, акробатов, «фиаты», бульдозеры и торпедные катера, трещала из автомата и палила из базуки. В магазине стоял шум, как в цеху.

И вот тут Юрка увидел обезьянку. Это была обезьянка с умными глазками и пепельно-розовыми ладошками, одетая в клетчатую рубашку и джинсы. Она была мягкая, очень ласковая на ощупь. Обезьянка стояла на задних лапах, а в одной из передних держала трубку. Когда девушка завела ее ключиком, раздалось чуть слышно ее гудение и обезьянка пошла, медленно и аккуратно переставляя лапы. Иногда она подносила ко рту трубку (в это время в трубке вспыхивал красный «уголек») и, «затянувшись», выпускала из ноздрей колечко дыма. Отличная была игрушка! А идет, шельма, как важно! И трубка! А джинсы эти! Умора! И дым! Юрка засмеялся. Девочка тоже с готовностью расхохоталась.

Потом она показала ему запасную батарейку для «уголька», какие-то серые стерженьки «для дыма», рассказала, куда их надо вставлять, и уложила обезьянку в роскошную коробку.

1 Chamois — замша (англ.).

Только тут Юрка сообразил, что у него на всю эту потеху может не хватить денег, но оказалось, что обезьянка стоит 8 фунтов, вдвое дороже, правда, чем в Дакаре стоит живая обезьянка, но надо же, как ему повезло!

Рядом с магазином Юрка опять увидел афишу кинофильма «Ночь в Сингапуре» и на оставшиеся деньги решил сходить в кино.

Сеанс в «Реальто Синема» уже начался, девушка с фонариком провела его в зал, усадила. Поймав в темноте ее руку, он сунул ей последний шестипенсовик и принялся смотреть.

Без разгона, с первых кадров бандиты начали ловить героя на предмет его убийства. Герой оказался тертым калачом: одного бандита он пристрелил через спинку дивана, другого спихнул со скалы в море. Бедняга летел минуты полторы. Что-то очень похожее Юрка видел в 57-м году в Рио. Название только было другое... «А зачем я тут? — вдруг подумал Юрка. — Что я тут сижу, как идиот?»

Он огляделся. Зал был почти пустой. Неподалеку развалились в креслах солдаты. Курили. Дым кружился в светлом конусе проектора.

«Бережной, поди, все бегают, ловит меня... А если он не бегают, а приехал и раззвонил всем?! И все, Ваня, Сашка, дед Резник...» Блондинка с визгом катилась по лестнице вниз, в темный сад, а там уже автомобиль наготове... «И наверняка все расспрашивают Айболита, а ведь Айболит ничего не видел! Айболит не может сказать правду! А-Бережной...» Трах! Трах! Крупно браунинг в женской руке, ноготки с маникюром... «Ведь они ждут меня!» Трах! Бабах! Пули прошли через лобовое стекло прямо в лоб шоферу, и «шевроле» заметался, зарыскал перед тем, как влететь в витрину. «Ждут! А меня нет! Меня нет, а он там! И, выходит, он прав! Все же видят, что меня нет. Значит, прав он! В самом главном прав он!»

Юрке страшно стало, будто он, Юрка, знал, что сейчас все рухнет, стены, потолок, через секунду — катастрофа! Вот сейчас сам он, простреленный и окровавленный, врежется в это холодное и острое стекло. И, опережая миг неумолимой гибели, кресло, как катапульта, выбросило его в темный проход, сквозь дверь, сквозь банановую зелень крохотного садика на улицу, сквозь дома... Очнулся, когда услышал где-то рядом:

— Юра! Юра! Зыбин!

Он остановился и увидел Айболита.

— Вы меня ищите, да? — спросил Юрка, переводя дух.

— Вас? Я думал, что вы меня ищите, — засмеялся доктор. — Я, знаете, совсем заплутал... Как вы думаете, где порт? Да, постойте, а куда же Николай Дмитриевич девался?

— Разве он не с вами?

— Со мной? Вы куда-то исчезли оба. Я искал, искал... Думаю, нам с вами все-таки попадет от капитана... Ужасно все глупо получилось...

Айболит сказал это так просто, что все нервное напряжение Зыбина вдруг разом исчезло, ему стало снова хорошо и покойно, как тогда, в трактирчике у испанца, и он засмеялся, сам не зная чему, и сказал:

— Попадет, обязательно попадет.

Потом вдруг взял доктора за плечи и, прямо глядя ему в глаза, спросил:

— Иван Иванович, я честный человек?

— Не понимаю, — сказал рассеянно Айболит.

— Вы меня считаете порядочным человеком?

— А какие, собственно, у меня есть основания думать иначе?

— Давайте сядем. Это очень важно. Понимаете, это очень важно...

Они вошли в небольшой скверик у веранды летнего ресторана и сели на скамейку под пальмой. Ствол у пальмы был толстый и лохматый, как нога мамонта. Юрка погладил ствол, сказал тихо, задумчиво:

— Вот, Иван Иванович, какая случилась со мной беда...

Он рассказывал медленно, подробно: о кошке, об испанце, о Паоло, о заводной обезьянке, о пустом зале в кино и о своем страхе. Когда Зыбин кончил, доктор тронул его за руку и сказал:

— Вы знаете, я бы дал ему по физиономии. Выушли... Может быть, это даже лучше... Но так оставлять этого дела нельзя! Как хотите, нельзя!

— Все так говорят: «Не оставим!» А потом...

— Да вы пессимист.

— А вы оптимист?

— Да! А почему нет?

— Ну, поздравляю. А ведь разница-то невелика: пессимист — это просто хорошо информированный оптимист. Нет, доктор, Бережной — это сила.

— Если поверить вам, да, сила.

— А если вам?

— Сейчас нет. Бережные сейчас не в моде.

— Вы его перевоспитаєте, да? И он исправится, да? Поймите, доктор, горбатого могила исправит!

— Эту поговорку придумали бездарные, злые и нетерпеливые люди. Лечить гораздо труднее, чем хоронить, поверьте мне, я врач...

— Пока вы его вылечите, он из вас самого горбатого сделает, — зло сказал Зыбин.

— А это, дорогой мой, зависит от крепости костей.

— Кости костями, а пока прямо по курсу крупный скандал, — вздохнул Юрка. — Ведь формально он прав: я убежал, это факт. Я от него убежал — раз. На траулер вовремя не вернулся — два.

— Как можно рассуждать формально! Важна суть...

— Да плевал он на суть! Вы думаете, он понимает, что оскорбил меня? Да ничего подобного!

— Тут вы, пожалуй, правы, — грустно сказал доктор. *

— В этом вся морская соль... Послушайте, послушайте. — Юрка взял доктора за руку. — Хорошо, что мы встретились... Я придумал, но вы должны мне помочь...

— Только врать я не буду, — сказал Айболит.

— Вам не надо врать! Врать буду я...

Бережной уже заканчивал свою подробную «Объяснительную записку», когда в каюту постучали.

— Прошу...

Арбузов заглянул в дверь.

— Встречайте ваших беглецов, — сказал капитан и усмехнулся. Нехорошо так усмехнулся.

Что-то оборвалось внутри Бережного: «Вернулись! Вернулись! Сто шесть взял, сто шесть сдал! Чист!»

Николай Дмитриевич поднялся на мостик и в синих сумерках увидел подходивший бот. «Доктор его поймал, — тотчас сообразил Бережной. — Ну, погоди, голубчик...»

Зыбин не успел даже занести к себе коробку с заводной обезьянкой, как его затребовали в каюту капитан-директора. «Начинается, — подумал Зыбин. — Все как по расписанию».

Арбузов ходил взад-вперед, мерил ковер, иногда искоса посматривая на Юрку. Бережной сидел на диване, за полированным столиком, нога на ногу, курил.

— Ну, ну, вы расскажите, расскажите капитан-директору о вашем поведении, о том, как вы убежали в заграничье, расскажите, — ласково говорил Николай Дмитриевич.

— Не понимаю? — спросил Юрка. Весь очень внимательный. Голову склонил чуть набок.

— Чего же вы не понимаете? — нараспев, сердечно спросил Бережной. — Это мы вот с капитан-директором не понимаем, как мог советский моряк убежать в заграничье.

— Как убежать? — спросил Юрка.

— Вы кончайте прикидываться! — вдруг крикнул Бережной. — Кончайте дурака из себя строить!

— Ш-ш, давайте тише, — сказал Арбузов, продолжая шагать по комнате. И Юрка внезапно понял: Арбузов не верил, что он убежал.

— Когда его приперли к стенке, он наутек припустился, — продолжал Бережной, — а здесь сразу все забыл, видите ли!

— Ничего не понимаю, — растерянно сказал Юрка и обернулся к капитану. — Пал Сергеич, я, конечно, очень виноват, что задержался на берегу... Опоздал... Но ведь Николай Дмитриевич сам говорил, чтобы держаться тройками, и, когда он исчез...

— Кто исчез? — взревел Бережной и вскочил с дивана.

— Вы, Николай Дмитриевич. Кто же еще?..

— Я? Я исчез? — Бережной задыхался. — А... А с кошкой кто помчался? Тоже я?!

— С какой кошкой? — спросил Юрка. — Чего не было, того не было. Кошки я у вас не видел.

— Да что я, сумасшедший? Наглец! Ну, наглец! — ревел Бережной. — Получается, что я от него убежал, а! Ну, наглец!

— Я не говорю, что вы убежали, — спокойно поправил Юрка. — Просто я оглянулся — вас нет... Туда-сюда, в один магазин, в другой — нет. А вы ведь говорили, чтобы тройками держаться. И доктор вас искал...

— Меня?! — взвился Бережной.

— Ну, конечно, — сказал Юрка. — Человек вы в городе новый, языка не знаете... Как-никак заграничье...

Бережной подскочил к телефону, закричал в трубку вахтенному:

— Доктора в каюту капитана!

, Едва вошел доктор, Бережной сразу набросился на него:

— Вы искали меня?!

— Вы знаете, довольно долго искал, Николай Дмитриевич, — доверчиво улыбнулся Айболит. — И вместе с Юрой... Даже опоздали... Очень просим извинить... Но ведь вы сами говорили...

Бережной рухнул на диван.

— Я, конечно, виноват, — заныл Зыбин, — опоздание есть опоздание...

— А деньги почему не тратил? — с надеждой спросил Бережной.

— Как не тратил? — изумился Юрка. — Вот чек, смотрите. — Он открыл коробку, достал обезьянку, сунул ключ под хвост и поставил ее на столик перед Николаем

Дмитриевичем. Обезьянка степенно зашагала, пуская кольца дыма в лицо Бережного. Бережной смотрел на нее внимательно, не отрываясь, в каком-то оцепенении. Капитан улыбнулся игрушке, тряхнул головой: — Ни черта не понимаю. Чепуха какая-то.

«А, собственно, зачем я буду доказывать, что Зыбин убежал? — подумал, успокоившись в своей каюте, Николай Дмитриевич. — Ну, накажут его. Это ерунда все. Ведь говорить будут не о нем. «У Бережного, — скажут, — в Гибралтаре матрос убежал». И пойдет, и поедет, и уже не докажешь никому, что не убежал, вернулся. И на веки вечные останется слух: «Что-то было у Бережного в Гибралтаре». А зачем, спрашивается, мне это надо? Зыбин-то, ей-ей, не дурак. Разминулись, и все. С кем не бывает... Не дурак Зыбин... Надо подумать еще, все прикинуть, а потом вызвать его, поговорить, чтоб зря не болтал».

Десять раз пришлось Зыбину заводить матросне обезьяну и десять раз рассказывать, как блуждали они с Айболитом по Гибралтару, искали первого помощника. И когда Юрка вернулся в каюту № 64, уже совсем стемнело. В каюте никого не было. Фофочка мечтал на верхней палубе. Сашка с Анютой смотрели в столовой «Подвиг разведчика».

Юрка лежал на своей койке, отвернувшись к переборке. Вспоминал лицо Бережного, когда обезьяна пускала ему дым в глаза...

Пришел Фофочка, подумал, что он спит, лег, повозился немного и ровно засопел.

На носу забегали, что-то, чего нельзя было разобрать, кричал вахтенный штурман, потом завыл брашпиль, загрохотала якорная цепь.

«Снимаемся», — подумал Юрка.

Чуть слышно пришла в движение вода за бортом, зашептала громче, громче. Потом опять тише: «Это лоцман сходит» — и опять громче, громче...

Все эти звуки, знакомые и понятные Юрке, не мешали вспоминать и думать.

Он лежал долго. «Державин» уже шел полным. Все спали. Юрка встал. Дверь закрыл осторожно, без щелчка. Поднялся на верхнюю палубу. Вокруг была ясная, теплая ночь. Юрка постоял немного, плюнул в воду, пошел.

Только на секунду остановился уже у самой двери, вздохнул и постучал:

— Разрешите?

— Да, да...

Капитан лежал на диване в белой шелковой майке, читал. Приподнялся, когда вошел Юрка, отложил книгу.

— Вот какое дело, Павел Сергеевич... Я здесь все наврал. Не так все было...

Стихи

Глеб Семенов

Девочка

Нас было шестеро. Мы были все похожи
на шесть теней вокруг одной свечи.

Мурашки темные по коже,
слепые веки горячи, —
так сопределен истине последней,
так беззащитен, так высок
был девочки четырнадцатилетней
доверчиво дрожащий голосок.

Хранили мы стесненное согласие:
и впрямь как будто на столе
свеча сияла трепетною ясью —
вот-вот и мы останемся во мгле.

Она еще не понимала,

как надо петь... И сам я вдруг забыл,
как надо жить, как жил, как было мало
того, что было, и того, кем был!
Я причастился света и печали,
исполнился почти святой —
той, окруженной тихими лучами,
утраченной доверчивости той.
И не было ни пасмурного тела,
ни круглосуточной земли!..
...Нас было шестеро,
и девочка нам пела —
как мы уже и плакать не могли.

К яблоку

О яблоко с кружочком тени,
веселый сгусток сентября!
Двух самых высших тяготений
мир не узнал бы без тебя.

А вот любимая забыла.
Она в слезах, я сам не свой.
Напомни ей, как это было, —
сорвись, сорвать себя позволяй.

И, если перестанет плакать,
великодушно подари
ей ослепительную мягкость,
мне тайну зернышек внутри.

Земля

Газета проглочена залпом, —
и запах, и шорох, и свет
разъело, разъяло внезапным
предгрозем, и воздуха нет
земле — с ее ростом растений,
с полетом ее сыновей...
Сквозь шум беззащитный, весенний
лишь яростью слышу своей,
как зреют тяжелые ядра
в беременных смертью вещах...
...А небо по-вешнему ярко,
а в море по-вечному яхта,
и девушки в легких плащах...
Не плачу, а скорбно ликую:
земля поднимает в века
росой до краев налитую
здравную чашу цветка, .
с кукушечьей щедростью годы
роняет поверх маяты.....
Могу и не быть — я не гордый! —

Сияла б, земля моя, ты:
все страсти мои опрошая,
мой прах обращая в росток!
И душит в минуту прощанья
не жалость, а тихий восторг...
И если низвергнется небо
врасплах ледящей жарой
и весь я начну распадаться,
начну испаряться живой,
забыть ничего не успевший,
ничем уже ставший почти,
пронзительно вспыхнувшим мозгом,
в последнюю долю мечты,
увидю прибрежные чащи,
и море, и парус вдали,
и правнука легкое счастье,
и трудное счастье земли!

Сады

Здесь люди лежат. Постоим.
Лежат, потеряв имена.
Над ними трава, и листва, и весна,
и жизнь по законам своим.
Лежать на траве воспрещается. Сад.
Афиши у входа гласят,
что танцы в саду. Радиола вдали...
А люди лежат, как легли...
Приходят живые — в своих пиджаках
ребята и девочки на каблуках.
И вальсы летят из-под их каблучков
на травы, на траур железных венков,
на память во веки веков.
И чирканье спичек, и шорох, и смех.
И внятно звучат имена...
А люди лежат, и на всех
звезда жестяная одна.
Лежат, позабыв о бессмертье своем.
А помнишь: в каком-то саду
галдели, глядели, гадали вдвоем
на ту, на любую звезду.
А помнишь: запретам любым вопреки
валялись в траве;
на них пиджаки, у них каблучки
и обе —
у каждого две —
руки...
И вот прорастают травой из земли.
Зеленая наша земля!
На летнюю форму в садах перешли
молоденькие тополя.

ПРОЗА

Иван Чигринов

ПТИЦЫ ЛЕТЯТ НА ВОЛЮ

РАССКАЗ

В Залужье мне сказали:

— А Демиденок ушел от нас. Его уже нет в городке.

.....

Но куда подался Демиденок?..

Он появился в нашем городке года через три после войны и поселился в хате одинокой старухи Дакулихи, которая сначала приняла его как квартиранта, чтобы иметь за это на старости копейку: Демиденок получал пенсию. Потом она отказалась от денег.

Я же встретил Демиденка, когда он считался на Гончарной улице уже старожилом. | В воскресенье утром стоял я во дворе и слушал, как жужжали над головой пчелы из дядькиных ульев.

— Демиденок идет! — слышались внезапно голоса. Я оглянулся и увидел незнакомого старика, быстро шагнувшего по середине улицы с клеткой в руке. Был он невысокого роста, согбенный, с белой бородкой и такими же белыми волосами, выбивавшимися из-под соломенной шляпы. На нем почти висела вылинявшая сатиновая рубаша, перехваченная узеньким пояском с кистями, а рубчиковые штаны были в разных местах залатаны. Старик часто перебирал ногами, словно куда-то очень спешил. Ступал он почему-то на носки, и оттого вся его щуплая фигура во время ходьбы подавалась вперед.

— Демиденок!.. Демиденок!..

Было видно, как на улицу сбегались дети. Но к старику они не приближались. Держались поодаль. Старик, казалось, не замечал их. Тогда я и вспомнил, как в свое время босоногим, мальчишкой бегал вместе с ровесниками за чудаковатым Тимкой. Тимка жил в самом конце Колхозной улицы, но мы и туда добирались. Что-то похожее происходило и сейчас.

А вечером, когда мать пригнала корову с луга, спросил:

— Демиденок... Кто это?

— Как кто? Ну, Демиденок и Демиденок. У Дакулихи живет, — сказала она и, помолчав секунду, спросила: — И дети бежали за ним?

Я кивнул головой.

— Лозой надо сечь паршивцев! — Она вздохнула. — Демиденок такой же человек, как и все. Правда, может, он немножко чудаковатый.

Мать скупилась на слова, и я почувствовал, что она больше всего заботится о том, как бы сын ее не подумал плохо о человеке.

, — Пришел он сюда однажды весной и стал жить у Дакулихи. А что за человек да откуда — кому забота! Мало ли без приюта людей после войны ходило. Война немногих пощадила. И у каждого свое горе. Может, и его гнездо раскидала. Ну, и прибился человек на нашу улицу доживать свой век. Хорошо, что пенсия у него. Кажется, и Дакулиха тогда за этим погналась... Мать замолчала.

— А старик он оказался проворный... Это я все про Демиденка, — сказала она затем. — Дакулихе на квартиранта повезло. Бывает, денек бегаёт вокруг хаты, копошится то в палисаднике, то двор подчищает, да и на улице напротив Дакулихиной хаты не то, что возле других, чисто. Случалось мне заходить к ним, очень уж уважительный Демиденок этот. Только почему-то неразговорчивый. Понурился и молчит. Будто клеймо на нем какое. Но это бы еще ничего. Молчаливых на свете тоже хватает и, может, больше, чем разговорчивых. Да выпало ему по какой-то надобности пойти в воскресенье на рынок. То

никогда не ходил туда, а тут вдруг потянуло. Может, что хотел купить себе или Дакулихе. И вот с того времени человека будто подменили. И все из-за птиц. И кто их там надумал продавать, — сама не знаю, никогда же раньше я не замечала, чтобы кто приносил птиц на рынок наш. Ну, там молоко, яйца, а то птицы! Торговать птицами! Смехота одна. Но он купил их. А потом зачастил на рынок. Увидит птицу и покупает. А некоторым будто только этого и не хватало.

Стали ловить и продавать птиц. Стыд! Ну, а он покупает их и выпускает где-то. Всю пенсию на тех птиц тратит. Временами без куска хлеба сидит. Дакулиха своим кормит. Наконец, дошло до того, что стали приносить птиц ему домой. Тогда и не выдержала Дакулиха. Сначала стыдила, потом взяла полено да одного прогнала из хаты, другого. Глядишь, и перестали ходить. Но старик не бросил своего занятия...

С того вечера я всегда выходил из хаты, когда слышал, как кричали на улице:

— Демиденок!..

Дети каждый раз бежали за ним на рынок, а потом я узнал, что они-то и были основными поставщиками птиц.

Демиденок обычно ходил по середине улицы. Я заметил, что на нем всегда была одна и та же сатиновая рубаша, а через несколько дней я уже мог сказать, сколько заплат на его штанах. В воскресенье он проходил мимо нашей хаты дважды — на рынок и оттуда. При этом он никогда не смотрел по сторонам. Но однажды он изменил своей привычке, если только это была привычка. Он внезапно посмотрел на меня. И, может, потому, что для него я на этой тихой улице был человеком новым, он неожиданно снял свою шляпу и поздоровался. С тех пор он, проходя мимо меня, всегда дотрагивался рукой до шляпы. Делал он это торопливо, словно не хотел терять лишнюю минуту на ненужное дело.

Что он за человек?

Меня тянуло к Демиденку, временами я готов был бежать за ним на рынок вместе с ребятами, хотя и считал, что этим они его обижают.

Случилось, что однажды Демиденок не нашел" на рынке птиц. Старик возвращался оттуда возбужденный. Напротив нашей хаты он остановился, постоял немного неподалеку от скамьи, на которой я сидел, потом повернул на Колхозную улицу. Тогда я и решился пойти следом.

Демиденок не обращал на меня никакого внимания. Старик, вероятно, даже не слышал за спиной моих шагов.

Тем временем кончились новые кирпичные строения и опять начались деревянные хаты, как и на Гончарной улице. Правда, на Колхозной они были все новые, потому что в войну улица полностью сгорела, и теперь люди отстроились.

Вскоре Демиденок нырнул в какую-то калитку, и на улице я остался один.

Время тянулось медленно. Я чувствовал себя неловко и не знал, как поступать дальше. Больше всего я боялся встретиться здесь с Демиденком лицом к лицу. Но та же неодолимая сила, что потянула меня сюда, теперь держала возле калитки. И когда вышел из хаты Демиденок, было поздно что-либо предпринимать.

Пока Демиденок проходил мимо, я стоял, словно облитый холодной водой.

В этот момент из сеней вышла женщина и крик-> нула через двор:

— Сколько он дал тебе? Ответил ей тонкий голос из хаты.

— О господи! Так ты же почти даром отдал! — засуетилась женщина.

— Да что они стоят, воробьи-то! — пытался кто-то доказать ей.

— Стоят! Стоят! Закаркал! Что тебе чужих денег жалко? Не будь дураком. Нехай пускает на ветер, если у него их много!

Женщина сказала это и захихикала, а мне впервые стало жалко Демиденка.

Клетку с воробьями — это были действительно воробьи — он чуть ли не прижимал к груди, будто боялся, что вот-вот подойдет кто-нибудь и отнимет их.

Направлялся он за городок.

Выпускал Демиденок купленных птиц километра за три, там, где начинается Зинкевичев луг. Я стоял рядом.

Демиденок вдруг выпрямился, помолодел, и от прежнего согбенного старика ничего не осталось. Он переменился буквально на глазах. С какой-то не по годам детской радостью смотрел он вслед птицам, вылетающим из клетки, и все лицо его светилось.

Домой мы возвращались, как хорошо знакомые, однако разговора у нас не получилось. Зато теперь ничто больше не мешало мне заходить к Дакулихе.

Там я все и узнал.

До войны Демиденок жил под Витуном, там, где Лесные Дачи.

Служил он лесником.

Семьи у него не было: тридцатилетняя дочка жила с мужем в городе, и у нее росла своя дочка. К отцу, очевидно, ничто не тянуло, и она ни разу не приехала в родные места.

Началась война. Сначала ничто не тревожило Лесные Дачи, пламя войны бушевало далеко от них. Однако вскоре война докатилась и до Витуны. Ночью было видно, как полыхали пожары по ту сторону Днепра, что-то гремело и двигалось вокруг.

Через Лесные Дачи потекли людские толпы.

Людей собиралось так много, что временами даже думалось, не сдвинулось ли с места целых полсвета. Люди шли и ехали в копоты и пыли — беженцы, красноармейцы. И на обочинах дорог вместе с разбитыми горшками валялись засохшие, окровавленные бинты.

Сторожка лесника, где жил Демиденок, была полна раненых.

Сам Демиденок с утра до вечера простаивал возле дороги и все вглядывался в людские лица, надеясь встретить своих.

И ему повезло, он дождался. Пришла дочка. Она привезла с собой трехлетнюю девочку, которая раньше только от матери слышала, что у нее есть дедка и что он живет где-то на берегу лесного озера. И, кто знает, может, она не раз представляла себе того деду чародеем, а на самом деле оказалось, что это самый обыкновенный дед, каких девочка немало встречала на своей улице. Она долго с недоверием смотрела на старика, пока тот не взял внучку на руки. Девочка так и уснула у него на руках — грязная, похудевшая и усталая, потому что за эти дни немало протопала на своих ножках. А когда проснулась, был уже другой день, и мамы рядом не было. Дочка Демиденка пошла дальше, туда, куда шли все, а Аленку оставила с дедом. Хотя рядом и озеро было красивое, которое почему-то называли Мертвым, и лес стоял кругом, Аленка плакала. Тогда Демиденок брал ее за ручку и вел на дорогу, где по-прежнему шли и ехали гонимые горем люди. Там она затихала.

А война подступала уже к самым Лесным Дачам.

Поток беженцев понемногу редел, потом совсем прекратился. И в лесу встречались только солдаты. Потом и они исчезли, хотя еще долго слышалась под Витуном пулеметная стрельба. Наконец настал день, когда вокруг стало совсем тихо, и на все Лесные Дачи остались только Демиденок и его внучка.

Делать теперь было нечего, и Демиденок бродил по лесу просто так, слушал, как день за днем по-новому начинала шуметь хвоя: близилась осень. Тогда и пришли к нему опять люди. То были партизаны. Сначала они жили в лесниковой сторожке, а с приходом зимы, когда выпал снег, перебрались за Мертвое озеро. Зима та выдалась лютая, снежная. Мороз лез во все щели, и в сторожке приходилось круглые сутки топить печь. Дед и внучка с нетерпением ждали теплых дней.

Но однажды в сторожку ворвались немцы.

— Партизан?

Демиденок пожал плечами.

— Где прячутся партизаны?

— Не знаю.

— Тогда собирайся.

— А как же она? Одна останется? — Демиденок показал на Аленку.

— Будешь разумным, не останется, — ответили ему.

Старика посадили на сани и повезли в Витунь, а Аленку заперли в сторожке.

Две недели его водили на допрос.

— Где партизаны? — спрашивали каждый раз. Демиденок молчал. Тогда его бросали на пол и били. А ночью, когда выпадала минута заснуть, ему снилась внучка и припорошенная снегом тропинка, которая вела мимо озера к партизанским землянкам. Он еще надеялся, что оттуда по этой тропинке придут за девочкой и с ней ничего не случится.

Две недели пытали лесника. И все это время он мучился от того, что девочка осталась одна.

Когда же его наконец выпустили на волю, он не нашел внучки в своей холодной сторожке. На полу лежала мертвая синица, которая неизвестно когда залетела в сторожку...

До самого конца войны искал свою внучку старый лесник, найти не мог. Потом вернулась дочка. Услышав страшную весть, она упала на лавку и проплакала всю ночь. А утром ушла.

Не мог, конечно, остаться в сторожке и Демиденок. Он покинул Лесные Дачи навсегда.

...Дня через два я позвал к себе ребят и рассказал им все, что знал про Демиденка. Они разошлись притихшие, с опущенными головами. Мне казалось, что я сделал доброе дело, защитил страдающего старика.

Дети действительно больше не донимали его. Постепенно перевелись и птицы на рынке. Вскоре их уже никто не продавал в городке, хотя Демиденок по-прежнему бегал туда со своей клеткой.

Спустя некоторое время мне надо было уезжать, и я зашел проститься с Демиденком. В сенях меня встретила Дакулиха.

— Ты можешь не заходить, — с упреком зашептала она. — Человек вон переживает. А все из-за тебя. И зачем было говорить кому-то? Он только этими птицами и жил все последнее время.

Демиденок сидел напротив окна. Услышав мои шаги, он даже не повернул головы. И за те несколько минут, что я пробыл у Дакулихи, старик не промолвил ни единого слова.

Покидал я Дакулихину хату униженный и растерянный.

Я хотел помочь человеку залечить рану. И так неумело взялся за это. Лучше бы не браться совсем. Потому что не каждая рана поддается лечению...

С того дня я Демиденка не видел.

Авторизованный перевод с белорусского

Б. МЕСКИНА.

к нашей вкладке

Марк Иоффе

ПЛАКАТИСТЫ РЕВОЛЮЦИИ

Если бы кто-нибудь задумал проиллюстрировать наглядно и документально страницы истории нашей страны, ничего лучшего, чем плакаты, для этой цели не нашлось бы. Красноречивые свидетели пережитого, они с удивительной ясностью и силой убеждения, присущей произведениям подлинного искусства, говорят о том, что в свое время послужило поводом к их созданию, — об исторических событиях, о целях, которые ставились, о задачах, которые решались нашим народом, о вдохновляющих идеях, которые вели людей на подвиги и в боях и в труде. Непререкаемая достоверность делает плакат неоценимым документом эпохи, а талант художника наделяет его впечатляющей силой, заставляет нас сегодня понять и пережить то, что должны были чувствовать люди, которым был плакат адресован.

С первых месяцев существования Советской власти плакат стал рупором, с помощью которого партия обращалась с призывами к народу. Для передовых художников плакат стал трибуной, средством общения с самыми широкими массами. И авторы плакатов умели найти такой образный язык, который давал возможность говорить о самом нужном и самом важном с величайшей доходчивостью и убедительностью.

Знаменательно, что в условиях, когда творческие поиски разных художников были подчинены единой и очень определенной идейно-политической цели, когда работа над каждым плакатом требовала очень определенной, конкретной направленности, — в этих условиях свобода творчества оказывалась несколько не стесненной, не происходило никакой нивелировки художественно-образной речи, открывался простор для необычайно яркого проявления своеобразных черт таланта самых различных художников.

На журнальной вкладке воспроизведено несколько работ выдающихся мастеров — зачинателей советского плакатного искусства. Среди них — отличный рисовальщик почти академического стиля Александр Петрович Апсит (он же Петров, Апсид, Скиф и т. д.), до революции — книжный и журнальный иллюстратор. Первые плакаты Апсита носили несколько отвлеченный аллегорический характер, но вскоре появились такие листы, как «Грудью на защиту Петрограда!» с реалистическими эмоциональными образами людей, устремленных в атаку.

Художником совсем иного склада был Дмитрий Стахиевич Моор. Концентрированная энергия создаваемых им образов воплощалась в острой чеканной графике, лаконичной композиции, в резких контрастах цвета — черного, белого, красного. В искусстве плаката он был смелым и мудрым новатором, идеологом, теоретиком, автором непревзойденных шедевров изобразительной агитации — таких, например, как всемирно известный плакат «Помоги» (1922 г.). Выразить огромную силу чувства, глубину мысли такими до предела скупыми художественными средствами умел только Моор. Его плакаты оставляют прочный след в памяти каждого, кто хоть раз их увидел.

Художнику широчайшего творческого дыхания Михаилу Михайловичу Черемных советское искусство обязано созданием новой оперативной формы наглядной агитации — Окна сатиры РОСТА. Вместе с Маяковским он возглавил коллектив художников и поэтов, создавших в период 1919 — 1922 годов около двух тысяч «Окна РОСТА» — плакатов, которые Маяковский считал образцами революционного стиля в искусстве. Автор первого «Окна РОСТА» Черемных был автором и первого «Окна ТАСС» в дни Отечественной войны. Блистательный рисовальщик, мастер изобразительного рассказа, он обладал замечательным умением найти образное выражение для любой мысли, подчас даже для отвлеченного понятия. Черемных-педагог воспитал целое поколение молодых художников, чье творчество в наши дни во многом определяет лицо современного советского плаката.

Владимира Васильевича Лебедева хорошо знают как автора чудесных иллюстраций в книжках для детей, в особенности рисунков к стихам Маршака. Но мало кто знает о его активной работе плакатииста в период гражданской войны. Ему, Льву Бродаты и Владимиру Козлинскому принадлежит большинство плакатов, выпущенных в эти годы Петроградским отделением РОСТА. В отличие от Москвы и других городов, где «Окна РОСТА» размножались вручную с помощью трафаретов, в Ленинграде плакаты РОСТА печатались техникой линогравюры. Это придавало им своеобразный, легко узнаваемый характер. Плакаты Лебедева отличались обобщенным, почти схематическим рисунком, яркой расцветкой.

Наряду с героикой видное место в тематике первых советских плакатов занимала сатира. И в первых рядах плакатиистов-сатириков, обличавших и высмеивавших в своих произведениях врагов революции, должен быть назван Виктор Николаевич Дени. Он был одарен острым умом, безукоризненной политической чуткостью, у него был ядовитый, чуть грубоватый юмор и очень доходчивый художественный язык. Его плакаты и карикатуры пользовались неизменным успехом. А. В. Луначарский писал о Дени Владимиру Ильичу Ленину как об одном из лучших наших художников-агитаторов, и эта высокая оценка была

им вполне заслуженна. В годы Отечественной войны сатирический талант Дени с новой энергией проявился в серии беспощадно едких антифашистских плакатов.

Недавно в Москве прошла всесоюзная художественная выставка «50 лет политического плаката». То, что там было выставлено, вновь подтвердило, что мы вправе гордиться боевыми революционными традициями советского плакатного искусства, неисчерпаемым творческим богатством, оставленным нам в наследство его замечательными мастерами.

Стихи

Станислав Кунаев

*

Цокот копыт на дороге,
дальних колес перестук —
звук довоенный, далекий,
доисторический звук.
Некогда в детстве рожденный
влагой, землей, тишиной...
И навсегда заглушённый
временем, жизнью, войной.

*

Пью из речки и не напьюсь.
А когда подкосит усталость,
сплю как мертвый — не тороплюсь,
словно жить мне лет сто осталось.

Завтра камень из-под ноги
рухнет, и поминай как звали:
здесь, куда ни глянь, — лоскутки
вдоль дороги на перевале...

Но — что делать! — не нагляжусь,
как летят облака в пустыню.
Выйду в горы — не надышусь
сладковатой горной полынью.

Словно жить мне еще — бог весть!
Словно век не быть нездоровью.
Словно вечность в запасе есть
отплатить за любовь любовью.

*

Среди фантастических гор
горящие веки закрою,
увидю зеленый простор
над неторопливой Окою,
и через Гиссарский хребет,

минуя снега и ртгоги,
увиджу туманный рассвет
и две полевые дороги.
Когда-то из них по одной
я вышел увидеть полмира,
чтоб ныне лежать головой
на черных гранитах Памира.
Здесь дикие реки гремят
в сверкающих мрамором руслах,
и смуглые дети глядят
внимательным взором на русских...
Меня еще будет носить
по белому свету до гроба,
но только бы мне не забыть,
что где-то осталась дорога.
Она убегает в поля,
растут лопухи у обочин,
и, может быть, только что я
ее красотой озабочен.
Она все пылит и пылит,
как в полузабытые годы,
и мне возвратиться велит,
и вторят ей плавные воды

*

Шарманка — забытое чудо —
откуда взялась, не пойму!
Я так и не понял, откуда,
но вспомнил свою сторону,
когда, то звеня, то рыдая,
из ящика вырвалось вдруг:
— Бродяга, судьбу проклиная!
Стакан повалился из рук.
Я знал эту песнь о бродяге,
начало ее и конец.
Ее на калужском базаре
хрипел под гармошку слепец.
А мальчик, воспитанник улиц,
в глазницы невидящих глаз
вперялся и слушал, волнуясь,
незамысловатый рассказ.
И в сердце его зарождалось
и в плоть оседало и в кровь —
война, одиночество, жалость,
отечество, песня, любовь...
Наверное, дело-то в этом
как раз, а не в чем-то другом,
что мальчик тот вырос поэтом,
что он не горюет о том
и что, не жалея гортани,
установившись в южную тьму,

два друга — Резо и Отари —
в хмелю подпевают ему.

*

Эти кручи и эти поля,
и грачей сумасшедшая стая,
и дорога — ну, словом, земля —
не какая-нибудь, а родная.
Это значит — родимая мать,
это значит — родные могилы,
я приеду сюда умирать,
собирая последние силы.
Неожиданно сузился мир,
так внезапно, что я растерялся.
Неожиданно сузился мир,
а недавно еще — расширялся!
И грачи, подтверждая родство,
надо мной без умолку кричали
все о том, что превыше всего
голос крови в минуту печали.

ПОГОВОРИМ О ПРОЧИТАННОМ

Станислав Рассадин

И С МИРОМ УТВЕРДИЛАСЬ СВЯЗЬ...

Заметки о поэтах и переводах

I

У молодого грузина Отара Чиладзе в поэме «Итальянская тетрадь» есть строки:
«И вдруг, как нужное слово, древняя крепость вспыхивает на горе, как будто затем,
чтобы спросить: до каких же пор будет продолжаться это? До каких пор ждать ей народ и
хозяина, ушедших в поход?..»

Когда я впервые читал поэму — в подстрочном переводе, который цитирую и на этот раз, — больше всего мне понравилось «нужное слово». Это сравнение делает строки путевого дневника поэзией. Оказывается, их содержание не моментальные фотографии, сделанные из окна автобуса, не туристские впечатления, а, как всегда в поэзии, сам поэт, его душа, его мысли. Впечатления его случайны, как всякие дорожные приключения, — так неожиданно выныривают из-за холма древние развалины. Но не случайны душевные отзвуки. Они-то выстраданы, как выстрадан поэтом поиск «нужного слова», очень нужного, позарез нужного, которое может явиться на свет благодаря мгновенной ассоциации, но всплывает из самых глубин.

Потом я понял, что эти строки написаны не только поэтом. Они написаны грузином.

...Мы ехали по Месхетии, по древней грузинской провинции, которая всегда первой принимала на себя удар турецких завоевателей. Мы ехали среди зеленых гор, сохранивших на себе уступы, равномерные, как лестничные ступени. Друзья объяснили мне, что когда-то горы были возделаны от подножия до вершины, на каждом уступе были сад и виноградник, и все это пожгли и уничтожили. Победителю ведь нужно не только отнять, умыкнуть,

вывезти, но и разорить, выжечь — наверное, иначе не так сладка победа. И вот как память о сопротивлении, горькая и гордая, возвышаются на скалах развалины сторожевых крепостей.

История Грузии — история испепелений и воскрешений. Народная память здесь — что бывает редко — почти каждого своего царя изображает романтическим рыцарем. На коне и с мечом. Потому что главным делом царей была война с захватчиками.

Когда грузин Отар Чиладзе ехал по Италии, он помнил эти горы в уступах, помнил крепости, словно бы и в самом деле ожидающие хозяев, которым уже не вернуться из битвы за свободу.

Чтобы понять смысл его строк, надо знать, что за ними стоит.

Грузинские поэты часто вспоминают в стихах те или иные достопримечательности своей родины: «На фреске женщина в Кинцвиси», «и Джвари, как корабль небесный, навечно бросил якорь в Грузии», «а я зубами держусь за Греми, меня опалает зной Гареджи и Уплисхихе». И тут не обойдешься примечанием к русскому переводу: Кинцвиси, мол, выдающийся памятник древнегрузинского зодчества. Для поэта, как и для всякого грузина, Кинцвиси не просто памятник, а веха духовной жизни народа и Джвари не просто храм шестого века (поэзия не путеводитель), с ним связано и крещение Грузии и нашествия с Востока, когда храм хотели уничтожить и не смогли, — на тысячелетия строили древние зодчие. И многое связано еще.

И гость, без умысла пришедший.
Поймет, старик ли, мальчик юный,
Что означают для грузина
И свет Куры и отблеск лунный.
(Отар Чиладзе. Перевод Юнны Мориц.)

Так что же делать нам, иноязычным читателям, чтобы постичь в возможно полной мере прелесть грузинского стиха? Идти в его страну?

Гете, как известно, так и советовал: «Если хочешь понять поэта, ступай в его страну».

Однако ничего нет примитивнее, чем географическое истолкование этих слов.

«Страна поэта» не нанесена на карты. Россия Пушкина не то, что Россия его современника Тютчева.

Войти в страну Отара Чиладзе, одного из лучших молодых поэтов Грузии, куда сложнее, чем прокатиться в «Волге» по грузинским дорогам.

Войти должен переводчик.

Пока лучшие переводчики Отара Чиладзе — Юнна Мориц и Белла Ахмадулина. Они, во всяком случае, понимают, что задача перевода не пристроить сложного поэта на иждивение к современной русской поэзии, не уместить его в готовое амплуа, а отыскать в себе и в русской поэзии нечто эквивалентное грузинской характерности Отара Чиладзе.

К сожалению, его стихи уже помаленьку размениваются в наших журналах на медяшки общедоступного версификаторства. Например, Владимир Луговой так перевел стихотворение «Снег», что сразу ввел Отара Чиладзе в компанию наших деловых молодых стихотворцев, крепко овладевших техникой стиха, но, по-моему, еще ни разу не задумавшихся, зачем на? свете существует поэзия. В переводе получился умелец, который, едва начав стихотворение, уже точно знает, чем его кончит, который одевает нехитрую схему в веселенький ситчик небогатой лексики: «Он людей вокруг себя собирал, был у всех на устах и таял, шел и пел, и сам себе подпевал и, как пешки, деревья ставил...»

Получилось нечто противоположное сосредоточенному Отару Чиладзе, открытому для всех впечатлений мира, но упрямо доискивающемуся за ними чего-то одного, главного, связующего; автору прекрасных поэм, живущих не по законам внешнего сюжета, а по закону лирического подтекста, по законам напряженного чувства, собственно, не поэм, а лирико-драматических монологов.

Но тот же «Снег» перевела Ахмадулина. Лучшие строки ее перевода передают нам если не все, то некоторые важные свойства Отара Чиладзе.

Итак, пошел снег. Всего только снег:

В эту ночь, что была нечиста и пуста,
он вошел с выраженьем любви и сиротства,
как приходят к другим, что другим не чета,
и стыдятся вины своего превосходства.

Он нечаянно был так велик и робел,
что его белизну посчитают упреком
всем, кто волей судьбы не велик и не бел,
не научен тому, не обласкан уроком.

Он был — снег. И звучало у всех на устах
имя снега, что стало известно повсюду.
— Пой! — велели ему. Но он пел бы и так,
по естественной склонности к пенью и чуду...

В переводе Лугового заурядное событие (идет снег) окрашено не чувством, а поверхностным настроением (все ему радуются). Можно было бы и не писать стихотворения об этом, но раз уж оно написано, хорошо бы объяснить, почему поэт решил обратить наше внимание на метеорологический факт. Например, хорошо бы указать, что дело происходило на проспекте Руставели 12 июля. В такую жару снегу и впрямь обрадуешься, как мороженому. Тогда все будет ясно. Стихи, не поднимающиеся выше бытового происшествия, получают окончательно бытовое обоснование. Их даже можно будет напечатать в вечерней газете в рубрике «Заметки фенолога». Туда им и дорога.

В переводе Ахмадулиной речь идет о снеге и не о снеге. Главное здесь — то, чем вообще занимается поэзия: сдвиги в душах людей, незаметные глазу, но обостренно переживаемые сердцем поэта. Произошло преображение внешнего мира по законам внутреннего. Сложились стихи не просто о снеге, но, может быть, о вдохновении, о прозрении, об очищении.

Конечно, в стихах слышен голос самой Ахмадулиной. Но мне это не мешает. Где, в самом деле, дозволенная степень субъективности переводчика?

Мешает другое. Ахмадулина порою передает тяжеловатую, «мужскую» речь Отара Чиладзе, иногда сбивчивую, чуть не косноязычную от перегруженности чувством и мыслью, слишком закругленно, даже кокетливо.

Отар Чиладзе, продираясь к сути, преображающей действительность, сосредоточен до самозабвенности. Ему некогда думать о впечатлении, которое он производит. Да и вообще обаяние поэта бывает подлинным лишь тогда, когда не сознается им самим.

Мне кажется, переводя эти стихи, Ахмадулина сознавала свое обаяние, и не без удовольствия. Так и в другом переводе из Отара Чиладзе:

Я попросил подать вина и пил.
Был холоден не в меру мой напиток.

Автор, с такой значительностью сознающий свое пребывание в привокзальной забегаловке, комичен. Это уже почти пародия — скорее на Ахмадулину, чем на Отара Чиладзе.

И все же у перевода Ахмадулиной безусловные достоинства.

Еще органичнее произошла ее поэтическая встреча с другим молодым грузинским поэтом, Тамазом Чиладзе.

Если бы его стихи не были хороши настолько, что я не могу без них обойтись в самом кратком разговоре о молодой поэзии Грузии, я вспомнил бы Тамаза Чиладзе из-за одной забавной парадоксальности. Отар и Тамаз — братья, но попробуйте сыскать двух столь разных поэтов!

Рядом с напряженной, драматической, буруеваемой страстью речью Отара Тамаз кажется особенно задумчивым, лиричным, ищущим цельности и простоты в любви, в жизни, в природе:

Но в этой тайне все светло и цельно,
в ней только этой речки берега,
и ты стоишь одна и драгоценно
сияет твоя медная серьга.

Колокола звонят, и эти звуки всей тяжестью
своею наяву летят в твои протянутые руки,
как золотые желуди в траву.
(Перевод Беллы Ахмадулиной.)

У Отара Чиладзе сам процесс размышления порою мучителен. В одном стихотворении он настойчиво уговаривает себя: «Мне надоело думать. Я читал», «Не мог я больше думать. Я читал». Но поэт не в состоянии отвлечься от мыслей о своем незнакомом полудвойнике, о трудной причастности к нему. У Толстого Анна Каренина не могла читать потому, что ее не занимали вымышленные люди — ей самой хотелось жить и испытывать счастье. Отар Чиладзе, наоборот, не может увлечься вымышленными судьбами из-за чужой, реальной. Нелегка доля такого поэта. И нелегок его характер.

У лирического героя Тамаза Чиладзе характер легкий в самом обаятельном смысле слова. Если бы хорошее слово «милый» не было так скомпрометировано в применении к литератору (Корней Чуковский еще пятьдесят лет назад сердито шутил над писателем Осипом Дымовым: «Милый, сделайте милость, перестаньте быть таким милым»), я бы употребил его здесь. Но раз уж оно скомпрометировано, поищем другое. Светлый. Добрый.

Простота, о которой мечтает Тамаз Чиладзе, не упрощенность. Она ясность и определенность отношения к миру. Это самоощущение духовно здорового, гармонического характера.

Он не упрощает и не подслащивает действительность. Он торопит своей добротой справедливость, вознаграждение — вот почему колокольные звуки без промаха летят в протянутые руки милой ему женщины. Он и грустить умеет, но лучше всего умеет быть нежным. Как в стихотворении,

Где мальчик ходит у стены и,
рисовальщик неученый,
среди известковой белизны
выводит свой рисунок черный.

И сумма нежная штрихов живет
и головой качает,
смеется из-за пустяков
и девочку обозначает.

...О Буратино. ты влюблен!
От невлюбленных, нас отличен!
Нескладностью своей смешон
и бледностью своей трагичен.

Ужель в младенчестве твоём,
догадкой осенен мгновенной,
ты слышишь в ясном небе гром любви
и верности неверной...

Дано предчувствовать плечам,
как тяжела ты, тяжесть злая,
и предстоящая печаль
печальна, как печаль бывшая...

Прелесть стихотворения в тончайшем переплетении грусти с улыбкой. И когда в последнем четверостишии улыбка уступает место одной только грусти, обаяние, по-моему, чуть гаснет.

Я уже однажды цитировал эти стихи, но вновь не могу без них обойтись, говоря о Тамазе Чиладзе. Тем более что это удача переводчика — Беллы Ахмадулиной. Она уловила строй речи Тамаза Чиладзе и вообще строй грузинского стиха, его отличие от русского.

За последние десятилетия высокопарное красноречие, романтические атрибуты, прежде считавшиеся почти неизбежной принадлежностью грузинской поэзии, стали восприниматься как анахронизм. И все же по строю своему, образному и интонационному, она более возвышенна, чем преобладающая часть современной русской поэзии. В ней — во всяком случае, пока — не произошло обытовления стиха, вторжения разговорной лексики, как у нас.

Ахмадулина нашла интонацию «высокой поэзии» для стихотворения Тамаза Чиладзе, интонацию, в которой естественно, а не архаично выглядит «ужель?...»; но она не побоялась смягчить эту интонацию улыбкой. Ведь возвышенность грузинского стиха прежде всего естественна для слуха грузинского читателя. Некоторая его архаика общепринята, она не играет той — очень определенной — стилистической роли, что у нас.

Родилось стихотворение, написанное по-русски, но с неуловимым грузинским звучанием. Не за счет колорита, экзотического для русского уха. За счет интонации.

Когда тот же Тамаз Чиладзе пишет стихи о Ленинграде, о Лондоне, о Риге, его ассоциации экзотически броски. В Ленинграде ему чудится переходящая улицу Пиковая дама, в Тауэре мерещится Шекспир, а мост Ватерлоо, конечно, напоминает экранную Вивьен Ли. А в старой Риге: «Здесь каждую ночь с гранитной кафедры с небом разгневанным спорит Лютер».

В стихах же Тамаза Чиладзе о Грузии нет этой национальной броскости. Это естественно.

Хотя бывает и наоборот. В век переводов, в век, когда наиболее широкое признание связано с русским читателем и русскими тиражами, иные национальные поэты, даже талантливые, сочиняют словно бы в расчете на скорый и нетрудный перевод. Так рождаются стихи вненациональные. Ничьи. Их не спасают, конечно, внешние приметы национального быта, хитроумно, как экзотическая приманка, подброшенные русскому читателю. (Подумать только, поэт свою национальную сущность ощущает как экзотику — может ли быть большее удаление от сущности?)

Это отражается и в переводах. Переводчик (в общем, хороший), перекладывая на русский язык Кай-сына Кулиева, поэта, глубоко, а не внешне национального, поэта, которому и в голову не придет щеголять необычностью балкарского быта, поэта, которому Пастернак сказал когда-то: «Над вашей головой сошлись стрелки Запада и Востока», — одну строчку перевел так: «На сердце у меня, под газырям и...» Ему понадобилась рифма к слову «косарями», и он добавил в стихи «колорита».

Настоящая самобытность не в газырях, не в шашлыках, не в кинжалах.

Разумеется, чем поэт своеобразнее, чем подлиннее его национальный характер, тем труднее его перевести. И, может быть, тем дольше дожидаться ему перевода. Это общеизвестно, но повторять это стоит: из поэтов той или иной республики нередко на русском языке больше известен не тот, кто больше признан у себя на родине.

Мы знаем прекрасных грузинских поэтов старшего поколения — это замечательно. Но пока не знаем общепризнанную славу Грузии — Галактиона Табидзе. Даже Борис Пастернак в своей антологии грузинских поэтов намеренно оставил белое пятно, признав себя бессильным достойно перевести Галактиона.

Мы знаем уже несколько новых поэтов Грузии, но плохо знаем Тамаза Чиладзе. И совсем мало знаем Отара.

II

Точно так же из поэтов Латвии мы чуть не меньше всех знаем замечательную поэтессу Визму Белшевицу.

Правда, несколько лет назад у нее в Москве вышла книжка, переведенная Вероникой Тушновой. В ней представал покойный, даже чуть идиллический мир природы. Весь опыт поэта возвращался в ее изначальное лоно: сам недавний символ цивилизации — поезд — кричал, как сельский петух под утро. Мощь сегодняшних образов Белшевицы почти не угадывалась — преобладали слова «тишайшие»:

В час, когда в тени еловой
Я писала эти строки.
Мне на руку село чудо
Бабочкою желтокрылой.
...Я тишайших слов искала,
Чтоб не улетело чудо.
Чтоб еще хоть миг дрожало
Бабочкою желтокрылой.

По случайной ассоциации я вспоминаю уже недавние строки Белшевицы:

Отруби мне руки: с детства только «хочу» и «дай».
Эти ненасытные пальцы умеют лишь требовать
и вцепляться.
Но любовь — раскрытая ладонь, на которую
может сесть бабочка,
крылатая до той поры, пока пальцы ее
не коснутся.
(Подстрочник).

Тут, впрочем, вернее говорить не об ассоциации, а о диссоциации. О контрасте. Манеры поэтического мышления здесь противоположны — трудно поверить, что образы схожи, да и мысль, говоря приблизительно, одна и та же: о душевной бережности к чуду ли, к любви ли.

Ласковая созерцательность сменилась остротой, непримиримостью, смелостью мышления.

И вот, говоря о новой, сложной Белшевице, опять придется (закономерность?) пользоваться подстрочными переводами. Других почти нет.

Утешимся хоть тем, что у подстрочника есть свои преимущества. Белшевица сказала однажды: пусть переводчик лучше сделает из моей живой гвоздики бумажную, чем подменит ее собственной, хотя бы и живой розой; хочу походить только на себя.

Она не утратила привлекательных свойств прежних своих стихов — мягкости, женственности, но все это перешло в иное качество. В высшее. «Тишайшая» поэтесса обрела голос сильных чувств, «прямой язык страстей»:

«Можешь меня не любить, можешь ненавидеть... Я знаю, ты мучаешься, как птица, еще не ведая, что тотлящая тревога за плечами — это крылья.... Можешь меня не любить, можешь ненавидеть. Тонким побегом муравы нагнусь у ног. чтобы ты видел, какой ты большой. Хрупкой веткой черемухи буду ломаться в руках, чтобы ты видел, какой ты сильный. Крылья, рост и сила поднимут тебя над облаками, не зная, что серенькая точка внизу — любовь».

Женская покорность здесь неотделима от гордости. Умение быть самозабвенной в любви, всем для нее жертвовать как раз и внушает чувство достоинства. Печальна и горделива ирония последней строки. Если «громеда-любовь» может сверху, свысока показаться «серенькой точкой», то чего стоит эта холодная высота, чего стоят сила, рост и даже крылья, которые помогают расставанию, помогают любимому оставить такую любовь?

Эти горькие стихи светлы, потому что они проявление богатой, гармонической личности.

Настоящему поэту помогают обрести свет и смысл даже собственные невосполнимые потери. Разлука может утвердить великую ценность любви, смерть — великую ценность жизни.

Об этом одно из лучших стихотворений Белшевицы (привожу целиком его подстрочный перевод):

Прощай, моя родная планета, мой далекий Марс,
где ветер есть ветер, песок есть песок
и каналы — прямые.
Прости, моя грозная планета, мой голый Марс,
что любовь — это любовь, и сердце — это сердце,
и не слушаться его нельзя.

Земля... Кто хоть раз слышал ее зеленый зов,
горькой черемухой, весенней березой
для него запахнет вселенная,
и он падет звездой в лиственное лоно земли,
чтобы задохнуться в обманчиво прозрачном
воздухе
и толщах облаков.

Прощай. Еще в ранах ожогов кровоточит сердце,
бросившее меня сквозь черные дали в ее росистые поля.
Я умираю. На желанной земле жить может
только тот,
кто вырос у извилистых рек, у скрытых омутов
и в туманах.
Люди! Любовь непрошеной гостью
была открытой, как Марс,
где песок есть песок, где ветер есть ветер
и каналы — прямые.
Земля... В чем ее упрекнуть, если виновата я.
что не смогла понять, что не смогла привыкнуть
к изменчивым потокам?

И все же моей родной планетой,
которую, угасая, будут искать глаза
и закушенные губы,
будешь не ты.
Она,
моя единственная любовь,
закроет мне веки
листочком подорожника на соленых ресницах —
земля...

Это трагический выбор. И он выглядит значительнее мажорных уверений.

Но Белшевица к тому же усложнила дело, избрав, как достойная современница Бредбери, фантастическую ситуацию.

Человек, привыкший мерить стихи линейной меркой прозы (конечно, плохой прозы), обязательно скажет: то есть как? Если твоя родина — Марс, пусть ею и остается!

Но стихи — о другом.

У раннего Мандельштама были строки:

Но люблю мою бедную землю, оттого, что иной не видал.

Лирическая героиня стихов Белшевицы видала. Даже связана с «иной» планетой родственными узами. Поэт создал здесь, так сказать, эффект лирического остранения. Попытался свой выбор родины, сделанный до него и без него самим фактом его рождения, осознать как добровольный. Более того, связал этот выбор со смертельной угрозой. И все же предпочел «прямым каналам» Марса «скрытые омота» земли. Предпочел трудную планету, трудную судьбу.

Впрочем, нет, во всех этих словах («осознал», «предпочел») есть какая-то рационалистичность. А сила стихотворения в том и состоит, что попытка осознания выбора показывает: рассудочного выбора все-таки нет. Поэт по сути своей, по миссии своей вопреки житейской логике и, уж конечно, вопреки собственным интересам, сердцем, а не рассудком избирает «бедную землю». Потому что: «Я — где боль, везде».

Этот высокий жребий поэта приняла Визма Белшевица.

Кажется, сейчас в Москве готовится книжка новых ее стихов. Давно пора. Боязно только, как бы латышская гвоздика не была превращена в оранжерейное чудо без роду, без племени. Тут уж и в самом деле предпочтешь бумажное ее подобие — бедный, но честный подстрочник.

III

Своеобразная удача Олжаса Сулейменова в том, в что он сам себе перевод. Он пишет по-русски, но по строю поэтического мышления, по всему решительно настоящий казах. Его русская речь обогащается красками восточной поэзии.

Что это: редкий феномен? Или закономерность?

Если и феномен, то не такой уж редкий. Можно не углубляться в прошлые века, можно не вспоминать украинца Гоголя, принесшего в русскую словесность аромат Малороссии. Но и сейчас в нашей литературе есть абхазец Фазиль Искандер, пишущий по-русски, и молдаванин Ион Друцэ, пишущий на двух языках, и переводящие себя же на русский язык Чингиз Айтматов и Василь Быков (ясно ведь, что перевод, делаемый самим автором, есть в той или иной мере перевоплощение, перенесение вещи в иную языковую систему, приноравливание к несколько иной психологии восприятия). И разве можем мы отказать, скажем, прозе Друцэ или стихам и особенно прозе Искандера в национальной характерности?

Сулейменов испытал влияние Хлебникова; на первых порах это было даже ученичеством. И учитель выбран на редкость точно. Хлебников — очень восточный поэт. Не

только потому, что отыскивал «исторические связи между судьбами славянских племен и древними восточными цивилизациями», как сообщает его исследователь, но и по выразительным средствам своей поэзии, по ритмам «Трубы Гульмуллы» и эпическим метафорам «Зверинца»: «Где в лице тигра, обрамленном белой бородой и с глазами пожилого мусульманина, мы чтим первого последователя пророка и читаем сущность ислама».

Словом, Олжас Сулейменов в самой русской поэзии нашел традицию, опору для своих восточных, казахских, национальных стихов.

Примерно так же южанин Искандер проходил поэтическую школу у поэта «юго-запада» Багрицкого.

При этом путь Сулейменова, путь возмужания поэта, путь от частных проблем к общечеловеческой, гражданской широте, был одновременно путем в глубь национальной сущности. А не наоборот.

Как грузин Отар Чиладзе на дорогах Италии вспоминал многострадальную землю своей Грузии, так Олжас Сулейменов на парижском аэродроме Орли думает о судьбе Казахстана, и тут, оставаясь — по историческим ассоциациям, по образности — казахом:

Степь моя, ты огромным аэродромом
Лежала под вздрагивающими копытами.
Разбег был долог, И взлет полог...

Но в ранних его стихах еще заманчиво посверкивала экзотика, которая, как мы говорили, свидетельствует лишь о том, что взгляд поэта на свой народ идет не изнутри, а снаружи, со стороны, хотя бы и заинтересованной: «Я печень врага увидел в своих руках, табун украду и отдам за коня вороного. О, зад вороного, как черное сердце, округл!..»

Это бывало талантливо, а то и очень, но не шло дальше стилизации, дальше самоцельного воскрешения кочевого азиатского средневековья:

Проскачу навсегда, навсегда.
Неизвестно откуда.
Только следы я оставлю глубокие
Людам,
Чтобы после дождей
Весь мой путь представлялся врагам
Вереницей пиал.
Чтоб они не сгорели от жажды. Как я.

Период стилизации в поэзии Сулейменова был периодом его национального самоутверждения, когда особенно важно осознать не причастность к общечеловеческой правде, а — пока что — национальную отдельность. Отдельность, граничащую с обособленностью.

Потом вместе с внутренней зрелостью пришло стремление понять историю народа, его величие и трагедию, все измерить моральной мерой современного гуманизма.

Все это не так просто. Народный эпос, создаваемый в пору национальной обособленности, может поэтизировать и насилие над другим племенем. Нашему современнику это непростительно.

Олжас Сулейменов в более поздних стихах не покидает национальной точки зрения, но уже не может поэтизировать решительно все в истории своего народа. Не может ради самого народа, ради его современности:

Книги!
Книги горели!

Тяжелые первые книги! —

с горечью вспоминает он набег кочевников на Русь. И — что для него очень важно — добавляет:

По которым потом затоскует несчастный Восток! И еще:

Рыжий, кем бы я был, родился я немного раньше?
Юра, кем бы я стал десять пыльных столетий
тому назад?
...Я бы шел впереди разношерстных чингизских
туменов,
Я бы пел на развалинах дикие песни свои
И, клянусь, в тот же век, уличенный в высокой
измене,
Под кривыми мечами батыров коснулся б земли.
На дороге глухой без молитвы меня б схоронили,
И копыта туменов прошли бы по мне на Москву...

Нам, людям середины двадцатого века, выпал на долю резкий, непримиримый выбор между «да» и «нет», войной и миром, фашизмом и гуманизмом. Сулейменов переносит неизбежность выбора в далекую древность. И верит, что сердце поэта все равно, даже тогда, решило бы его выбор, его «высокую измену» интересам племени ради культуры, ради человечности, ради человечества. Ради Пушкина, который

над степью московской
Стоит, словно корень женьшеня.

О том же писала в поэме «Клод Изерли», посвященной американскому летчику, бомбившему Хиросиму, Визма Белшевица, писала о том, что человек — частичка человечества, о том, что преступление против человечества невозможно покрыть именем нации: «Даже во имя родины родину не предавай!»

Теперь для Олжаса Сулейменова гордое сознание его национальной сущности неотделимо от причастности ко всему человечеству. Он слушает в Литве девочку, поющую на идиш, и переживает все беды, все гетто — лично, мучительно. Он даже ищет переплетения национальных корней: эта девочка для него уже не «дочь Моисея», а «дочь кочевника Мусы». Родство, по-видимому, иллюзорное, но поэту так нужно.

Он говорит:

Я бываю Чоканом!
Конфуцием, Блоком,
Тагором!
...Я согласен быть черепом,
Кто-то согласен быть саблей...
...Так мы будем стоять!
Мы, Высокие, будем стоять!
Попроси меня нежно — спою,
Заруби — я замолкну.

Быть может, это еще в какой-то мере декларативно, но видно, что от наивного и, вероятно, неосознанного культа лихой силы Олжас Сулейменов приходит к поэзии чуткого

сердца. Все чаще он предстает в стихах таким, каким несколько лет назад его трудно было представить: мягким, даже нежным, умеряющим голос.

А может, он не умеряет голос, а просто становится самим собой?

Но каким он будет, гадать не стоит. Важно, что он освободился от экзотической позы и все яснее проступает в его стихах живое, обаятельное, доброе лицо — не просто казаха или русского, но человека.

«Страна поэта» перестала быть географически двухмерной, приобрела третье измерение — человеческое.

«И с миром утвердилась связь» (А. Блок).

Кино

Е. Сидоров

«МНЕ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ»

Так можно назвать фильм, а можно иначе — «Июльский дождь», например. Во всяком случае, есть прямая связь новой картины Марлена Хуциева с предыдущей — «Мне двадцать лет». Связь эту обнаружить нетрудно, она проявляется в идеях и переживаниях, которые продолжают волновать гуманного художника, она ощутима в самой поэтике «Июльского дождя», в его слегка размытой, зыбкой структуре, в лирическом и одновременно точно правдивом изображении, в музыкальном, полифоническом решении важнейших сцен и эпизодов. На смену двадцатилетним героям пришли наши современники тридцати лет или около того. И вместе с ними, живыми пейзажами, музыкой дневных суматошных улиц, шумом ливневых дождей, стадом рассветных троллейбусов, вступающих на пустынный асфальт площадей, вновь хлынула с экрана Москва, всегда узнаваемая и всегда непохожая в фильмах Хуциева и отлично снятая на этот раз оператором Германом Лавровым.

Сильная сторона дарования Хуциева — умение чутко запечатлеть самый воздух времени, его точные бытовые приметы — и в «Июльском дожде» сказала с обаятельной силой. Фильм открывается увертюрой, вводящей зрителя в образную атмосферу картины... Толпа людей, теснимая машинами, течет по московским тротуарам, по обочинам улиц, протискивается в двери магазинов, вливается в провалы подземных переходов. Съемки документальны, и фонограмма почти документальна — шум толпы, громкая музыка, словно кто-то рядом поворачивает ручку транзистора: увертюра к «Кармен», модная джазовая мелодия, футбольный репортаж из Лондона... Июль, 1966. Время от времени пестрое движение на экране вдруг исчезает, и наступает тишина; и тогда с полотен мастеров Возрождения смотрят на нас земные лики мадонн и апостолов, смотрят, как бы прислушиваясь и вопрошая; а потом опять транзистор, опять текущая июльская Москва в душном ожидании грозового ливня.

Загадочную улыбку Джоконды сменит похожая улыбка современной Монны Лизы. Девушка, «выхваченная» камерой из толпы, несколько раз обернется в нашу сторону и уйдет навсегда, растворяясь в большом городе.

Так зреет в фильме поначалу даже не осознанное нами столкновение вечного и текущего, истинного и преходящего. Где-то в середине картины свежими типографскими оттисками промелькнули сотни художественных репродукций, почти утративших черты подлинника. Тиражирование «Монны Лизы» вновь натолкнет нас на мысль о драматическом противоречии между оригиналом и копиями, личностью и потоком. Столкновение, несколько абстрактно намеченное в прологе, постепенно развивается и к финалу обретет глубокий жизненный смысл.

Историю, которая проходит перед зрителем в «Июльском дожде» (сценарий Анатолия Гребнева и Марлена Хуциева), можно было бы назвать историей гибели одной

любви, если бы за фабулой фильма не обнаруживалось нечто такое, что далеко выходит за рамки данного случая, а иногда прямо к нему и не относится.

Двое любят друг друга. Она инженер-полиграфист. Он молодой ученый. Он красив, спокоен, талантлив. Как шутливо характеризует его приятель, «Володя — он выполнен из современных высокопрочных материалов: антимагнитен, морозоустойчив и водонепроницаем. Это тугоплавкий металл, его можно запустить в космос, и он не сгорит в плотных слоях атмосферы».

Самое страшное, что в этой шутке почти все правда. И Лена, героиня фильма, в конце концов тоже понимает, что Володя «не сгорит». Тогда она покидает его, а он, кажется, даже не чувствует, что она уходит навсегда, растворяясь в большом городе.

Такова история одной любви. Но фильм не о том.

Помните сцену вечеринки в картине «Мне двадцать лет»? Так вот, в «Июльском дожде» мы тоже попадаем на вечеринку в один интеллигентный дом, «где всегда чей-нибудь день рождения».

Признайтесь, вы знаете такие дома и иногда бываете там, а может быть, это просто ваш дом, где собираются приятели послушать гитару, потанцевать, попить, пофлиртовать, одним словом, не без приятности «убить вечер». Все приметы таких городских вечеринок, где собираются не друзья, не единомышленники, а просто случайные знакомые, Хуциев передает с великолепной зоркостью и правдоподобием, так что становится даже немного не по себе (неужели и ты так?). Вымученное, натужное веселье. Усталые, банальные остроты. Отсутствие духовной общности... И только гитара Алика (его хорошо играет дебютирующий в кино журналист и шансонье Юрий Визбор) и песня Булата Окуджавы «Простите пехоте...», которую поет Алик, возвращают нас в мир, где дышит прекрасная ночная Москва, где художники пишут Джоконду, а солдаты готовы погибнуть, защищая ее улыбку.

Алик был солдатом. Седоватый, полнеющий человек, с ироничной, мягкой усмешкой, преуспевающий юрист, легко меняющий дам сердца, он погибал когда-то, окруженный вражескими танками. Сейчас он кажется нам то пошляком, то доморощенным мудрецом, то просто неудачником, и только в его песнях еще живут, бьются чувства, которые сам Алик постепенно растерял где-то на дорогах послевоенной жизни.

Авторы фильма ничего не упрощают. В сущности, ни одного героя «Июльского дождя» нельзя безоговорочно отнести к положительным или отрицательным персонажам. Хуциев и Гребнев ставят Диагноз осторожно, они как бы бесстрастно перелистывают страницы из жизни одной городской компании, не черня и не высветляя характеры, предоставляя зрителю возможность самому разобраться в происходящем.

Но это кажущаяся бесстрастность. Диагноз все-таки ставится. Бездуховность — вот против чего продолжает сражаться Марлен Хуциев.

Я слышал разные мнения об «Июльском дожде». Противники фильма обычно говорят: «Скучно!» — или спрашивают: «Зачем все это? Ведь в картине ровным счетом ничего не происходит!» Подобные упреки слышали и драматург Чехов и наш современник Антониони. Действительно, экранное время в фильме Хуциева очень часто равновелико жизненному, реальному. Режиссер не подгоняет события кнутом педантичной кинодраматургии, он показывает будни так, словно хочет напомнить о невозвратимости каждого мгновения, прожитого нами. Он взвешивает минуты обыденной человеческой жизни и заставляет нас оценивать и судить героев, а стало быть, и самих себя, именно в те мгновения, когда будто бы ничего не происходит, а на самом деле еще как происходит! Ведь это жизнь утекает по капле, «за минутою вьнет минута» (Ю. Тувим)...

Специального и подробного разговора заслуживает высокое кинематографическое мастерство постановщика картины, его изысканный почерк. Назову здесь только несколько эпизодов, которые с первого же просмотра врезались в память и вызвали восхищение своей инструментовкой — сцена в доме Лены после смерти отца, эпизоды загородного пикника, вставная новелла — разъезд посольских машин.

Плавное, описательное течение фильма взрывается в финале. Здесь возникает еще одна важная тема, давно занимающая Хуциева. Тема поколений, тема верности праведным традициям отцов, высоким идеалам.

...Уйдя от Володи, Лена бредет по осенней Москве и попадает на площадь Свердлова. Здесь ветераны какой-то дивизии назначили друг другу место встречи. Плышет над площадью почти забытая фронтовая песня «Давай закурим...», люди плачут, обнимаются, смеются. И опять, как в прологе, все стихает, и камера медленно идет вверх по колоннам Большого театра. Тогда над площадью начинает звучать другая музыка — старинная, печальная русская мелодия. Камера опускается, и мы видим, что у колонн театра стоят и смотрят на встречу ветеранов московские подростки. (Впервые в картине музыка несет ярко символический, а не бытовой, «сопровождающий» характер — музыкальная тема России объединяет три поколения русских людей, собравшихся на площади.) Камера скользит по лицам подростков, они глядят в упор, и все по-разному. Одни взволнованно, другие равнодушно, третьи заняты собой и не обращают внимания на происходящее.

Такой мужественной и одновременно тревожной нотой заканчивается картина. Девальвация чувств, болезнь бездуховности уже коснулась, может быть, и некоторых из этих пятнадцатилетних ребят, столпившихся у Большого театра... Финал фильма настойчиво обращает нас к мысли об ответственности каждого поколения, каждого человека в отдельности за все худое и доброе, происходящее на родной земле.

Каждого человека в отдельности. Личности, не поддающейся массовому тиражированию, не растворяющейся в потоке.

Хуциев снял картину, заставляющую современного зрителя (и молодого прежде всего) обратиться «зрачками в собственную душу». Тревога, наполняющая «Июльский дождь», задевает многих из нас, ибо в суете будней и празднеств, в стремительном потоке жизни, любви, работы мы способны незаметно, по крупице утрачивать то главное, что должно составлять непреходящий смысл нашего земного существования. Бездуховность, отсутствие высокого нравственного содержания в поступках человека, даже если он и не совершает очевидной подлости или предательства, неумолимо ведет к распаду личности, а стало быть, к гибели человека как существа общественного... Так сквозь шелест июльского дождя, заглушая обрывки незначащих фраз, популярных мелодий, футбольных репортажей, вдруг ясно и чисто начинает звучать голос авторов фильма, которые показали нам ровное течение полужизни, полуплюби, полутворчества, иногда сочувствуя своим героям, иногда решительно осуждая их, но всегда утверждая истинные человеческие ценности.

В. Емельянов

БУДУЩИЙ ПИСАТЕЛЬ

В 1921 году, вернувшись из Петрограда после участия в подавлении контрреволюционного мятежа в Кронштадте, где он был тяжело ранен, А. А. Фадеев поступил учиться в Московскую Горную академию.

Известный советский ученый, член-корреспондент Академии наук СССР, Герой Социалистического Труда В. С. Емельянов в публикуемом отрывке из книги воспоминаний (которая готовится им к печати) рассказывает о своей дружбе и совместной учебе в академии с будущим писателем А. А. Фадеевым, тогда еще дальневосточным парработником Александром Булыгой.

Булыга-Фадеев прибыл в Горную академию с Дальнего Востока. Никто из нас тогда, конечно, не предполагал, что этот юноша станет замечательным советским писателем.

...В общежитии Горной академии на Старо-Монетном переулке как-то сразу образовалась тесная студенческая группа из семи человек. В нее входили четверо бакинцев — И. Тевосян, И. Апрыткин, Ф. Зильбер и я, — двое костромичей — братья Блохины, Алексей и Николай — и бывший партизан дальневосточного края Саша Фадеев.

Некоторое время мы жили в двух смежных комнатах. Питались у нас, бакинцев. Во-первых, у нас комната была больше, а во-вторых, нас иногда баловали бакинские организации — присылали продуктовые посылки.

Саша был душой этой семерки. Он был чудесным рассказчиком, и, несмотря на голодное время (тогда студенческий продовольственный паек состоял из небольшого количества ржаной муки и селедки), я не помню, чтобы у Саши Фадеева было плохое настроение. Его звонкий, заразительный смех рассыпался то в одной, то в другой комнате.

Это он придумал название нашему студенческому супу из селедочных голов: «Карие глаза».

— ...При некотором воображении можно представить, что это блюдо войдет в будущем в меню лучших ресторанов, — смеясь, утверждал Саша, когда мы поглощали соленую жидкость с плавающими в ней рыбьими глазами. Помимо студенческих занятий, Саша все время вел партийную работу. Его несколько раз выбирали членом партийного бюро, а одно время он был секретарем партийной организации.

Писать начал он на наших глазах в общежитии, но мы не придавали тогда серьезного значения его творческой работе. Написав первые главы своей повести «Разлив», он предложил нам их прочитать. Когда Саша вышел из комнаты за своей рукописью, мы решили, что надо как-то воздействовать на него и отучить заниматься глупостями.

— Пусть лучше зачеты сдает, — сказал Апряткин.

Когда Саша вернулся с объемистой папкой исписанных листов бумаги и начал читать главы своей повести, мы его прерывали резкими репликами и делали такие едкие замечания, что он не выдержал всей этой пытки, выскочил из комнаты, а рукопись порвал. С нами он не разговаривал несколько дней. Но желание писать у него было так сильно, что он восстановил все ранее написанное и стал прежним, веселым, общительным Сашей.

Как-то в нашу комнату, где мы жили вчетвером, комендант общежития студент Борис Некрасов захотел вселить пятого. Мы приуныли. Очень уж не хотелось иметь в своей комнате лишнего человека.

Вот тогда и вселили мы в свою комнату новое лицо, выдуманное Ф. Зильбером.

Когда комендант пришел к нам и спросил, сколько нас живет в комнате, Зильбер, не моргнув глазом, ответил: «Пятеро». Некрасов обвел глазами комнату и спросил:

— А где спит пятый? У вас же четыре кровати.

Зильбер, зная, что у коменданта нет ни одной запасной кровати, радостно произнес:

— Вот хорошо, Борис, что ты сам этот вопрос задал, а мы как раз к тебе хотели идти, — уже несколько дней на полу вертится человек. Дай нам еще одну кровать.

Некрасов понял, как некстати он затеял разговор о кроватях, и постарался скорее ретироваться. А после его ухода Зильбер на двери нашей комнаты вывесил список жильцов:

И. С. Апряткин,
И. Т. Тевосян,
В. С. Емельянов,
Ф. Э. Зильбер,
Фома Гордеевич Кныш.

Так с тех пор Кныш и поселился в нашей комнате. Фамилия эта очень понравилась Саше Фадееву, и он как-то сказал: «Я его определяю в писаря». Но затем передумал и отвел Кнышу место «хозяйственного человека» в рассказе «Против течения».

Большинство студентов жило в общежитии. Все административно-технические должности здесь, за исключением должности сторожа, занимали студенты. Кипяток в кубовой готовили по очереди, котлы отопления — так же. Ремонт освещения, водопровода, канализации проводился силами студентов.

Дров для отопления часто не хватало, и температура в комнатах нередко опускалась до нуля. Поэтому к экзаменам готовились, сидя за столами в меховых шапках и ватниках-

телогрейках. Система отопления нередко портилась. Мы просто не умели топить, а перебои в снабжении топливом усугубляли дело.

Как-то дежурить у котла мне пришлось вместе с Сашей. Но когда мы спустились в подвал в котельную, то вместо дров увидели огромные дубовые пни. Я не знал, как приступить к делу, и безнадежно ходил вокруг них с топором в руках.

Саша заливисто смеялся и подбадривал меня:

— Наши предки, обладая только каменными топорами, не с такими чудовищами справлялись, а мы, живя в век электричества, владея высшей математикой и имея в руках стальные топоры, неужели не справимся с этими ихтиозаврами?

После невероятных трудов мы все же раскололи эти три пня.

Но и такие дрова не всегда удавалось доставать. Тогда воду из системы спускали, и студенты мерзли в неотапливаемом здании.

В один из таких дней пятеро из нашей семерки разбрелись по городу в поисках тепла. Кое-кто ушел к знакомым в другие общежития, кто ночевал в отапливаемых лабораториях академии. Мы с Фадеевым остались вдвоем.

— Я обнаружил какой-то архив, — сказал он мне, входя в комнату. — Огромное количество папок с документами Продамета. Их ценность, насколько я могу судить, состоит в том, что они могут служить топливом. Мы можем здесь устроиться с большим комфортом. Одним одеялом заткнем щель двери, чтобы сохранить в комнате тепло, которое мы будем получать, сжигая документы Продамета. Для того, чтобы сохранить девственную чистоту комнаты, сжигание будем производить вот над этой кастрюлей.

Саша поставил единственную нашу кастрюлю посередине комнаты на пол, и мы с ним, стоя на коленях, сжигали лист за листом архивные документы Продамета. Температура в комнате стала заметно повышаться.

— Для того, чтобы поднять в комнате температуру на один градус, нужно сжечь сорок листов калькуляций, — смеясь, сказал Саша.

...В таких условиях рождалась повесть «Разлив», о которой Юрий Лебединский позже писал: «Если бы в природе существовал только «Разлив» Фадеева, мы бы исключительно на основании его утверждали начинающийся расцвет пролетарской литературы».

НА УЛИЦЕ ФАДЕЕВА

Рядом — улица Горького, площадь Маяковского, а ты идешь по улице Фадеева. Три выдающихся художника социалистического реализма, три любимых народных писателя. Теперь и на карте Москвы их имена стоят рядом.

Имя автора «Разгрома», «Последнего из удэге», «Молодой гвардии» дано 5-й Тверской-Ямской улице. Широкая и зеленая улица. Ее тротуары укрыты деревьями. Идешь от Оружейного переулка по этой старой московской улице, мимо детской больницы и клуба туристов: открыты окна домов — лето в Москве жаркое.

Улица выходит на Миусскую площадь. Хорошо ребятам с «Фадеева»: прямо на Миусской — Дворец пионеров!

На улице Фадеева находится известный всему миру Институт нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, а в скором времени на улице встанет новое здание Музея музыкальной культуры.

Литература «породнится» с музыкой — музей будет носить имя отца русской музыки М. И. Глинки. Здесь будут собраны музыкальные инструменты всех времен и народов: от гуслей до цейлонских рабанов.

Приближаясь к зданию этого музея, вы будете слышать утром «Рассвет на Москва-реке» Мусоргского и бетховенскую симфонию, днем — «Славься»

Глинки, а в полночь — «Интернационал».

Москвичи глубоко чтят имя Александра Фадеева — верного сына нашей Родины, писателя, коммуниста, борца.

Ал. ЛЕСС

Среди книг

*

Стихи Михаила Львова я услышал еще в 1947 году на Первом всесоюзном совещании молодых писателей:

Мы бронзой покрываемся
в походе.
Над нами солнце всходит
каждый день
И каждый день на западе
заходит,
И мир цветной повторно
ввергнут в тень.
Еще штыками обернутся
песни.
Еще придут и отшумят
бои.
Придет домой седеющий
ровесник.
Придут не все ровесники мои...

Мне памятно не только волнение, испытанное мной, когда я слушал это стихотворение, но и волнение моих товарищей, молодых поэтов, многие из которых пришли на совещание еще в солдатских шинелях и гимнастерках, украшенных не только орденами и медалями, но и нашивками за ранения. Стихи эти точно передавали состояние, чувства молодого солдата, который, «зубы сжав до хруста», шел «вперед и в грязь и в ров», который после очередной атаки сушил на жалюзи набрякшие в болоте сапоги и спал «на танке, как на громе».

Когда сегодня я раскрыл книгу «Живу в XX веке» (изд-во «Художественная литература») и стал читать стихи, написанные М. Львовым почти за тридцать лет, я услышал в них ветер тех прекрасных, горьких и радостных годов. В первую очередь эта книга и дорога мне тем, что в ней честно, талантливо, часто афористично выражено ощущение времени. О чем бы ни писал поэт — о трудностях войны или о высокой любви, о покорении космоса или об истинной дружбе, о поэзии или о природе, — за стихами стоит цельный человек, мой современник, который сумел выразить то, что чувствуем я и мы. В книге есть и другое, не менее важное качество — постоянное устремление вперед, ощущение того, что нельзя «жить на иждивенье завоеваний прежних заслуг».

Михаил Львов — ровесник Октября, и в его стихах граждански крупно и поэтически своеобразно рассказано о том вкладе, который внесен его поколением в наше общее дело. Поэт помнит и о тех великих задачах, которые предстоит решить каждому из нас, чтобы остаться настоящим человеком, идти в ногу со своим временем:

Не первым быть
В житейской суматохе.
А честно, как солдаты
на войне.

На плечи взяв нелегкий
груз эпохи.
Нести его со всеми
наравне.

Н. СТАРШИНОВ

*

Вот уже несколько лет Появляются в периодике рассказы ленинградца Рида Грачева. Они не рябят в глазах: их немного. Но и это «немного» память себе оставила. Потому что у Грачева свой голос. Негромкий, но чистый. Тема Грачева строго определена, он знает ее границы, он знает, что сила его как раз в пределах этих границ. Нарушишь границу — уйдет сила, пропадет голос. И это не намеренная осторожность, не нарочитое бережение собственного авторского «я». Это осознание своих возможностей, признак цельности, черта таланта.

Теперь некоторые из рассказов Грачева собраны вместе: в ленинградском отделении издательства «Советский писатель» вышла его первая книжка «Где твой дом». Этот «дом» населен, казалось бы, самыми непохожими друг на друга жителями, разными и возрастом, и делом, которым они занимаются, и своими заботами. Но есть все же такое, что их роднит. Они ждут от окружающих людей только хорошее, только хорошее хотят видеть в их поступках, в их отношении к себе и к другим людям. Потому что сами они не могут иначе, не понимают, как это можно быть подлым, бесчестным, корыстолюбивым, равнодушным к чужой судьбе. И они недоумевают, теряются, мучительно ищут ответа: почему же за добро, которое они дарят, им подчас отплачивают злом?

...Штатается по всему свету пацан Толька. Нигде ему нет места, нигде он не уживается, нигде не осядет. И зуб у него время от времени нестерпимо ноет. «...Каждый раз, как сделают со мной какую несправедливость, так он у меня и заболит» — это Толька уже для себя заметил, это он понял. Но вот для чего «делают эти несправедливости» люди, пока не понял, пока не разобрался («Зуб болит»).

...Не понимает и детдомовец Валька, почему так безжалостно пытается его воспитательница Анна Семеновна, ведь он не воровал никаких тетрадей, никаких резинок и карандашей («Подозрение»).

В голову не придет толстой и доброй продавщице Марии, что Петрович только затем и «заговаривает зубы», только потому и терпит, как она изливает душу, что за терпеливость свою имеет надежду получить в подарок бутылку пива («Мария»). И даже умудренный долгою жизнью «дед» («Дом стоит на окраине») никак не возьмет в толк, отчего его в доме не любят и держат за «козла отпущения», почему помыкают им и считают «чем-то вроде старого шкафа, выставленного за ненадобностью в коридор». Он сам, по собственной воле освободил комнату, куда въехала молодая пара, и перебрался вниз, в полуподвал... Может быть, не любят его за доброту?

Об этом и пишет Рид Грачев, это его тема — добро и зло. Доброта бесхитростна, доверчива и наивна. Злость коварна, бездушна, расчетлива. Так было всегда, так есть и сейчас. Но сейчас мы лучше познали цену добру и цену злу. И все зависит от нас самих.

Ю. ТОМАШЕВСКИЙ

*

Скромное и обязывающее название: «Мы знали Евгения Шварца», [изд-во «Искусство»]. Пишут его близкие друзья, товарищи по работе — те, с кем он шел по трудному пути жизни, в мучительных поисках своего призвания, своего «языка». Среди них писатели, режиссеры, актеры, критики. Искренность, отсутствие недоговоренностей во всем,

простота и разговорность интонации — вот в чем особенность книги о добром и беспокойном советском сказочнике. Никаких речей, никаких критических выкладок, а вместе с тем здесь и панорама творчества драматурга — от стихотворных сказок для детей до обличительной сатиры «Дракон» и незавершенных набросков балетного либретто; и довольно подробная биография его — от самых ранних лет до последнего, «жомаровского», периода жизни. Мы слышим голос драматурга; вместе с ним и его ближайшим другом (еще со времен работы в донбасской газете «Кочегарка») талантливым поэтом Николаем Олейниковым становимся свидетелями блестящего турнира острот; мы заглядываем и в творческую лабораторию Шварца.

Шварц — актер, редактор, завлит Ленинградского театра комедии, Шварц — мужественный участник обороны Ленинграда... Трудно сказать, что в этой книге захватывает больше. Одно вне сомнений: захватывает сам Шварц. Вот одна из телеграмм Шварца — она очень характерна. «Для восстановления вашего душевного равновесия к вам едет Шварц», — писал драматург, возвращаясь в Ленинград из эвакуации. Как всегда, он шутил. Но как много смысла, веселого и важного, заключено в этой, казалось бы, непритязательной «камерной» шутке!..

Таким он был, этот очень земной сказочник. И мы благодарны его друзьям: М. Слонимскому, Н. Чуковскому, С. Цимбалу, Н. Акимову, И. Рахтанову, Э. Гарину и другим — за то, что они подарили нам обыкновенное чудо новой встречи с Евгением Шварцем.

Наталья ЛАГИНА

*

Перу талантливой поэтессы Елены Благиной принадлежит много произведений для ребят. «Окна в сад» (изд-во «Советский писатель») — первая книга Е. А. Благиной, адресованная взрослому читателю. Однако писательница не расстается с детьми и в своем творчестве для взрослых. Мы находим в этом сборнике и образы детей, и детские игры, и судьбы ребят в развороте великих, а иногда и грозных событий.

Не флагами, не горнами На лагерных кострах... Ты вместе с беспризорными Тряслась на буферах.

Словесная ткань этого стихотворения предельно скупа, но слова найдены точные, выразительные, воссоздающие и картину разоренной страны, и судьбу обездоленных войной детей, и возрождение их заботами Ильича и усилиями Макаренко.

Многими стихами откликнулась Благина и на войну: в сборнике ей посвящен целый раздел. Здесь и печальные картины военного разорения и скорбные плачи «Ярославна» и «Триптих», в котором поэтесса так уместно и умело использовала народную форму плача. А рядом с ними смелый и даже озорной вызов войне в стихотворении «Была и буду»:

Ты, война, меня
не повалишь,
Я из ванек-встанек!
Ты мне хлеб сухой
жевать велишь,
А я его — как пряник.

Потому что жизнь нельзя
убить.
Ну никак, хоть тресни!
...Как была я, так и буду
быть —
В хлебе,

в воде,
в песне!

Совсем иные интонации в любовной лирике Благиной. Слова здесь проникновенные и негромкие. Автор делится с читателем самыми интимными, самыми сокровенными своими переживаниями — памятью сердца...

Небольшая по объему книжка, но мы находим в ней большое содержание, разнообразные интонации и свежие слова.

Е. ГОРОДЕЦКАЯ

*

Если бы я поймал золотую рыбку и она спросила меня о трех желаниях, то первым было бы посмотреть спектакль в постановке Всеволода Мейерхольда. Да, это так: театр вечен, но зрелище преходяще. Писатель оставляет после себя рукопись, художник — фреску, а как режиссер может сохранить свое искусство на годы вперед?... Сила театра в том, что он творит «здесь и сейчас». Слабость театра в том, что со своим «здесь и сейчас» он оказывается бессилён перед временем. Занавес пал — и ушло в Лету неповторимое.

Вышедшая в издательстве ВТО книга воспоминаний о Мейерхольде прекрасна тем, что она помогает гению «громаду лет прорвать». Она без обмана сохраняет нам, потомкам, лик и образ мастера, режиссера-бунтаря, философа, эстетика, фанатика, учителя... Она дает нам живого Мейерхольда, погруженного в тысячу действительно имевших место эпизодов, деталей. — и вот уже становится не нужна золотая рыбка — мы почти физически присутствуем на его спектаклях, слышим его голос на репетициях и в бесконечных спорах об искусстве. Из рваных свидетельств, из субъективных заметок и размышлений складывается для нас. Мейерхольда не знавших, зримый и четкий портрет его — человекотеатра!

Книга называется «Встречи с Мейерхольдом», и ее 49 авторов — люди, лично знавшие его. Друзья, театральные сподвижники. ученики создали не панегирик, а документ. В каждой строчке — а пишут не кто-нибудь, а Эйзенштейн, Юткевич. Олеша, Эренбург. Хикмет — читатель получит не только информацию, но и эмоцию, факты из жизни мастера и глубокую оценку этих фактов с позиций высокого искусства. Эта книга уникальна, потому что то, что поведали нам о Мейерхольде Веригина. Бебутов. Грипич. Февральский, Варпаховский, Ильинский, Садовский, Басилов, не поведают нам больше никто. Эх, если бы в эту книгу ввести еще и высказывания мейерхольдовских противников — для драмы, для драки, для конфликта, для зрелища! — это вполне было бы в духе самого мастера...

Знаменательно, что книга вышла сейчас, в год пятидесятилетия Советской власти. Будем знать и помнить: Мейерхольд был первым в стране, кто получил звание народного артиста, кто поставил первую советскую пьесу, кто создал первый революционный театр.

Марк РОЗОВСКИЙ

наука и техника

И. Дуэль, А. Плахотник

МЫ ОБЖИВАЕМ ОКЕАН

Рассказ о том, как были укрощены «Аре-мата-ророа», «Аре-мата-попото» и другие страшные боги.

Человек вышел на морскую дорогу тысячи лет назад, вооруженный лишь небольшим суденышком, силой собственных мышц и мужеством. Стихия была безжалостна — морское

дно до сих пор хранит останки кораблей разных эпох и народов. Но люди уходили все дальше от берегов, — выгоды водного пути и огромные запасы рыбы заставляли пренебрегать опасностью.

Море внушало человеку мистический страх. Полинезийцы, опытные и умелые мореплаватели, придумали богов, которые «ведали» разными опасностями, подстерегавшими человека на зыбкой дороге океана. «Аре-мата-ророа» приносил разрушительные цунами, приливы и отливы. С «Аре-мата-попото» были связаны штормы. Чтобы умиловить богов, люди приносили им жертвы. Но помощь пришла не с неба, а с земли.

...Век за веком ученые постигали тайны жизни морских глубин, с помощью математических формул раскрывали причины движения океанских вод. Труд ученых очищал дорогу моряка от опасностей. Так появилась гуманная наука, имя которой физика моря. Ее открытия спасли тысячи человеческих жизней.

В наш век горизонты этой науки расширились. Она не только помогает людям обороняться от стихии, но и дает стратегические планы наступления на океан.

реки в жидких берегах

У конкистадора Понсе де Лиона были все основания бояться господней кары. Золото, которое заполняло трюмы его каравелл, было добыто не самыми праведными путями.

Хотя де Лион исправно служил мессе, а грабил и убивал только язычников, все же Иисусу это могло не понравиться. И вот, когда флотилия конкистадора вблизи полуострова Флориды готовилась к возвращению в Испанию, явилось свидетельство гнева божьего. Один из кораблей в полный штиль был сорван с якоря непонятной силой. Другие каравеллы поспешили вслед быстро удаляющемуся кораблю, но соединиться с ним удалось лишь через много часов.

Штурман флотилии Антуан Альминос, известный по всей Испании своим мореходным искусством и доверявший розе ветров больше, чем молитвам Христу, смекнул, что вода, которая несла теперь все каравеллы, тянет их на норд-ост — к родным берегам. И он посоветовал Понсе де Лиону до Азорских островов держаться попутной струи. Так в 1513 году было открыто крупнейшее течение Атлантики и всего Мирового океана, которое в XVIII веке получило название Гольфстрим.

Генеральный почтмейстер британских колоний в Америке Вениамин Франклин в начале XVIII века доказывал, что Гольфстрим рождает пассаты. Эти ветры нагоняют огромные массы воды в Мексиканский залив. Оттого уровень здесь выше, чем в океане. И избыток воды, словно с горки, устремляется из залива в Атлантику.

Ученым, которые развивали этот взгляд, пришлось в начале XIX века скрестить шпаги в научном споре с Домиником Франсуа Араго, директором парижской обсерватории. Араго утверждал: Гольфстрим возникает из-за разницы в плотности воды. Воды тропиков более соленые, а значит, и более плотные, чем воды умеренных широт. Подчиняясь законам равновесия жидкостей, они стремятся смешаться с легкой водой и для этого подаются на северо-восток.

История показала, что оба взгляда одинаково верны: Гольфстрим возникает по двум причинам.

Со временем ученые доказали, что под действием ветра и разницы в плотности воды возникают все морские течения. До конца, правда, эти реки в жидких берегах не были разгаданы. И часто, подхватив корабли, уносили их за многие сотни миль. Или притаскивали с севера ледяные глыбы-айсберги. Но все же к концу XIX века было принято считать, что течения для науки — тема исчерпанная.

Казалось бы, офицер Российского военного флота Степан Осипович Макаров должен был воспринять это убеждение от своих учителей по морскому кадетскому корпусу. Но прославившийся в недавней войне с турками кавторанг, командир брандвахтенного судна

«Тамань», что стояло на мертвом якорю в проливе Босфор, занялся странными экспериментами. Загружая бочонок песком так, чтобы тот плавал на глубине 30, 50, 80, 100 метров, он опускал его за борт на длинном лине и наблюдал, куда отклоняется лить.

Макаров с огромным интересом читал манускрипты, посвященные исследованию морей. Один из них привлек его внимание любопытным наблюдением. Его автор, итальянец Луиджи Марсили, утверждал, что в проливе Гибралтар поверхностная и глубинная воды движутся в противоположных направлениях. У Макарова возникла гипотеза, что такое двустороннее движение потоков встречается и в других проливах. Воспользовавшись тем, что служба привела его в Босфор, он решил проверить свое предположение. Оказалось, что воды пролива Босфор подобны слоеному пирогу. Верхние слои движутся из Черного моря в Мраморное, а придонные — в обратном направлении.

В 1885 году Макаров опубликовал работу «Об обмене вод Черного и Средиземного морей» и тем заложил основы учения о гидрологии проливов Мирового океана. Российская Академия наук удостоила молодого офицера за этот труд золотой медали.

Исследование Макарова знаменовало собой начало новой эпохи в науке о море. К концу XIX века «запас тайн», которыми располагала поверхность океана, постепенно истощился. В XX веке наука об океане «нырнула» в его глубины. И здесь ученых ждал целый фейерверк неожиданных открытий. Один за другим наносились на карты мира подводные хребты, пики, вулканы, глубочайшие впадины. Но, казалось, к течениям все это не имеет никакого отношения. «Слоеный пирог» считался специфической особенностью проливов. Океанские глубины представлялись царством вечного покоя и безмолвия.

И потому настоящей сенсацией было открытие в 1951 году в Тихом океане мощного потока воды на глубине от 50 до 300 метров. Этот поток — течение Кромвелла — проходит точно по экватору через весь океанский бассейн с запада на восток — в сторону, противоположную поверхностным пассатным течениям. Но одно течение не могло разрушить миф про «царство вечного покоя». Нужны были новые факты.

Летом 1960 года советское экспедиционное судно «М. Ломоносов» с помощью автономных буйковых станций исследовало сложную динамику тропических вод Атлантики.

Несколько станций «М. Ломоносов» поставил точно на экваторе, на 30-м градусе западной долготы. Судовые стрелы мягко опустили за борт гирлянды замечательных приборов — буквопечатающих вертушек Алексеева. Закачались на волнах пенопластовые буи. Распрямились и пошли на глубину тросы. Прикрепленные к ним вертушки распределились по нужным глубинам. Особое устройство поставило каждый прибор по направлению потока, вода ударила в лопасти вертушек, и на бумажной ленте в герметически закрытой камере появились первые цифры, обозначающие скорости и направления потоков воды.

Станции должны были простоять несколько суток. А «М. Ломоносов» двинулся в соседний район. Все шло по плану. Однако на душе у начальника рейса Георгия Петровича Пономаренко было беспокойно. Его почему-то тянуло назад к 30-му меридиану.

Странное это человеческое свойство — интуиция! Какой-нибудь старший бригадир рыбаков через десять минут после переборки невода, в котором не было даже ни одной морской собаки, вдруг скажет: «Пошли-ка, ребята, еще раз на невод сходим». Молодые, сталкивая кунгас, ворчат: чудит старик, только что не было рыбы, откуда ей взяться. А когда подходят к ловушке, видят, как распирает ее сетчатые стенки косяк.

То же беспокойство испытал и Пономаренко, много лет изучавший течения в дальневосточных морях. Всего через двадцать часов после того, как «тридцатки» были поставлены, когда, казалось бы, на них еще не могло обозначиться никаких серьезных результатов, к удивлению всех участников экспедиции, судно вернулось на 30-й меридиан. А когда вертушки подняли на борт, увидели: те, что стояли на глубинах 50 — 100 метров, показали поразительную скорость — полторы мили в час.

Десятки новых станций подтвердили, что Атлантический океан точно вдоль экватора на глубине 25 — 100 метров пронизывает мощное течение. По имени корабля его назвали течением Ломоносова.

Сегодня ученые считают, что бурное движение глубинных вод характерно для многих районов океана. Недаром на фотоснимках, сделанных под водой на глубине 5 — 6 километров, можно видеть гладкие каменные плиты и отполированный до блеска галечник. Это признаки работы быстрых потоков воды.

Знание течений, которые подогревают или охлаждают воздух, позволяет метеорологам давать более точные прогнозы погоды.

Глубинные потоки привлекают внимание морских геологов. Известно, что море таит несметные запасы железа, марганца, никеля, кобальта, редких элементов. А от течений зависит толщина слоя донных осадков, иногда и рельеф морского дна, а значит, и глубина залегания полезных ископаемых.

Сегодня мореходы всех стран сходятся на том, что будущее торгового флота — подводные перевозки. Проекты кораблей большой грузоподъемности, которые будут совершать рейсы в толще морской воды, уже рождаются на листах ватмана. Когда они выйдут в свои первые рейсы, океанографы преподнесут их капитанам сведения о глубинных потоках.

Океан в постоянном движении. В нем нет застойных «прудов». Его потоки перемещаются не только в горизонтальном, но и в вертикальном направлении.

Между учеными идет спор о том, за сколько времени донные воды поднимаются на поверхность. Американские океанографы в 50-х годах утверждали, что на этот подъем уходят тысячи и даже десятки тысяч лет. Советские исследователи, применив более совершенные методы, поправили своих коллег. Уже доказано: «водный лифт» движется в сотни раз быстрее, он доставляет воду с многокилометровых глубин вверх за десятки лет. С научных конференций теоретический спор был перенесен в залы Организации Объединенных Наций. В международной комиссии советские ученые доказали, что ни в коем случае нельзя сбрасывать на океанское дно побочные продукты ядерной промышленности. Американские капиталисты пытались превратить океан в «дешевую помойную яму» радиоактивных отходов. Потомки с благодарностью вспомнят советских океанографов, защитивших жизнь и здоровье многих поколений.

орден нахимова

В 3 часа ночи 28 декабря 1941 года наши корабли — крейсера «Красный Кавказ», «Красный Крым», эсминец «Незаможник», катера-охотники, тральщики ворвались в захваченный фашистами порт Феодосию.

Гитлеровцам пришлось срочно перегруппировать войска, остановить начавшийся штурм Севастополя, отказаться от высадки в районе Тамани.

Когда участники десанта рассказывали о событиях декабрьской ночи, все сходились на том, что нашей армии помогала сама природа. На всю жизнь запомнили они девятибалльный шторм, который свирепствовал на море. Казалось, что высокий накат — он может смять и разбросать наступающие части — опаснее фашистских пуль. Но, к всеобщему удивлению, накат, который в шторм достигает иной раз десятиметровой высоты, был совсем незначительным. Об этой редкой удаче ходили потом легенды.

Но это не было удачей. Высота наката, сила шторма, температура воды и воздуха, осадки и балльность облаков были точно предсказаны военными метеорологами. Недаром начальник гидрометеослужбы Черноморского флота капитан 3-го ранга Я. Э. Коган был награжден позднее орденом Нахимова. Это его прогнозы помогли выбрать ночь, в которой все в природе благоприятствовало нашему десанту.

Ни один оперативный план. Черноморского флота не разрабатывался без учета сводок, которые давали метеорологи. А ведь им приходилось работать в невероятно трудных

условиях. Это не мирное время, когда на твой рабочий стол ложатся сотни телеграмм о наблюдении за погодой с отечественных и зарубежных метеостанций. Коган, как говорят специалисты, работал по обрезной карте. «Погода» обычно движется на Новороссийск, Туапсе, Сухуми — тогдашние базы нашего флота — с запада. А в районах западного и северного Причерноморья закрепился враг.

Чтобы вовремя разгадать причудливые пути циклонов, специальные боевые группы метеорологов прорывались на запад, к самому переднему краю морских сражений. Им часто приходилось сменять анемометр на автомат. Погода нередко стоила жизни. Какими же точными методами исследования должна была обеспечить флотских метеорологов советская наука, чтобы, «зацепившись» за отрывочные данные обрезной карты, они могли давать верный прогноз!

Главное в работе морского синоптика — вовремя предсказать шторм, точно дать все его характеристики. А именно в этом направлении — в изучении морских ветровых волн — советские исследователи еще в предвоенные годы намного опередили своих зарубежных коллег.

Трудами Н. Е. Кочина, Н. И. Некрасова, Л. Н. Сретенского вся мощь математического аппарата была направлена на раскрытие законов движения волн в жидкости. Шелестящие страницы, сплошь исписанные сложнейшими дифференциальными и интегральными уравнениями, вобрали в себя и коварный шепот набегающего на берег наката и грозный гул штормовых валов, перебрасывающих, как мячи, тысячетонные глыбы бетонных волноломов...

Развитие учения о морских ветровых волнах подкреплялось серьезным и очень оригинальным лабораторным экспериментом. Академик В. В. Шулейкин и его ученики моделировали сложные процессы обтекания ветром поверхности морских волн.

В поселке Кацевели на южном берегу Крыма по проекту Шулейкина был построен штормовой бассейн. Здесь изучался механизм воздействия ветра на поверхность моря. Ученые проследили, как происходит образование самых первых — капиллярных — волн на зеркальной глади воды. Как вырастают из ничтожно малых волн водяные горы.

Сложная динамика жизни морских волн была сведена к четким графикам. Созданные академиком Шулейкиным номограммы позволяют штурманам, зная скорость ветра, предугадать, насколько опасны поднятые этим ветром волны. В последние годы советские океанографы научились по данным о движении воздушных масс строить схемы волнения в любом районе Мирового океана.

В штурманских рубках вместе с кнопчным штурвалом и радиопеленгатором занял свое место факсимильный аппарат «Ладога». Его экран четыре раза в сутки принимает необычную передачу. Стоит штурману сообщить свои координаты, как в следующий сеанс появится изображение той части океана, где он находится. Тонкой цепочкой бежит по сетке параллелей и меридианов наиболее безопасный в этих условиях маршрут корабля. Это так называемый рекомендованный курс — воплощение всего того нового, что дает сегодня практике наука о морских волнах.

Океанографы рассчитывают силу удара штормовой волны; без этого не проектируется ни один мол или волнолом, ни одна вышка морских нефтяников. Учение о влиянии волн на морские берега, разработанное в нашей стране лауреатом Ленинской премии, профессором В. П. Зенкевичем, заставило пересмотреть многие планы строительства в прибрежной зоне.

«могила человеческого любопытства»

Когда посетитель был выдворен слугой за дверь и его тяжелая суковатая палка с золотым Буддой вместо набалдашника дробно застучала по торцам мостовой, сэр Исаак Ньютон наконец почувствовал себя в безопасности. Да, таблицы приливов, составленные на основе теории сэра Исаака, подводили то у далеких Мальдивских островов, то у родного

Плимута. И капитаны, ожидавшие, что под килем парусника будет не меньше десятка футов, вдруг сажали корабль на каменный грунт. Зловещий скрежет, с палубы срываются бочки, ящики, рвутся снасти, со скрипом выламываются мачты, трещат шпангоуты, ломается обшивка... Так, может, правы те ученые, которые называли приливы могилой человеческого любопытства?

Ньютон смотрел на мир глазами математика. Чтобы известными в то время математическими методами объяснить тайну приливов, он вынужден был представить себе воду океана лишенной внутреннего трения. Кроме того, ему необходимо было вообразить, что Мировой океан покрывает земной шар сплошным слоем, словно на нашей планете вовсе нет суши. При таких условиях вода океанов под влиянием притяжения Луны и центробежной силы, возникающей от вращения системы Земля — Луна вокруг общего центра тяжести (честь открытия законов вращения также принадлежит Ньютону), должна вытянуться в виде двух гигантских флюсов. Эти флюсы образуют эллипсоид прилива, который большой своей осью всегда нацелен на Луну. А Земля вращается вокруг своей оси. И каждая точка земного шара последовательно «вползает» то во флюс, то в узкую часть эллипсоида. Потому в ней каждые шесть часов наступают то прилив, то отлив.

Все казалось настолько просто и логично, что таблицы, созданные на основе идей Ньютона, должны были действовать с четкостью часового механизма. Но приливы не подчинялись логике великого математика. Словно взбалмошный возница дилижанса, они то приходили, намного опередив расписание, то безнадежно запаздывали. Тогда вместо полной воды, которую ждал шкипер, под килем оказывалось каменистое дно. И хотя в документах того времени не отражено, как на это реагировали судовладельцы, но нам представляется именно так — они врывались в кабинет ученого, сжимая в руке суковатую трость.

Век Ньютона Энгельс назвал «царством механики». В то время ученый, чтобы постичь сущность явления, должен был настолько абстрагироваться от реальности, что иногда из его поля зрения выпадали весьма существенные ее черты. Метод познания не позволял охватить все многообразие, всю сложность окружающего мира. И потому гениальные абстракции, на века определившие пути науки, не могли дать прямого выхода в практику.

Чтобы приблизиться к истине еще на один шаг, нужен был новый взгляд на мир и новый гений, который приложит этот взгляд к теории приливов. Этот шаг оказалось по силам сделать французскому математику Пьеру Симону Лапласу в 1799 году. Он представил себе прилив не в виде флюсов неподвижного эллипсоида, а в виде гребня волны, огибающей земной шар, — волны, которая движется под влиянием тех же сил: притяжения и центробежной, — открытых Ньютоном. Этот взгляд позволил объяснить сложную мозаику приливов Мирового океана.

Но для того, чтобы найти легкий и удобный способ практического применения найденного закона, человечество истратило еще полтора столетия.

До начала 50-х годов ' нашего века в городах морских держав мира многочисленные группы математиков в поте лица высчитывали таблицы высоты и времени наступления приливов на каждый день для сотен точек побережья. И только на год вперед. Составлялись ежегодные таблицы и в Москве в Государственном океанографическом институте. Этой работой руководил молодой океанолог Александр Дуванин. В то время, победив империалистическую Японию, наша страна вернула себе острова Курильской гряды. Перед океанографами-приливниками новый район океанского побережья поставил новые проблемы. Чтобы решить их, Дуванин в 1950 году на борту научно-исследовательского судна «Витязь» отправился в рейс к туманным берегам Курил.

Курильское ожерелье — длинная, вытянутая на 1 200 километров цепочка островов — отделяет от Тихого океана Охотское море. Проливы между островами — словно щели в отвесной стене. Когда приливная волна подходит к Курильской гряде, вода заливают островные мели и, натолкнувшись на берег, по узким коридорам проливов устремляется в Охотское море. Отлив «вытягивает» ее обратно в океан. Рельеф дна с огромными — в

тысячи метров — перепадами глубин вносит в эти движения дополнительную сложность. Из-за этого в Курильских проливах никогда не бывает спокойно. Морякам приходится вести судно по узкому фарватеру среди сплошной толчеи волн, которые то и дело пытаются выбросить судно на мель или ударить об отвесную стену, серую и ноздреватую, со следами застывших потоков лавы.

Дуванину предстояло «схватить» приливное течение — по показаниям приборов определить его скорость и направление в разное время суток. Исследователям досталось от приливных течений гораздо сильнее, чем обычным морякам. Ведь те стараются проскочить опасное место как можно быстрее, а «Витязю» приходилось по целым суткам стоять неподвижно среди ревущего потока, сжатого каменными громадами.

Вместо того, чтобы составлять ежегодные таблицы приливных течений (и приливов у берегов — тоже!) Дуванин нашел универсальный выход.

Логика развития его мысли была примерно такой. Влияние Луны на приливы от года к году изменяется незначительно. И разница в высоте прилива и времени его наступления в один и тот же . день прошлого года и нынешнего может быть учтена и вычислена в виде поправочных коэффициентов. Значит, ни к чему каждый год составлять новые таблицы приливов и приливных течений. Можно построить «вечные таблицы», к которым прилагается лишь небольшой листок с поправками на каждый год.

Так впервые в мире в Государственном океанографическом институте были созданы приливные таблицы постоянного действия, которые сегодня хорошо известны штурманам, плавающим во всех районах Мирового океана. Два года спустя вышли и таблицы постоянного действия для приливных течений в прибрежных районах Тихого океана.

Но для того, чтобы стать настоящими «властелинами приливов», ученые должны были научиться не только предсказывать высоту и время наступления полной и малой воды у берегов, но и уметь рассчитывать распространение фронта приливной волны по открытым просторам морей и океанов. Ведь от его перемещения зависит снос судов во время дрейфа — в дрейф ложатся, выметав сети, рыбацкие сейнеры и траулеры. Л в полярных водах смещение приливного фронта вызывает торошение и сжатие льда.

Однако в океане, где прилив не так заметен, как у берегов, а глубины огромны, невозможно проводить наблюдения за изменением уровня воды. Поэтому другое направление науки о приливах поначалу развивалось робко. Первые его успехи связаны с тем временем, когда на помощь океанографии пришла математика. Теоретический метод исследования распространения приливного фронта разработали независимо друг от друга два математика — немец В. Хансен и наш соотечественник Г. В. Полукаров.

Карты водных просторов покрылись тонкой сеткой линий. Привязывая акваторию квадрат за квадратом к тем точкам берегов, где проводились регулярные наблюдения, ученые смогли представить, как перемещается гребень приливной волны. В 1956 году Полукаров составил схему перемещения ее фронта для Охотского моря. В 1958 — 1964 годах были сделаны такие же схемы для Желтого, Японского, Норвежского морей, для всего Тихого океана.

...Сегодня приливы интересуют не только океанографов. Пожалуй, в не меньшей мере ими занимаются энергетики. Они строят планы использования гигантских запасов энергии, которые несет поднятая притяжением Луны вода. В мире работают первые приливные электростанции. Создаются проекты ПЭС и в нашей стране. Пройдет еще несколько лет, и ток их турбин придет в поселки Чукотки и города Кольского полуострова, на побережье Белого моря.

в стране белого безмолвия

Самолет ходил кругами, переваливаясь с крыла на крыло. Пожилой человек с окладистой темной бородой, который сидел рядом с летчиком, до боли напрягая глаза,

вглядывался в безжизненное пространство. Потом он тронул пилота за плечо и показал на ровное, лишенное торосов поле. Самолет пошел на снижение.

А на следующий день льдина начала принимать обжитой вид. Уже стояла палатка. Развертывались склады. Крепились оттяжки радиоантенны. На высокой мачте полоскался по ветру красный флаг.

6 июня 1937 года состоялось открытие научной станции «Северный полюс». Самолет взял курс на Москву, а на широте 89°26' остались начальник станции И. Д. Папанин, гидролог и биолог П. П. Ширшов, магнитолог и метеоролог Е. К. Федоров, радист Э. Т. Кренкель. Результаты их исследований ждала вся мировая наука.

В годы первых пятилеток началось осуществление многовековой мечты лучших умов России — советские корабли проложили первые трассы вдоль арктических берегов страны. Освоение Северного морского пути диктовалось неотложными хозяйственными задачами. Но для того, чтобы наладить регулярные рейсы судов, необходимо было научиться прогнозировать ледовую обстановку.

Причины ее формирования толковались по-разному. Известный полярный исследователь В. Ю. Визе считал, что ледовая обстановка в основном зависит от атмосферных условий. Другой советский исследователь Арктики, профессор Н. Н. Зубов, объяснял состояние полярного льда главным образом притоком теплых атлантических вод.

Оба ученых, основываясь каждый на своей теории, пытались давать ледовые прогнозы, но они были еще далеки от совершенства. Нужны были новые сведения об арктических льдах.

В то время считалось, что лед вокруг Северного полюса малоподвижен. По начальному замыслу льдина папанинцев должна была стать стационаром и обеспечить регулярные наблюдения в районе полюса в течение года.

Неожиданности начались с первых же недель. Определяя ежедневно свои координаты, папанинцы стали замечать, что их льдина медленно движется на юго-запад — в Гренландское море. Станция превратилась в экспедицию мореплавателей. Движение становилось все более быстрым, а путешествие все более опасным. 24 января Папанин записал в своем дневнике: «Нашу льдину все время толкает. Становится трудно работать. Заметили на поверхности трещину... Учитывая новую обстановку, мы сейчас, перевозя грузы на нартах, держим лямку руками, чтобы нас не потащило в воду, если нарты провалятся... 25 января... Думаю, что скоро от нашей льдины оторвется кусок величиной с квадратный километр... 2 февраля. Мы остались жить на ледяном обломке 50 на 70 метров. Все промокло, трудно уснуть...»

Папанинцы были сняты со льдины 19 февраля 1938 года. Москва приветствовала их так же радостно, как в наши дни встречает героев космоса.

Исследования мужественной четверки перечеркнули многие установившиеся взгляды. Считалось, что над полюсом нависает неподвижная шапка холодного и тяжелого воздуха — антициклон — область высокого давления, что здесь всю зиму, как в Восточной Сибири, стоит морозная и безветренная погода. Но наблюдения показали, что через Северный полюс столь же часто, как через Рязань или Калугу, проходят циклоны, неся с собой ветры, осадки, туманы.

Станция обнаружила, что теплые атлантические воды, которые никогда прежде не удавалось «поймать» севернее Баренцева моря, глубинным течением подходят к самому полюсу.

Эти открытия сблизили две, казалось бы, непримиримые точки зрения — Визе и Зубова. Со временем они совершенно слились, и теперь ясно, что на состояние ледовой обстановки одинаково сильно влияют и атмосферные условия и тепловое течение. Прогнозисты учитывают оба фактора. Но дрейф папанинской льдины наглядно показал, что есть и третий — вынос льдов из центральных областей Арктики в прибрежные моря.

В 1950 году в восточном секторе Арктики, в районе полюса относительной недоступности, была основана станция «Северный полюс-2». Помня опыт папанинцев,

ученые предполагали, что станция будет двигаться на юго-запад. Но Арктика как будто нарочно сбивала с толку исследователей.

Месяц проходил за месяцем. Полярный день сменился полярной ночью, и снова вышло незаходящее солнце. А от начальника станции Героя Советского Союза М. М. Сомова по-прежнему поступали бодрые сообщения. Ни о каком Гренландском море не было и речи. Ледяное поле медленно перемещалось сначала к северу, потом к северо-востоку. На этот раз трещал не лед, а прежние концепции, по которым такого движения никак не могло быть. За 376 дней станция прошла небольшой дугообразный путь по часовой стрелке.

Когда самолеты снимали полярников, на месте их ледового поселка осталось несколько палаток. А в мае 1954 года, когда о старых палатках забыли даже ворчливые завхозы, летчик В. Масленников во время ледовой разведки обнаружил южнее полюса относительной недоступности какие-то идеально правильные геометрические фигуры. Сделали посадку. Перед летчиками и учеными стояли целехонькие стандартные палатки. Арктика только изменила их цвет — некогда черная ткань выгорела добела. Несомненно, это были жилища полярников «СП-2». Но как они оказались за тысячу километров от того места, где были брошены в 1951 году?

На карте к маршруту «СП-2» был добавлен отрезок, пройденный палатками. Получился почти замкнутый круг. Движение шло строго по часовой стрелке. А это означало, что дрейф льдов в восточной части Арктики идет совсем иначе, чем в западной.

Но что же могло вызвать такое четкое деление страны белого безмолвия на две части?

К тому времени было известно, что над западным сектором Арктики непрерывно проносятся цепочки циклонов. А в восточной по законам синоптики возникают при этом антициклоны.

Направление ветров в антициклонах как раз совпадает с тем кругом, который описала льдина «СП-2». Но вызывал подозрение открытый советскими учеными огромный подводный хребет Ломоносова, который разделяет весь Северный Ледовитый океан на две части. Не играет ли и он здесь какой-то роли? Ведь этот хребет превращает восточную Арктику в огромную чашу, а ледяные поля перемещаются как раз вдоль ее «стенок». Так возникла идея связать дрейф не только с работой самого ветра, но и с вызванным им течением.

Каждый год на льду Северного Ледовитого океана работало по несколько новых станций «Северный полюс». Наблюдения, которые проводились ими, «ниточки» их дрейфа помогали лучше представить закономерности движения льда. Несколько лет назад результаты этих исследований теоретически обобщил молодой математик и физик А. И. Фельзенбаум. Он показал, что вода и ветер участвуют в дрейфе как неравные пайщики. Две трети работы берет на себя течение, одну треть — ветер. Перемещение ледяных масс было облечено в рамки математических формул.

Математика! Ее помощь настолько улучшила прогнозы ледовой обстановки, что по суровым полярным морям сегодня удается проводить даже речные суда. Построенные на верфях Москвы, Херсона, Поволжья, они поднимаются по рекам к Архангельску и, дождавшись доброй сводки, торопливо бегут по чистой воде в устье Оби, Енисея, Лены. Без малого пятьдесят лет назад, когда Визе давал свои первые прогнозы, о такой дерзости нельзя было и мечтать. Северный морской путь стал одной из самых оживленных водных магистралей страны.

О жизни морского льда написаны десятки томов. Главное препятствие на пути полярного мореходства уже не пугает человека. Он научился с комфортом жить на ледяной крыше океана и на атомных подводных лодках проходить под толстой коркой льда многие тысячи миль. Место советских ученых в освоении северных морей известный полярник Герой Социалистического Труда Алексей Федорович Трешников определил так: «Советский Союз лет на двадцать опередил США в изучении Арктики».

Мы обживаем океан. Это многовековой труд всего человечества. Пройден этап от суеверного страха перед водной стихией до познания ее общих закономерностей. Но наука и практика сегодняшнего дня властно требуют исследования всех природных процессов в океане. Потому океанографическим прибором стал сегодня искусственный спутник Земли. В эфире уже идет разноголосый разговор автоматической аппаратуры, раскачивающейся на волнах в просторах океанов за тысячи миль от берегов, с космическими кораблями, которые обмотали Землю нитями своих траекторий. Завтра, когда всевидящее око из космоса сообщит людям миллионы новых сведений о море, с карты Мирового океана будут стерты многие «белые пятна».

Перед физикой моря стоит множество нерешенных проблем. Нужно научиться давать комплексные прогнозы всех процессов, происходящих в океане. Предстоит найти точные связи между температурой воды, соленостью, рельефом дна, движением водных масс и путями рыбных косяков. Тогда растущий с каждым годом рыболовный флот всегда будет приходить к родным берегам с полными трюмами. Нужно разведать полезные ископаемые морского дна и научиться их использовать. А вслед за энергией приливов предстоит поставить на службу человеку громадную энергию течений.

Человеческая мечта проникает все глубже в океанские глубины. Разрабатываются проекты подводных городов. Уже опускаются на океанское дно первые дома.

Не фантасты, а ученые, привыкшие держать свое воображение в строгой узде эксперимента и теорий, обсуждают сегодня проекты исправления природы океанов. Люди смогут растопить полярные льды, повернуть течения, утихомирить штормы.

Океанографы составляют стратегический план наступления на водную стихию. Морю сегодня нужны работники почти всех земных профессий. Оно ждет новых тружеников, не обещая им никаких особых благ, кроме штормов, бурь, опасных рифов и... великой радости открытий.

ДЕБЮТЫ

Валентин Сильвестров:

«Выйти из замкнутого пространства...»

Выдающийся украинский композитор Борис Николаевич Лятошинский сказал мне: «Думая об окончившем у меня несколько лет назад класс композиции Валентине Сильвестрове, я всякий раз прежде всего ощущаю, что это настоящий талант, перед которым открыто большое будущее. Буквально с первых же шагов в области композиции он обнаружил большое своеобразие своих музыкальных высказываний, и если теперь он «говорит» на языке, далеком от классических канонов, то это результат эволюции и дальнейшего развития тех принципов, которые уже и тогда являлись основой его творческих опытов...»

Мое интервью с Валентином Сильвестровым началось с того, что композитор поставил мне пленку с записью своих камерных произведений. Конечно, любому композитору не только легче всего говорить своею музыкой, но и больше всего он может сказать именно так, а не в словесных, пусть даже самых заветных высказываниях. Трио для флейты, трубы и челесты показалось мне малым миром, где живут три существа, каждое со своим голосом и со своим ненавязчивым стремлением высказаться, — три части этого трио были как три вечера у тихого огня, когда каждый вечер новый рассказчик заводит свой рассказ, а двое слушают, но слушают вслух, как это возможно только в музыке...

Вся музыка Сильвестрова, которую я слышала, была очень современна и нова по своим техническим и выразительным средствам, но внимание на этой новизне не

концентрировалось: слушая, я ощущала свободу, простоту, естественность. Именно естественностью поразила меня эта музыка, и я сказала об этом Сильвестрову.

— Да, я стремлюсь к естественности, — отвечал он. — Но вопрос этот не так прост. В музыке мастеров, венских классиков XX века Веберна и Шенберга, мы ощущаем поначалу некую жесткость. Но это не схема и не искусственность. Это духовность и естественность, выраженные по-новому. Ведь ощущаемая нами естественность Бетховена тоже создана временем, воспитана в нас, и, чтобы ощутить ее истинно, надо смыть налет привычки. Точно так же надо преодолеть преграду «непривычного» при восприятии Шенберга и Веберна, чтобы почувствовать естественность этой музыки. Естественность — это стремление найти истинное соотношение своей личности и музыки.

Сильвестров говорит мне о Веберне и Шенберге, музыка которых все чаще звучит в наших концертных залах. Новые венские классики начинают занимать в нашем сознании место наравне с Прокофьевым, Стравинским, Бартоком. И, узнавая эту музыку, ранее нам почти неизвестную, мы обнаруживаем ее влияние и в самых выдающихся произведениях советской музыкальной классики и в творчестве многих молодых советских композиторов. Новые выразительные средства этой музыки — додекафония, серийная техника, пуантилизм — уже вошли в арсенал искусства. Тот, кто следил за концертами прошлогоднего конкурса имени Чайковского, мог заметить, что в созданных специально для конкурса произведениях обязательной программы свободно используются новые музыкальные приемы. Например, «Токката» Бабаджаняна написана в так называемой серийной технике («серия», встречавшаяся еще у Баха, а в XX веке принятая как один из возможных принципов построения целого произведения, — это комбинация неповторяющихся звуков двенадцатитонной гаммы; на основе этой композиции создается движение звуков «по горизонтали», то есть в их последовательности, и «по вертикали», то есть в их одновременных сочетаниях).

Сильвестров говорит о духовной эволюции музыки XX века — от космических устремлений Скрябина, через неоклассицизм, распространенный в 20 — 30-е годы, и вплоть до новейших течений, возникших уже после второй мировой войны. Эти течения, различные по своим целям, стремлениям, стилю, принято объединять под названием «авангард». И, видимо, несмотря на всю разнородность этого движения, в нем действительно есть что-то единое, какая-то общая исходная точка, в одно и то же историческое время вызвавшая к жизни и «конкретную музыку», и «электронную музыку», и таких крупных композиторов, как итальянец Ноно, немец Штокгаузен или француз Булез.

Сильвестров объясняет мне, в чем, по его мнению, заключается это общее для «авангарда».

— «Авангард» в музыке, помимо разрушительных целей — тех, которые ему приписывают, и тех, которые в нем действительно есть, — имеет и иные. В нем важна попытка найти истоки музыкального стиля, исток жанра, исток традиции, начало жеста, который обретает ритм и становится, например, вальсом. Мы привыкли к музыке «проявленной», тональной, ведь тональность — основа музыкального воспитания. И вот музыка, логичная по стандарту, кажется естественной. «Удобно», «спокойно» сесть и работать «в ладу», «в тональности», но это сомнительное удобство: инерция нередко «перекрывает» творчество. «Авангард» в своих лучших проявлениях — это бунт против инерции композиционного мышления.

— Значит, в результате бунта против инерции тональности возникает атональная музыка?

— Нет, этот распространенный термин по сути неверен. Нет как таковой «атональной» музыки — есть некая новая тональность, дающая новую выразительность. Еще Дебюсси говорил, что композиторы много знают, много умеют, но техника их подавляет, мешает выразительности. Отсюда в его музыке часто выступает не голосоведение, а сопоставление аккордов, контакт действия и выражения.

— У авангардистов тоже часты «дебюссизмы», — продолжает он. — Непривычному уху они могут показаться фальшивыми, но в данном стиле это не фальшь, они, как крики птиц, как шелест ветвей, вырастают из «белого шума», в то время как, например, звук транзистора за окном выглядит чужеродно.

— Музыка веками была музыкой замкнутого, соборного пространства. «Авангард» — одна из попыток выйти из замкнутого пространства в разорванное. Пути осуществления этой попытки в какой-то степени смыкаются с восточными концепциями музыки. Восточная музыка, насколько я могу судить, более осталась в границах натурального: музыкальное произведение там может просто длиться, оно не имеет привычного для нас замкнутого развития, а набухает во времени, как снежный ком. Прорвать замкнутое пространство пытался уже романтизм, но по-иному. Как попытка прорвать пространство, вспышка авангардистов аналогична взрыву романтиков.

— А не тревожит вас, что сложная современная музыка иногда становится трудной для восприятия и может показаться скучной?

— Но это ведь тоже не так просто — проблема скуки, ригоризма. Есть вещи, которые иначе не выразишь. Ведь если задуматься, то Бах «скучнее» Моцарта. Что же касается новых, сложных выразительных средств, то вот пример. В 1961 — 1962 годах многие советские музыканты заинтересовались серийной техникой. Но тогда считалось, что ее можно использовать только для выражения отрицательных эмоций: ужаса, темноты, подавленности. Словом, трагизм без света. Задачей моих первых произведений было избежать этого упрощения, достичь лиризма. Так что новая техника не должна подавлять ни композитора, ни слушателя. У нас в Киеве недавно исполнялось Трио для скрипки, контрабаса и фортепьяно Грабовского — это музыка очень концертная и даже несколько театральная, с ударами по струнам рояля и т. п. В таком сочетании звуковых и зрительных восприятий есть стремление довести музыкальную вспышку до слушателя самым простым путем, через реалии, «вещественно».

Сильвестров увлеченно говорит о чужих произведениях, о современной музыке и совсем мало о себе. Я все-таки стараюсь перевести разговор на его творчество. За последние годы он написал много крупных произведений: две симфонии, «Мистерию» для альтовой флейты и шести групп ударных инструментов, «Проекции» для клавесина, виброфона и колоколов... Сочинения Сильвестрова начали исполняться не только у нас, но и за рубежом: в Праге, Загребе, Берлине, Париже, Копенгагене... С огромным успехом исполнено в Ленинграде его сочинение Для камерного оркестра «Спектры». По словам Сильвестрова, этим успехом он в большой степени обязан прекрасному дирижеру Игорю Блажкову, другу и единомышленнику. Блажков — первый и пока почти единственный наш дирижер, исполняющий музыку таких композиторов, как Денисов, Волконский, Тищенко, Грабовский.

— В искусстве, — продолжает Сильвестров, — существует понятие борьбы красоты и выразительности, понятие их соотношения. Моцарт и Бетховен — в каждом из них, на мой взгляд, преобладает одно начало, но это именно преобладание, а не отдельное существование. Так и Шенберг — более «выразитель», а в Веберне больше красоты. Меня «задела» красота: Моцарт, Шопен, Дебюсси. Но я думаю, что нужно все время держаться неустойчивого равновесия, чтобы под всякой красотой ощущалась бездна, пропасть.

Я спрашиваю Сильвестрова о его работе в кино (я знаю, что он писал музыку к нескольким научно-популярным фильмам).

— Мне кажется, что музыка в кино не должна иллюстрировать события. Пусть она не совпадает с действием, а подчеркивает основную мысль. В музыке к фильму «По следам Этерии» я строил мелодию как отражение времени действия, двадцатых годов прошлого века, а фон — как наше отношение. К сожалению, работа композитора в кино осложняется отношением кинематографистов к музыке: в процессе выпуска фильма фонограммы нередко приглаживаются до неузнаваемости. Очень хорошая музыка и счастливый пример взаимопонимания режиссера и композитора — недавний телефильм «София Киевская».

Композитор Виталий Годзяцкий не пошел по, казалось бы, ясному пути использования или стилизации древней музыки, церковных хоров. Он стремится к тому, чтобы фрески выглядели не музейно, а как рождающиеся на наших глазах сгустки экспрессии. Музыка в фильме (удары барабана и созвучие струнных) как бы > еле проявленная, как сами фрески, и очень выразительная. Мои «Спектры» были задуманы как музыка к фильму Параджанова о Киеве — к сожалению, его замысел остался неосуществленным.

Интервью вела Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ.

ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

УТРО НА всю жизнь

В хирургическом отделении шел ремонт.

— Семенов? Сейчас позовем, — сказала сестра, — постойте вот тут... Ремонт, ремонт, ну и надоело же!..

И вот он идет уже. Коротко острижен, руки держит на груди под полосатой пижамой. Здоровается тихо, спрашивает сестру:

— Где же нам побыть?

— Идите сюда, здесь ремонт уже кончили, — предлагает сестра, открывая дверь в маленькую пустую комнату.

— Здесь мне не будет холодно?

— Нет-нет, — говорит сестра.

— Мне нельзя, если холодно... Он сел прямо, положил правую руку на колено, отнял от груди и левую. На безымянном пальце была свежая аккуратная повязка.

— Уже заживает, — сказал он. — Одну фалангу отрезали... Все хочу вспомнить, чем тогда по рукам досталось. Бесполезно...

— Как ты вообще?

— Ничего. Четвертый день хожу. Понемногу, конечно... Если вправо смотрю, то начинает двоиться... Знаешь, мне холодновато что-то. Пойдем в палату.

— Слушай, чуть не забыл.

Александр Кашкан и Борис Юхович привет тебе шлют.

— Спасибо... Видел их?

— В их кабине ехал.

— А, значит, на «Чайке» ехал...

— Да, на «Чайке». Он взглянул на часы:

— Они теперь в Вильнюсе...

...Да, в Молодечно, где лежал в больнице Валерий Семенов, я ехал из Минска на «Чайке». Мы тронулись в шесть пятьдесят семь. Состав был тот же, что в то утро. И та же поездная бригада, только другой машинист и другой у машиниста помощник.

Я сказал машинисту Александру Кашкану, что хочу проехать «это самое место» у них в кабине.

— Понял вас. Хорошо, — сказал он.

Ехали молча. Только обычные слова помощника, дублируемые машинистом: «Зеленый на выходе. — Зеленый». «Нормально. — Нормально». «Зеленый предупредительный. — Зеленый предупредительный». Потом помощник Борис Юхович, облокотившись о свой столик и глядя вперед, произнес: «Если бы у них был такой рассвет...» Машинист ничего не сказал и, встав с кресла, медленно стал массировать кисти рук. Где-то после Прудов он сказал мне: «На днях был в больнице у Семенова. Он рассказывал... Говорил, в голове такое в те минуты пронеслось, что... Разве объяснишь?..»

Переезд. Желтые деревянные домики по обе стороны пути. Теперь одинокий каменный дом. Снова поле и слева и справа от насыпи. Головные уборы мы сняли одновременно. Машинист едва заметно одернул кожаную куртку, тронул галстук.

Километровый столб «845». Долгий-долгий сигнал. Тебе, Владимир Александрович Яцкевич...

Да, Яцкевич погиб героем. До последней секунды машинист сдерживал состав, надвигавшийся в полутьме на отцепившиеся вагон и платформы недавно прошедшего товарняка. Яцкевич успел пустить в ход всю тормозную систему, но была еще кнопка песочницы, и он жал и жал ее, отбирая у скорости метры. Он отобрал столько метров, сколько мог. Никто из пассажиров не пострадал. Но машиниста не стало. Кабину его раздавило...

Помощник машиниста Валерий Семенов прожил те секунды также в высшей степени мужественно.

...Мы сидим с Валерием уже в палате.

— Выскочить можно было, конечно. Но мысли такой не мелькнуло даже.

— Яцкевич успел тебе что-нибудь сказать?

— Нет, я был в дизельном отделении, чувствую, он тормозит. Только в кабину шаг сделал, вижу — товарный вагон перед нами... А он правой жмет кнопку песочницы, а левая — на кране экстренного торможения. Рукоятка уже в последнем, шестом положении... Я ему крикнул: «Отожми кнопку!..» Это чтобы дизели выключить. Он даже не повернул головы, а я увидел, что дизели уже выключены. Но они могут работать еще на подсосе, и я кинулся в дизельное, к щитку. Не добежал... Меня куда-то бросило, оглушило, стало будто рвать на части, и все тут... Пришел в себя, тишина вокруг. Полез вперед, а туда не пробраться. Тогда потянулся в заднюю кабину. Потом, помню, вылезал через окно.

— А что было потом, помнишь?

— Плохо. Уже стал отключаться. Помню, дошел до первого вагона. Или довели меня? Помню умывальник, и я держу руки под краном, вожу ими по лицу... Потом в «Скорой помощи» от толчков, помню, началась страшная боль в спине. Попросил подложить что-нибудь мягкое. Ничего не было, и врач ладонь подложила. А потом уже постель вот эта. И в себя пришел оттого, что вдруг очень мягко, приятно стало... Тридцать три дня не подымался.

Теперь нужно спросить его о самом главном. Надо узнать, что он думает о своих действиях в те считанные секунды. Как он скажет об этом?

— О чем ты думаешь, когда не спишь?

— Лягу на спину, в потолок смотрю и думаю... Если б тогда раньше вошел в кабину, может, и заметил бы раньше. Все-таки четыре глаза — не два... Но откуда же знать было... Еще о Яцкевиче вспоминаю. Около двух лет с ним ездили. Поучиться можно. Отлично ведет он, мягко, переходы от скорости к скорости плавные. Экономить умеет и машину щадит. И никогда не бросает все на помощника.

Он так и говорит о Яцкевиче — «ведет», «умеет» — в настоящем времени.

Назавтра его выписали из больницы, и мы вместе возвращались в Минск. Жена Клара смотрела только на него. Товарищи из депо рассказывали новости. Вагон выбрали самый первый: в нем меньше качает. Когда поезд тронулся, кто-то из товарищей сказал:

— Ну что, Валера, опять железная дорога?

— Да... Только бы допустили когда-нибудь.

Поплыли назад станционные здания, будки, обходчики с желтыми флажками. На левой руке у Валерия была желтая вязаная варежка — Кларина. И тут мне стал ясен смысл его слов: «Мне нельзя, если холодно»... И его скупые, бережливые движения, и варежка жены на той руке, где бинт. Он не «рубаха парень». Узнав цену мужества и риска, он чудом остался жить, и он бережет себя. Бережет от всего случайного, что может помешать, задержать его.

...Еще один разговор, совсем короткий, в деревянном домике, на Луговой улице в Минске.

— Валерий, ты отца помнишь?

— Почти нет, три года мне было, когда он брал меня на руки в последний раз. Когда он погиб, ему двадцать девять было, как мне теперь. И вот Яцкевич сейчас погиб, а скольких людей спас... да и меня тоже.

Когда закрываешь их калитку, мемориальная доска на стене, прямо перед тобой: «В этом доме в 1941 — 1942 годах находилась конспиративная квартира Минского подпольного городского комитета КП Белоруссии. Содержал квартиру член комитета Г. М. Семенов. Казнен фашистами в мае 1942 года».

До свидания, Семеновы!

А. СТАНЮТА

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Новыми делами, новыми свершениями встречает советская молодежь приближающийся юбилейный пятидесятый Октябрь.

*

В город Новотроицк, Оренбургской области, пришла Всесоюзная эстафета «Юбилею революции — подарки молодым». Ее доставили на стройплощадку прокатного стана Орско-Халиловского металлургического комбината комсомольцы ударной стройки из Новолипецка. Они привезли на комбинат горящий факел, альбом-эстафету и несколько монтажных касок.

*

Молодежная проходческая бригада Анатолия Екенина на шахте «Западная» казахстанского рудника Бестюбе установила новый всесоюзный рекорд в честь 50-летия Советской власти. Золотодобытчики прошли за месяц более 440 погонных метров горных выработок.

*

35 тысяч рублей экономии внесли в юбилейную копилку Хабаровского края молодые рабочие завода «Дальсель-маш». Это в полтора раза превышает цифры, записанные в обязательствах.

*

На ударной комсомольской стройке Новокуйбышевского нефтехимического комбината принята в промышленную эксплуатацию первая очередь предприятия: крупнейший в Европе комплекс по производству дивинила — исходного сырья для выработки искусственного каучука. Молодые строители выполнили план на девять месяцев раньше срока.

*

В новом угольном районе, что открыли геологи в 55 километрах от Донецка, растет рабочий поселок. Его строят молодые энтузиасты, приехавшие сюда по комсомольским путевкам со всех концов страны. Они и будут здесь жить.

*

СЕРДИТАЯ НАРЫ

Она не переставала сердиться. С еле сдерживаемой досадой выслушала мою просьбу уделить полчаса на разговор; через несколько шагов, будто вспомнив, что не доругалась, обернулась и бросила негодующий взгляд в сторону правления и наконец молча уселась в машину, на которой довез меня до колхоза «Социализм» сотрудник ашхабадской молодежной газеты Анадурды Мурадов.

Нары Караева — заместитель председателя колхоза «Социализм» по культуре. Есть такая новая должность в туркменских колхозах. Окончив Ашхабадский университет, Нары учила ребят в здешней школе, когда ей предложили эту должность.

Благосостояние колхозников растет. Но телевизор, счет на сберкнижке — разве лишь в этом счастье? Как сложится судьба этих тоненьких, быстрых глазами и речью девчушек, которые только что перебежали дорогу перед автомашиной? Они так стройны в своих длинных рубахах до пятак украшают их многоцветные чапаны... Разве страшное слово «калым» исчезло окончательно? Ядовитый источник предрассудков поит даже современный разум...

Мать не отпускала Нары в университет. Старая мать говорила: «Зачем тебе? Оставайся дома. Как без дочери? И мало ли чего в городе!...» В этом было главное: «Мало ли чего в городе!...» Поедет в город, а это как-то не принято... Нары уговорила маму. А затем поехали учиться и другие девушки.

Эдевай Еуезову Нары «пробивала» в университет, уже будучи «замом». Вела долгие беседы с родителями девушки, только что окончившей десятилетку, пила обязательный в серьезных разговорах чай, убеждала, рассуждала о пользе учения и так и сяк, осторожно намекала на свое, лестное всякому родительскому сердцу положение, — уломала вроде. Нехотя ей отдали в руки документы, а Нары тут же, не мешкая, повезла их в приемную комиссию. Но и тут не оставила подопечную: выхлопотала общежитие на время экзаменов, побывав в отделе просвещения ЦК КП Туркменистана, — не было «установки», чтоб принимать в общежитие не сдавших вступительные... Приняли! Тут родители Эдевай и решили окончательно, что их дочка должна учиться.

...Нары рассердилась в очередной раз, когда перед ветровым стеклом машины внезапно возникла верблюжья морда. Негодуя, она воскликнула:

— Безобразие! Опять распустили!..

Как выяснилось, зампред по культуре добивается, чтобы улицы села походили на городские и по ним не бродил скот, чтобы улицу не загромождали печи-там-дыры, — их следует перевести во двор. Нары собирает комсомольцев на воскресники, очищая, озеленяя улицы.

За самоваром с нами сидела старая мать Нары. Я спросил, довольна ли она своей дочерью.

— Очень, очень!

Мы сидели на полу, на раскиданных по всей комнате подушках. В окружении озорных племянников и племянниц. Нары, казалось, успокоилась. Но так длилось недолго. Когда я расстегнул футляр фотоаппарата, она вновь нахмурилась...

Нури ШЕЙХ-ЗАДЕ

*

«ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ БОМБЫ НЕ ВЗРЫВАЮТСЯ...»

Освенцим, Саласпилс, Маутхаузен, Равенсбрюк, Заксенхаузен, гетто Терезин... Янис Озолинь показывает мне письма узников этих лагерей смерти, фотодокументы, памятные марки и конверты.

Ольгерд, старший брат - Яниса, в сорок первом году попал под Нарвой в окружение и был отправлен в концлагерь Саласпилс, потом — в Бухенвальд. После войны, вернувшись домой, брат рассказал Янису, что ему пришлось пережить. И Янис решил тогда собирать материалы о жертвах фашизма.

В 1962 году на Всемирной филателистической выставке в Праге Янис Озолинь, методист лечебной физкультуры из латвийского городка Балдоне, получил за свою коллекцию серебряную медаль и хрустальный кубок. Через год —

медаль на выставке в Будапеште. В 1965 году еще одна медаль, на этот раз золотая, — на Ленинградской выставке.

— У меня десятки советских и зарубежных корреспондентов, — рассказывает Озолинь. — Со многими я познакомился, — рассказывая о своих коллекциях на различных выставках. Мне удалось установить связи с борцами Сопротивления из различных стран. Например, с Ольдрихом Кубисом из Чехословакии. Он прошел Освенцим, Бухенвальд, подземелье концлагеря Дора, где изготавливались ракетные снаряды «ФАУ-2». Кубис прислал мне снимок концлагеря Дора, сделанный самими заключенными... Сейчас я собираю материалы о великих битвах Отечественной войны.

Янис показывает мне конверт со штемпелем, который ставили в Ленинграде в дни блокады: «Зажигательные бомбы не взрываются и безопасны, если действовать умело, быстро и решительно». В 1966 году на выставке коллекционных материалов в Ленинграде с большим успехом демонстрировалась экспозиция Я. Озолиня «Невская твердыня: марки, письма, документы...».

— Если я собираю материалы по какой-либо теме, — продолжает Озолинь, — я стараюсь изучить все: документы, письма, воспоминания, газеты тех лет. Потому что все это история. Хочу показать в Москве, на выставке «50 лет Октября», экспозицию «Битва под Москвой». Хотел бы участвовать в международной выставке «50 лет Красного Октября», открывающейся в ГДР. Я собираю материалы и о великой битве под Сталинградом, но эта работа еще только начата.

А. БАТАШЕВ

«В ЛЕТО 1757 ГОДА...»

Много исследователей занималось историей Мелихова — подмосковной усадьбы А. П. Чехова. Казалось, что все изучено настолько, что и нового сказать уже нечего. Однако...

В своих воспоминаниях М. П. Чехова рассказывает, что раз в год, на пасху, в приусадебной церковке была служба и семья Чеховых даже подпевала хору. До недавнего времени никому не приходило в голову, что эта маленькая деревянная церковь, окруженная старым сельским кладбищем, — уникальнейший памятник архитектуры XVII века.

После организации музея-заповедника о ней забыли. Церковь не значилась в охранных списках, ветшала. Местные хозяйственники устроили было в ней склад, но под тяжестью зерна провалился пол. И растащили бы чеховскую церковь на дрова, если бы не три молодых энтузиаста из общественной комиссии охраны памятников. Они полезли латать крышу и вдруг случайно обнаружили под ней детали и конструкции, неопровержимо говорящие, что этот памятник отнюдь не XIX века, как считалось, а куда более древний.

Еще раз стали проверять архивные данные и в одной из уцелевших клирных книг обнаружили такую запись: «Церковь Рождества построена в лето 1757, зданием деревянная. Возобновлена в 1834 г. и покрыта железом».

Памятником заинтересовались крупные специалисты: Максимов, Барановский, Ополонников. В ходе реставрации выяснилось, что к XIX веку относятся только обшивка, купол и кровля в стиле «ампир». Л под обшивкой элементы древнего декора, под куполом —

хорошо сохранившийся восьмерик второго яруса и детали третьего яруса, под железной кровлей — остатки древней тесовой крыши.

В далекие времена такого рода храмы перешли из средней полосы на север и прочно утвердились там. Эта же постройка характерна не столько для 1757 года, каковым она датируется, сколько для конца XVII — начала XVIII века. Особенности памятника: рубка верхнего восьмерика и апсиды из брусьев «в лапу», волковое окно — типичные приемы XVII века.

В настоящее время реставрация почти завершена, и храм раскрылся в своем первоначальном облике. Церковь находится на оси сельской улицы; на другом конце этой оси, в усадьбе, А. П. Чеховым был построен хорошо известный флигель, в котором им были написаны «Чайка» и многие другие произведения.

К сожалению, храм села Мелихова до сих пор не взят под государственную охрану.

Олег КОМОВ

СПОРТ

Лев Филатов

Перерыв для защиты

«Опять о защите?» — насторожится читатель, мало-мальски знакомый с футбольной темой. И ведь верно, о защите только и разговоры. Все только и подсчитывают, сколько игроков обороняют ворота, и немедленно делают многозначительные выводы. На защиту сваливают все беды нынешнего футбола, ее нежелание пропускать мяч в ворота объявлено тормозом развития игры. И что вообще будто бы защита — это плохо, а нападение — хорошо.

Нет, нет, этой проблемы мы с вами если и коснемся, то лишь в силу необходимости. Слово «защита» на этот раз не футбольный термин: оно имеет самый прямой смысл. Футбол как игра требует защиты. От кого? Да в общем-то от нас самих, потому что в последнее время как-то уж слишком стали мы к нему несправедливы, платим ему черной неблагодарностью.

Футболом никто не бывает доволен. Все и всюду ругают игроков, команды, чемпионаты, положение дел в масштабе страны. Даже в Англии, хранящей в секретном сейфе «Золотую богиню», уже на следующее утро после хмельных торжеств по поводу победы можно было купить газету, где обозреватель исследовал вопрос: «О таком ли чемпионе мечтал мир?»

Явление это любопытно само по себе. Не знаю, быть может, дело в том, что зрители, сидя на трибунах — во всяком случае, мужская их часть, — не просто созерцают игру, не просто сопереживают, как в театре, а сами полтора часа про себя, в уме, честно мотаются по полю, пасуют, бьют что есть силы по мячу, толкают, ну, и, конечно, делают это все несравненно лучше, чем игроки. Может быть, именно потому, что каждый болельщик охотно рисует свой прыжок за мячом в «девятку» или свой пушечный выстрел в ту же самую «девятку», потому что он наслышан и начитан о тактических изысках, заглядывал краем глаза и в методическую литературу, где говорится о таинствах тренировок и о том, в каких случаях бьют по мячу внешней или внутренней стороной стопы, может быть, потому, что он все знает про Пеле и Яшина, — ему кажется, что в этой игре все ясно. Любой промах игрока представляется ему непростительным, и он лихо свистит с высоты трибуны и своей эрудиции. Потом он пишет письма, где требует немедленно отчислить вратаря, пропустившего во вчерашней игре глупый мяч, и категорически заявляет, что пока тренер не выставит состав, который он, зритель II., рекомендует, команда будет катиться на нулях. Все это тоже — соучастие в игре.

Вообще-то против соучастия возражать грешно. Без него футбол был бы пресен. Благоговейная тишина не для стадионов.

Мы говорили пока о конкретной, что ли, критике в футболе и словно бы признали ее и неизбежной и естественной. Однако в последнее время критики увлеклись и замахнулись на футбол как на таковой. Вот тут-то и требуется защита. Об этом и наш разговор.

Кто-то неосторожно бросил камушек, сказав, что в хоккее голов забивают больше, чем в футболе, и, значит, хоккей лучше, прогрессивнее. И вот это необдуманное сравнение вызвало настоящий камнепад. Вслед за журналистами им заинтересовались карикатуристы. Уже и некоторые читатели, восприняв всерьез эту аналогию, начали в письмах критиковать футбол с позиций хоккейной арифметики.

Эту словесную вспышку не следует считать чистым недоразумением. Каждую весну обязательно вспыхивают у нас дискуссии о несовершенстве футбола. Мы говорим о том, как трудно забиваются голы в эту пору, как долго раскачиваются футболисты, как непростительно долго, месяца три-четыре, зритель как бы недополучает законное, оплаченное трудовыми копейками удовольствие от игры. Уже второй год ведется наступление на нашу длинную зиму, предпринимаются попытки обмануть, обойти ее с помощью предсезонных турниров в Закавказье и Средней Азии. Но весеннее опоздание футбола стали в этих дискуссиях все чаще увязывать с так называемым всеобщим кризисом футбола. Весеннее голевое «недоедание» ставят в прямую связь с тем, что вообще голов забивается все меньше и меньше, футбол исчерпывает себя и грозит превратиться в игру, которая перестает выявлять победителей.

Хоккейная аналогия подоспела тут как тут. Мне хотелось бы высказать по этому поводу некоторые соображения. Надеюсь, я имею право на это, поскольку и симпатии мои и работа моя много лет поделены между футболом и хоккеем.

Это совсем разные игры, и сходство их — ворота, голы, нападающие, защитники — чисто внешнее. Хоккей гораздо более, чем футбол, условен. Льдина, запертая в деревянной коробке. Люди, поставленные на коньки. В руках у них клюшки диковинной формы. Футбол естествен, как никакая другая спортивная игра. Его словно бы никто и не выдумывал, потому что каждый мальчуган, едва начав ходить, норовит пнуть ногой мяч. Бегать с этим самым мячом и мальчишки и взрослые готовы все свободное время. По сути дела, для футбола ничего не нужно, кроме земли и мяча, причем не обязательно кожаного, ниппельного. Пусть хоть детский резиновый, пусть из тряпок...

В футболе и хоккее разные возможности и у игроков и у вратарей. Футбол потруднее для уразумения, поскольку на поле действует ровно вдвое больше людей, чем в хоккее, и, по элементарным математическим законам, количество возможных комбинаций увеличивается многократно. Хоккей этот недостаток компенсирует неугасимым темпом, яростной силовой игрой, увлекательной сменой пятерок (прием тоже условный). У футбола скорость бегуна, у хоккея — конькобежца. По-разному трактуются столкновения игроков, понятия о преступлении и наказании.

Конечно, это весьма беглое противопоставление двух игр, его при желании можно и расширить и углубить. Я хотел только дать понять, что различие в характере игр неминуемо должно выразиться и в итоговых цифрах. Иначе быть не может. И если в хоккее голов забивают больше, чем в футболе, то не потому, что хоккей лучше, а футбол хуже. Просто и хоккей и футбол подчиняются каждый своим законам. Если привлечь к аналогии баскетбол — игру, где тоже есть и своеобразные ворота и голы, — то там счет в десять раз крупнее, чем в хоккее. Ничего удивительного; наверное, это потому, что мяч послушнее рукам.

Так что не будем ссорить две превосходные игры, которые скорее дополняют друг друга, чем конкурируют. Но уж коль скоро хоккей, пусть и по недоразумению, объявлен примерным пайнкой, мне хотелось бы — хотя бы в качестве предостережения — привлечь внимание вот к какому факту. В апреле был сыгран финал Кубка СССР по хоккею. Команда ЦСКА выиграла у «Спартака» со счетом 2 : 0, что в переводе на футбольные мерки, наверно, равно 7г : 0. Так вот, в этом матче отчетливо были видны те явления, те тенденции, за

которые корят футбол. Армейцы рано добились преимущества, а потом на протяжении более чем двух периодов удерживали его способами, хорошо разработанными в футболе: осторожность, замедление темпа, отказ от обострения игры. Я думаю, что в тот день многоопытный тренер армейцев А. Тарасов учел известные преимущества нового чемпиона — «Спартака» — и решил действовать наверняка, уклонившись от обмена ударами, в котором противник мог оказаться счастливее. Игру он спланировал по футбольным образцам.

По-видимому, и в хоккее существуют возможности сводить риск к минимуму, и одна забитая шайба способна решать судьбу встречи так же надежно, как один гол в футболе (вспомним и центральный матч последнего чемпионата мира СССР — Канада — 2:1). Разумеется, эти законы вступают в действие, если силы команд практически равны.

Скорее всего причины тут одни и те же. Дело, на мой взгляд, в том, что мы все больше, все лучше и тоньше узнаем как футбол, так и хоккей. Тренеры, игроки, врачи, физиологи, физики, статистики, массажисты, психологи — все стараются добыть какие-либо новые сведения и вооружить ими команды. Пожалуй, нет ничего удивительного, что исследования в первую очередь коснулись оборонительной стороны футбола. Людям вообще понятнее осторожность, забота о безопасности, о неуязвимости. Не мудрено, что так тщательно разрабатываются защитные построения (вот мы и дошли до них!), всякого рода «бетон». Людям хочется (а некоторых к этому насильственно принуждают) одерживать победы за победами. Вот и начались поиски беспроеигрышного футбола, которые чем-то напоминали опыты алхимиков.

Одним из таких алхимиков стал тренер Эерра, возглавляющий знаменитый миланский «Интер». Его команда действительно очень редко проигрывала. «Интер» мало забивает и еще меньше пропускает. Но, правда, если его единственный гол почти всегда смертелен, то и, пропустив мяч, «Интер» может погибнуть. Так случилось нынешним летом и в чемпионате Италии и в финале Кубка европейских чемпионов. В самых последних матчах эта команда — бесспорный фаворит — упустила оба приза, причем со счетом 0:1 и 1:2. Стали писать о том, что «Интер» надорвался, что его игроки — жертвы чрезмерной эксплуатации. Скорее всего это так. Но эксплуатировались не только сила, выносливость и нервы футболистов. Не менее безжалостно распоряжались их талантами. На эту компанию прекрасных мастеров, как бы рожденных для того, чтобы вести игру смело, с фантазией, было грустно смотреть, когда они только и делали, что отбивались, отстаивая свое единственное достижение — единственный забитый гол. Создавалось впечатление, что эти парни заслуживают лучшей участи. Да, Эерра, большой дока, создал почти беспроеигрышную команду. Но дорогой ценой. Ценой пренебрежения красотой игры, ущемления дарований. Правда, свой вариант Эерра приукрашивал, камуфлировал сольными номерами «звезд» — Суареса, Корсо, Жаира. Это было ловко придумано для отвода глаз публики. Поражения знаменитого итальянского клуба, несомненно, повлекут за собой и некоторые изменения во взглядах на игру. Хочется надеяться, что это прибавит смелости и оптимизма теоретикам и обозревателям.

А смелость и оптимизм сейчас необходимы всем, кто размышляет о футболе. Мода хоккейной аналогии лишь добавила черноты в тучи, сгустившиеся над футболом. Не один хоккей привлекается в свидетели. Усердствуют статистики, публикующие кривые результативности на любой день любого месяца. С цифрами надо считаться. И от тенденции уменьшения забиваемых голов не отмахнешься.

А вот другие любопытные цифры. За все 28 предыдущих чемпионатов страны было сыграно 5 530 матчей. Так вот, наиболее часто встречался счет 1:0 — 915 раз, 2:0 — 667, 2:1 — 645, 1:1 — 611, 0:0 — 529. Ну, а, скажем, счета, приближающиеся к хоккейным, встречались куда реже — 4:3 — 53 раза, 5:3 — 16, 5:4 — 7, 6:4 — 5. Мне кажется, эти цифры дают понять, как выглядит футбол на протяжении не одного-двух сезонов, а за три десятилетия.

Видимо, многим памятен июньский матч сборных СССР и Австрии, закончившийся со счетом 4 : 3. Казалось бы, куда как увлекательно. Однако нет, большая часть зрителей, не говоря о специалистах, была шокирована этим счетом. Что ни говорите, весьма сомнительно удовольствие от зрелища легко, беспрепятственно забиваемого мяча, от непростительных ошибок. Голы в футболе редки. Но зато они и поднимают стадион на ноги. Мяч в сетку загоняет не просто чья-то левая нога. Его победная траектория прочерчена коллективным мужеством, волей, искусством. Трудно забивать в футболе, и это одно из его достоинств.

А между тем вдохновленные упоминаниями об угрозе нулевой ничейной смерти, бодро взялись за дело изобретатели. Один предлагает сделать поле овальным и огородить деревянными бортиками. Другой считает, что каждая сторона должна защищать не одни, а двое ворот. Третьего смущают теснота на поле и неточные передачи, и он предлагает сокращение штатов, считая, что девяти человек в команде будет вполне достаточно. Предлагают увеличить ворота, расширить штрафную площадь, ввести, кроме 11-метрового, еще и 20-метровый штрафной удар. Предлагают форвардам за каждый забитый гол делать нашивку на футболку...

Все эти доброхоты строят свои открытия на бесспорном, по их убеждению, основании — на том, что будто бы футбол теряет свою популярность и надо его спасать. Не лишено вероятия, что какие-то изменения будут сделаны; несомненно, есть детали, нуждающиеся в улучшении. Но, право же, нет никакой нужды придумывать на место футбола, словно бы это погорелое место, новую игру.

Дела футбола не так уж плохи. Трибуны пустуют, если команды играют слабо, но едва мелькнет надежда, как все болельщики немедленно являются на свои места, словно по сигналу боевой трубы. Едва наша сборная начала атаковать и забивать благодаря интересной паре Э. Стрельцов — А. Бышовец, и сразу же ее матчи сделали стотысячные сборы в Ленинграде и Москве.

Упомянут Стрельцов... Пора, видимо, уже объяснить по поводу этого игрока. Растерянная аскетичность печатных оценок, сопровождающая его выступления, никак не вяжется с нескончаемыми устными прениями любителей футбола вокруг этой фигуры. Стоило ли возвращать 30-летнего человека в сборную? Не по старинке ли он играет? Простительны ли его медлительность и неповоротливость?

Я не знаю ни одного выдающегося футболиста, о котором, пока он играл, не велись бы споры. Опровергатели были и есть у В. Боброва («лентяй, счастливчик»), Н. Симоняна («не лезет, чересчур деликатен»), В. Иванова («всю игру берет на себя, угнетает партнеров»), М. Месхи («индивидуалист, не забивает»). Так что сама по себе спорность этого игрока говорит в его пользу, свидетельствуя о его незаурядности, о непохожести на других.

Ну, а наиболее точный аргумент за Стрельцова — это преображение нашей сборной с его приходом. Из команды, которой натужно давались голы, она сделалась интересным, остроатакующим ансамблем, много забивающим. Да, к Стрельцову ловко подошел молодой талантливый киевлянин Бышовец. Но замысел едва ли не каждой комбинации принадлежит все-таки Стрельцову. Нельзя требовать от него легкости Г. Хусаинова, быстроты Г. Еврюжихина, неутомимости Ф. Медвидя. У него вполне достаточно иных, может быть, более редких достоинств.

Некоторый сдвиг в представлениях об игре, разочарование части любителей футбола, в первую очередь москвичей, несомненно, возникли от конъюнктурных турнирных метаморфоз. Последние годы проваливались, шутка сказать, команды «Спартак», «Динамо» и ЦСКА — все наши многократные чемпионы, имеющие легионы поклонников. Не мудрено, что, глядя на их игру, кто-то начал сомневаться: а может быть, и в самом деле футбол деградирует? Сколь велика сила отчаяния, я почувствовал из одного письма, автор которого умолял: пока «Спартак» в прорыве, временно переименовать его хотя бы в «Пищевик», чтобы не срамить славного имени команды. А ведь и общественное мнение и футбольная мысль долгие годы зависели от этих клубов.

Я не возьмусь предсказывать судьбу бывших знаменитых чемпионов. Она, как говорят в таких случаях, зашнурована в их бутсах. Но то, что произошли перемены, — это теперь уже факт.

Грешно прозевать и то обстоятельство, что в нашем чемпионате так называемые аутсайдеры сейчас несравненно сильнее, подготовленнее и, если хотите, умнее, чем аутсайдеры даже десятилетней давности. Знания о тренировке, о тактике, о турнирной стратегии стали общедоступны. Читает свои «лекции» телевидение. Да и, наконец, больше стало у нас прилично подготовленных футболистов. А отсюда и результат: чемпион страны нынче лишь с большим трудом одолевает 19-ю команду.

Наши знания о футболе существенно выросли за последние пятнадцать лет, после того как советские команды вышли на международную арену. Если совсем недавно так называемый западный профессиональный футбол был окружен всевозможными рассказами, анекдотами и преувеличенными воздыханиями, то теперь он весь перед нами, как на ладони. Он наш Янн точимым ежедневный соперник. И тут, коль скоро идет защита футбола, уместно напомнить, что с профессиональным спортом Запада мы сталкиваемся только на одной дорожке — на футбольной. Ни в хоккее, ни в боксе, ни в велоспорте, ни в баскетболе, ни в теннисе наши спортсмены с профессионалами не встречаются. Футбол же наш выдерживает наиболее жестокую и трудную конкуренцию с самой развитой отраслью капиталистической спортивной индустрии. Выдерживает, кстати говоря, с несомненным успехом.

Ругать свой футбол привычно. Вероятно, такая неотступная требовательность даже нужна. И не лишено вероятия, что в самом разгаре какой-либо из наших критических дискуссий в Москву вдруг прибудет самолетом, ну, скажем, Кубок европейских чемпионов или сама «Золотая богиня». Мы тогда, конечно, сменим гнев на милость. Но ненадолго.

Нет, трудно все-таки написать статью, не затронув футбола критическим словом. Тем более, что у читателей, как я чувствую, уже есть желание поймать автора на противоречии. С одной стороны, он считает признаком интересного, напряженного матча небольшой счет, с другой, — признает существование оборонительных тенденций, которые искажают игру.

Теоретизирование в области футбола, как правило, крепчает, когда дела на зеленых полях плохи. Мне кажется, например, что у французских футбольных журналистов оттого так отточены перья, что уж очень долго не могут они дожидаться взлета своей команды. А если подойти к вопросу проще, то, как выразился один наш известный тренер (он слывет теоретиком, и я поэтому не рискую его выдавать), если есть игроки, есть и игра и команда, и никто и ничто не может тогда помешать выигрывать.

Возможность спастись обороной создана, я бы сказал, высоким уровнем развития футбола. Она подлинное открытие для средних команд. Именно поэтому обидно за «Интер». Но ведь сильнее можно играть и в нападении. Уже открыто, уже известно, что для этого нужно. Разоблачение средних (назовем их упирающимися) команд неминуемо наступит. Суть футбола остается неизменной. Меняются формы борьбы, а не законы игры. С годами иначе обороняются, иначе нападают, иначе бегают, иначе тратят силы. Если вообще верно, что хорошим игрокам ничто не страшно, то не забудем, что и понятие хорошего игрока тоже со временем обогащается и переосмысливается.

В каждом матче мы по несколько раз видим те и другие ворота беззащитными. Я имею в виду так называемые чистые голевые моменты, не использованные нападающими. Мы горячимся и сердимся в эти секунды. Но ведь эти мгновения не что иное, как усмешки футбола, который подзуживает игроков: «Ну кто же виноват в нулях — я или вы?»

Не будем ругать игру футбол, она ни в чем не провинилась. Сосредоточим по-прежнему свое внимание на несовершенстве игроков и команд. А этот наш разговор ведь и был назван лишь перерывом для защиты.

СПАСИБО, ДРУЗЬЯ!

В редакцию журнала «Юность»

После опубликования повести «Всем смертям назло...» («Юность № 1 за 1967 г.) на меня обрушился буквально поток писем. Пишут пионеры и комсомольцы, рабочие, инженеры, ветераны революции. Пишут семьи, школы, пионерские отряды, комсомольские организации, библиотеки. На обратных адресах — вся география нашей страны.

Каждый день почтальон приносит по 15 — 20 писем. Они входят в мой дом, как добрые, хорошие друзья. Письма, как лица, как души людей. И люди делятся со мной своими радостями и невзгодами, дарят улыбку или заставляют сердце сжаться в болезненный комок.

По письмам я вижу, как входят в жизнь герои моей повести. Я чувствую себя счастливым и как человек и как начинающий писатель оттого, что повесть принимается читателями, помогает им преодолеть какие-то свои трудности в жизни, стать немного добрее и чище.

У моих героев — Сергея Петрова и Тани — появилась целая армия новых друзей. Они приняты равноправными рядовыми в эту армию. Они снова в действующем строю. Они вместе со всеми борются за все доброе и хорошее. Или Рита счастлива этим обстоятельством. Мы только смущены тем, что при всем нашем огромном желании ответить на все письма не можем сделать этого, как бы мы ни старались. Это просто выше наших возможностей.

Мне бы хотелось через журнал «Юность» от всего сердца поблагодарить всех моих друзей, приславших мне письма, за добрые слова и пожелания. Пожелать им, в свою очередь, всего самого доброго в их жизни. Успехов, здоровья, счастья. Большого, настоящего, человеческого счастья борьбы и побед.

С сердечным приветом. Владислав ТИТОВ

Луганск, 12 июля 1967 г.

ПЫЛЕСОС

Юрий Ойслендер

СИЛА ИСКУССТВА

Однажды вечером я пошел в театр. Пьеса была интересная, с уголовным уклоном. Особенно выделялся один парень, в очках, белой рубашке, с галстуком и в пиджаке с разрезом. Он непрерывно пил, ругался и соблазнял девушек. Когда он появлялся на сцене, зал гудел от возмущения. В конце действия парень подло обманул приятеля, перебил стекла в ресторане и грубо обругал всех старших персонажей.

В антракте, прогуливаясь по фойе, я заметил на себе внимательный взгляд пожилой женщины.

— Ходят тут всякие! — сказала она, подозрительно глядя на меня и крепче прижимая сумку к груди.

А когда я, пробираясь в буфете между столиками, нечаянно задел какого-то мужчину, он обернулся и сказал с угрозой:

— Потихе ты, не на сцене! Проходя мимо зеркала, я вдруг понял причину народного гнева. Этот ужасный тип в очках и белой рубашке был вылитый я! Через плечо я посмотрел на пиджак и увидел предательский разрез.

«Скорее назад, на свое место — там не так заметно», — подумал я и стал пробираться в зрительный зал.

Я сел в кресло и застегнул пиджак на все пуговицы, чтобы меньше была видна рубашка и галстук. Руки положил на колени. Пусть соседи видят, что я не собираюсь залезать к ним в карман.

Во втором действии этот тип начал совершать еще более отвратительные поступки.

— Ух, дал бы я ему! — сказал кто-то над моим ухом, и я втянул голову в плечи, ожидая удара.

«Надо исправляться, пока не поздно, — лихорадочно думал я. — Пока окончательно не погряз в гнусных и ужасных пороках! Завтра же извинюсь перед машинисткой, верну деньги в кассу взаимопомощи, запишусь в университет культуры, перестану разговаривать с девушками и курить». - Тип на сцене ударом кулака сшиб положительного молодого героя, передовика производства...

«Сейчас начнут бить! — решил я. — Надо уходить, пока не зажгли свет».

И я, согнувшись, начал пробираться к выходу. В темноте я споткнулся о ноги какой-то старушки и повернулся, собираясь извиниться...

Но в это время на сцене произошел непредвиденный сюжетный поворот: парень в очках, белой рубашке и пиджаке с разрезом вышиб нож у своего приятеля, который оказался бандитом, и, скрутив руки двум другим, направил их прямо в милицию.

Зал замер от удивления и восторга.

— Убери ноги, старуха! Что расселась! — сказал я и гордо пошел к выходу.

Михаил Кудинов

САМОРОДОК

Михаил Кудинов

В бюро находок
Пришел гражданин,
«Я — самородок! —
Сказал гражданин.

Я был потерян,
Я был растерян,
Но больше потеряю
Быть не намерен.

К чему мне теряться?
Давайте без драм!
Теперь я находка
В сто килограмм».

И вот самородок
Кладут на полку,
Лежит самородок
На полке без толку,

Лежит, скучает,
Скучает и ждет,
И блеска не видно,
И вес не тот,

И негде пробу
На нем поставить
Хотели на свалку
Его отправить,

Хотели списать,
Как хлам и старье,
Хотели зачислить
В утильсырье

И не решились:
В бюро находок
По документам
Он был самородок.

В НОМЕРЕ

проза

Евгения ГИНЗБУРГ. Юноша. Документальная повесть |

Ярослав ГОЛОВАНОВ. Заводная обезьяна. Повесть

Иван ЧИГРИНОВ. Птицы летят на волю. Рассказ :

поэзия

Владимир САВЕЛЬЕВ. Советская власть. * Поэтесса. России.....

Джансуг ЧАРКВИАНИ. Родина. Пока в отчизне хоть один дымок... «Есть в жизни день...». Зеленая песня. Орел. Переводе грузинского Юрия Д Ряшенцева.....

Максим ТАНК «Прочитай и передай другому...». Другу. Перевод с белорусского Игоря Шклярев- И с к о г о.....

Нина КОРОЛЕВА «Мне счастье одиноких не дано...». «Я вам танцую и пою...» .

Рсберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ «На Земле безжалостно маленькой...». На родине Маяковского... «И ночь холодна. И день голубой...». Поезд. Пегас. «Написал: «Живу себе...».

Белла АХМАДУЛИНА. Плохая весна. «Случилось так...». «Я думаю: как я была глупа...».....

Глеб СЕМЕНОВ. Девочка. К яблоку. Земля. Сады.....

Станислав КУНЯЕВ. «Цокот копыт на дороге...». «Пью из речки и не напьюсь...». «Среди фантастических гор...». «Шарманка — забытое чудо...». О 4 «Эти кручи и эти поля...»..... в 1

А к нашей вкладке

Марк ИОФФЕ. Плакатисты революции

А поговорим

о прочитанном

Станислав РАССАДИН. И с миром утвердилась связь.....

кино

Е. СИДОРОВ. «Мне тридцать лет» .

среди книг

92

Маленькие рецензии и аннотации . . .

наука и техника

И. ДУЭЛЬ, А. ПЛАХОТНИК. Мы обживаем пл океан

О дебюты

Валентин СИЛЬВЕСТРОВ: «Выйти из JQQ замкнутого пространства»

О заметки

и корреспонденции

В. ЕМЕЛЬЯНОВ. Будущий писатель (стр. 89). -К Ал. ЛЕСС. На улице Фадеева (стр. 91). * А. СТАНЮТА. Утро на всю жизнь (стр. 102). Нури ШЕИХ-ЗАДЕ. Сердитая Нары (стр. 104). X- А. БАТАШЕВ «Зажигательные бомбы не взрываются...» (стр. 104). Олег КОМОВ «В лето 1757 года» (стр. 105).

А СПОРТ

Лев ФИЛАТОВ. Перерыв для защиты . ^ ^6

А ПОЧТА ссЮНОСТИ»

Владислав ТИТОВ. Спасибо, друзья . . I 09

ф «пылесос»

Юрий ОИСЛЕНДЕР. Сила искусства . . 1 ,w

Коллекция Галки Галкиной.....110

Михаил КУДИНОВ. Самородок . . .111

На 1-й — 4-й страницах обложки — рисунок Э. РАППОПОРТ.

Художественный редактор Ю. Цишевский, Технический редактор Л. З я б к и н а.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Телефон Д 5-17-83. Рукописи не возвращаются.

А 00439. Подп. к печ. 31/VIII — 1967 г. Формат бумаги 84х1087ц. Объем 12,18 усл. печ. л.

Тираж 2 000 000 экз. Изд. № 1603. Заказ № 2021.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва. А-47, ул. «Правды», 24,